Борис
Друян
Неостывшая
память
Издательство
Гелиикон Плюс

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга известного литератора, журналиста, редактора Бориса Друяна состоит из двух частей. Первая – автобиографическая повесть о военном и послевоенном детстве, о Школе юнг, о друзьях на флоте, в Ленинградском университете, о работе на целинных землях Казахстана и в Сибири.

Во второй части – невыдуманные рассказы о писателях и книгах теперь уже далекой эпохи застоя. «Биографии» книг были весьма разнообразны: у одних – счастливые, у других – трагические, поскольку дойти до читателя им было чрезвычайно трудно, а то и не суждено. Но все книги подстерегали общие опасности: беспредел цензуры и недремлющий взгляд партийных идеологов. Автор сумел рассказать о литературной жизни тех лет просто, занимательно и ярко.

- Борис Друян
  -
  - Все это было
    - Голоса из военного детства
    - Тридцать три года спустя
    - Возвращение
    - В школе юнг
    - Рб 122
    - Вместе с друзьями
    - Родник
    - «Мама, это я…»
  - Люди и книги
    -
    - Открытие
    - Неостывшая память
    - Два автографа
    - Том агатовый
    - «И деревья стоят голубые…»
    - Не нравился он мне…
    - Он или она?
    - «Звони, пока не услышат!»
    - Отдельная папка
    - «Был бы жив Великий Петр…»
    - «Здравствуй хорошенько!»
    - «Нет человека без изъяна…»
- notes
  - 1

- ○ 2
- ○ 3

Борис Друян
Неостывшая память (сборник)

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы).»

© Друян Б., 2013
© «Геликон Плюс», макет, 2013

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)

Все это было

Моей жене Дине

Голоса из военного детства

Я помню руки матери моей,
Хоть нет ее, давно уж нет на свете…

Николай Рыленков

Всегда удивляюсь, даже завидую тем, кто помнит себя и окружающих с самого раннего детства. У моей памяти четкий отсчет: начало войны, когда мне было почти пять лет. А до этого – лишь редкие, короткие проблески, неосязаемые ощущения.

Вот мама ведет меня гулять через проходные дворы на набережную Обводного канала. Она крепко держит меня за руку, опасается, что я, не дай Бог, упаду. Мне это не нравится, я умудряюсь вывернуться и тут же плашмя падаю в густую летнюю пыль. Мама меня поднимает, отряхивает, ласково укоряет, и мы тихо идем вдоль залитого солнцем канала. Внезапно раздается пронзительный звук сирены воздушной тревоги. Мама быстро бежит к дому, прижимая меня к груди. А противная сирена все воет и воет…

Хорошо помню вечер, когда не оказалось дома отца. Еще бы, он всегда после работы подбрасывал меня высоко-высоко к сияющей хрусталем люстре. Мне весело и немного страшно, но у отца такие сильные руки. Он хохочет, во рту его блестит золотой зуб. Мама отнимает меня, и мы уже все громко смеемся…

А сейчас мне тоскливо. Я хнычу. Мама утешает меня, говорит, что папа ушел на войну, скоро вернется и опять мы будем вместе.

Вскоре я совсем ненадолго увидел отца и, как оказалось, в последний раз. Я точно знаю, где это произошло и как это случилось. Мы жили в четвертом дворе дома 18 по Измайловскому проспекту, невдалеке от Варшавского вокзала. Проспект пересекают Красноармейские улицы – бывшие Роты Измайловского полка. На них располагались казармы. Так случилось, что мой отец, рядовой красноармеец, оказался в одной из этих казарм.

Рядом с проспектом, на 9-й Красноармейской, у глухих ворот мы долго стоим с мамой. Наконец ворота открываются, появляется колонна солдат и поворачивает направо. Мой отец

небольшого роста, он шагает в конце колонны. Мама поднимает меня на руки и кидается навстречу ему. Видимо, отцу разрешили выйти из строя, он берет меня на руки и целует, целует, что-то говорит мне и маме.

Колонна уже двигается по Измайловскому, огибая слева нечто диковинное: одетые в военную форму женщины медленно несут гигантского размера длинное толстенное чудовище. Конечно, я лишь много позже узнал, что это чудо-юдо называется аэростатом воздушного заграждения. Тогда же я никак не мог отвести от него взгляда, не слышал, что говорит мне отец. Колонна повернула направо – на 2-ю Красноармейскую и стала втягиваться в ворота казармы. Отец передал меня плачущей маме, расцеловал нас и скрылся за воротами…

Много-много лет спустя я жил в доме по соседству с этой самой казармой, ежедневно проходил мимо нее, заглядывая через открытую дверь проходной во двор. Однажды, когда военных куда-то перевели и здание ремонтировали, я беспрепятственно вошел внутрь, тщательно обследовал все помещения, пытаясь представить отца, стоящим вот у этого окна, или шагающим вот по этому длинному коридору, или спускающимся вот по этой старой лестнице. Жилось ему, как и всем ленинградцам, неимоверно трудно. Старшая сестра моей мамы Елизавета Александровна Шувалова вспоминала, как в страшную зиму 1941–1942 года навещала в казарме вконец исхудавшего моего отца. Сама измученная голодом, она приносила ему драгоценные гостинцы – что-то из своего скудного блокадного пайка. По натуре он был щедрым, веселым человеком, до войны постоянно помогал ее семье из пяти человек. Ее рано умерший муж Михаил и мой отец Григорий были большими друзьями. По праздникам все родные собирались в маленькой отдельной квартирке Шуваловых на проспекте Огородникова. За столом веселились, пели песни и разыгрывали друг друга…

И сейчас закрою глаза – и отчетливо вижу вокзал, толпы людей с чемоданами, узлами, плачущих детей, суматошную посадку в теплушки. Мама, ее мама – бабушка Аня, средняя мамина сестра Прасковья – тетя Паня – с грудным сыном Эдиком, мой сводный десятилетний брат Лёня и я эвакуируемся в Костромскую область. Там родина бабушки, мамы и ее сестер. Нас провожает тетя Лиза, она пока остается. (Это пока растянулось на два бесконечных блокадных года). В теплушку набилось много женщин и детей. Долго и шумно устраиваемся. Мы угнездились невдалеке от дверей. И вот поезд судорожно дернулся и поплыл мимо платформы, забитой провожающими. Мама со мною на руках стоит около дверей. Я вижу бегущую

рядом с вагоном плачущую тетю Лизу в сбившейся черной соломенной шляпке. Она что-то кричит, все отстает и отстает от вагона и машет нам рукой…

Прерывисто гудит паровоз, поезд резко, с визгом замедляет ход, останавливается. Люди выпрыгивают из вагонов и бегут по полю. А над теплушками с ужасным ревом проносятся немецкие самолеты. Мама падает на землю, но так расчетливо, что я оказываюсь под нею. Мне страшно, душно и тяжело. Не знаю, сколько времени это продолжалось. Наконец наступила тишина. Паровоз короткими гудками зовет тех, кто успел разбежаться от состава. Медленно, очень медленно трогается поезд. Мама вбрасывает меня в теплушку кому-то в руки, кто-то помогает ей и брату Лёне взобраться вслед за мной, кого-то она сама затаскивает за руку в вагон. Все возбужденно переговариваются. Мама ни на шаг не отпускает меня от себя, обнимает, шепчет на ухо ласковые слова. Мне всегда так хорошо, тепло и уютно рядышком с нею…

Смутно помню долгую дорогу до Галича. Оттуда на лошадях пятьдесят километров ехали до Чухломы, а потом – до глухой деревеньки Федоровское.

Поселились в двухэтажном бревенчатом доме у близких родственников – Шараповых. У Федора Сергеевича и Елизаветы Ивановны – четверо детей: Катя, Тоня и их младшие братишки Миша и Саша.

Нам отвели комнату на втором этаже. Конечно, было тесновато, ведь нас как-никак шесть человек. Впрочем, когда похолодало, мы с братом преимущественно обретались на первом этаже на просторной русской печи с широкими полатями. Там вместе с Мишей и Сашей спали, баловались среди валенок и разного тряпья. Запомнилось, как в недрах этой самой печи меня мыла мама. Но это было всего один раз, когда спешно ремонтировалась баня…

Однажды мы проснулись рано утром от гула голосов. Сверху, с полатей, нам было видно все до мельчайших подробностей. Колхозники по очереди подходили к столу, за ним стоял человек, а перед ним весы с гирьками, на которых он взвешивал коричневатую массу. Каждый человек укладывал ее в свою посудину и не торопился уходить, принимая участие в общем разговоре. Никто из нас не мог понять, что же делят там внизу.

И вдруг меня осенило: это же халва, такой пичкали меня в Ленинграде родители! Я ее безропотно ел, а вот плитки шоколада иногда втихаря прятал на узкие полочки с внутренней стороны обеденного стола. План созрел немедленно. Тихонько сполз с

печи, между людских ног пробрался к столу, схватил с чаши весов кусочек халвы, сунул себе в рот и заорал, кашляя, захлебываясь и плача. Изо рта пошла густая пена и пузыри. Оказалось, схватил я в рот вовсе не халву, а столь же дефицитное во время войны мыло – не жидкое и не твердое, а нечто так похожее на халву.

Люди громко хохотали, а маме было не до смеха. Она пальцем выковыривала изо рта у меня гадость, которую я не всю успел проглотить, долго заставляла меня полоскать рот. Потом я съел большую горбушку хлеба и долго сосал кусочек колотого сахара, уничтожая мыльное послевкусие. Мама утешала меня и, как всегда, обнимала и оглаживала, хотя за воровство, да еще на виду у всего честного народа, я заслуживал хорошей трепки.

Небольшая деревня Федоровское расположилась в живописном месте. Невдалеке находилось Чухломское озеро, из него вытекала спокойная речка Вёкса, которая плавно огибала деревню. С нашей стороны берег пологий, топкий, заросший густым камышом. На противоположном берегу на высоком откосе возвышались полуразрушенные строения древнего Авраамиева монастыря. С довоенных времен там размещалась МТС – машинно-тракторная станция. Левее, вниз по течению, перегораживала Вёксу плотина. Здесь же – мост-переправа на другую сторону реки и действующая мельница. Справа от деревни узкая дорога убегала мимо маленького болота к деревеньке Туруково. «Маленькое болотце», как все его называли, переходило в густой, полный грибов и ягод подлесок, который плотным полукольцом обнимал Федоровское.

Со всех четырех сторон деревня наша была огорожена длинными жердями. Широкий проход освобождался от жердей дважды в сутки: ранним утром пастух уводил стадо на выпасы, а вечером пригонял обратно.

Посередине деревни стояла ветхая деревянная часовня. В ней хранилось колхозное зерно. Никто, кроме кладовщика и председателя колхоза Мумрина, заходить туда не имел права. Рядом с часовней в окружении высоких плакучих ив располагался довольно глубокий пруд. На его берегу возвышался большой двухэтажный домина. До революции он принадлежал какому-то богатею, а сейчас в одной из комнат помещалось правление колхоза. Все остальные комнаты были давно заброшены, окна разбиты, в дверных проемах – пустота.

Нам, малышам, летом разрешалось бегать лишь до загородки, но мы добирались и до мельницы, и до болотца, где росла сочная клюква и морошка, на окраине леса собирали чернику, бруснику, грибы. Особенно много было рыжиков. А вот зимой на улице

морозище, погулять нас выпускали ненадолго, и мы сидели по избам. Правда, очень-то скучать в нашем перенаселенном доме и зимой не приходилось. Все начиналось с самого утра, когда мы, едва накинув одежонку, выскакивали на крыльцо и соревновались, кто дальше пустит струю. Все было без обмана, схитрить невозможно: на снегу четко обозначены желтые пунктирные следы. Иногда нас, слишком уж разыгравшихся четырех пацанов, загоняли на полати, но и там мы учиняли тарарам с визгом, хохотом, порою – с отчаянным ревом.

Наша тихая бабушка Аня целыми днями нянчилась с маленьким Эдиком, на нас она вовсе не обращала внимания. Через год после приезда она умерла.

Мою маму Ираиду все звали просто Раей, Раечкой. Она была очень красивая. Небольшого роста, с открытым ясным лицом, она в начале тридцатых приехала в Ленинград из Костромской глубинки с ребенком Лёней на руках. Едва увидев ее, мой будущий отец Григорий, как вспоминала тетя Лиза, влюбился, долго добивался и все-таки добился ее согласия выйти за него замуж. Маму он боготворил и дико ревновал ко всем на свете. Лёню усыновил и любил как родного. Вскоре на свет появился я, предмет безмерной родительской любви.

Жили мы на втором этаже в шестнадцатиметровой комнате четырехэтажного дома, даже не в коммунальной квартире, а, как говорилось, в коридорной системе. По существу это было самое настоящее общежитие: через весь этаж проходил узкий коридор, слева и справа – двери в комнаты. Каждые две соседние комнаты отапливались одной общей круглой печкой. Дрова хранились во дворе в бесчисленных сарайчиках, обитых ржавым железом. На всех этажах, кроме первого, где помещалась зеркальная мастерская, было около тридцати комнат. Посередине располагалась огромная кухня, в самом центре ее стоял длиннющий стол. В сторонке – две чугунные раковины-рукомойники. О горячей воде даже не мечтали. Пищу готовили на примусах. Мы жили в комнате № 100, а в 113-ой обитала семья маминой сестры тети Пани.

Нашу счастливую жизнь разорвала война. И вот теперь в родной деревне мама стала простой колхозницей. Рано утром, чуть свет, звонкий колокольчик бригадирши тети Нюры будил деревню. Она обходила избы и «наряжала» людей на работы. Мама трудилась и в поле, и на скотном дворе, и даже наравне с мужиками на лесных делянках, ловила сетями рыбу в Чухломском озере. Мужиков-то в деревне было очень мало, все

были на войне.

Однажды поздней осенью, насквозь мокрая, она принесла домой увесистый кусок огромной щуки. Тогда мама жестоко простудилась, и ее больше в рыболовецкую артель не посылали.

В деревне все жили одинаково трудно. На заработанные трудодни мало что выдавали, лишь в ведомостях ставили ничего не обеспечивающие палочки. А в каждой избе – голодные ребятишки, их надо кормить, вот женщины и крутились как могли, надрывались на работах. Мы всё видели и примечали, слышали, как взрослые недобрыми словами костерили госпоставки: надо было регулярно сдавать государству зерно, мясо, овечью шерсть, животное (коровье) масло, куриные яйца. Со слезами подписывались на облигации государственного добровольного займа – добровольным он только назывался.

И все же традиционные праздники, например Рождество, Масленицу, Пасху, Троицу, а также престольный праздник нашей деревни Абрамьев (Авраамиев) день отмечали весело и сытно. Хозяйки загодя приберегали продукты. С раннего утра во всех избах топятся печи, пекутся пироги, на Масленицу – блины, в Пасху – неимоверно вкусные куличи и творожные пасхи, а на столах в больших деревянных плошках сияют покрашенные луковой шелухой куриные яички. Утром празднично наряженные матери брали нас с собою в Нероново в церковь, где проходила служба. Хорошо помню, как старенький поп причащал меня, вливал в рот маленькую ложечку с необыкновенно сладкой жидкостью…

В середине дня столы заставлены мисками с обязательной горячей картошкой, студнем, квашеной капустой, огурцами, грибами. А посередине – бутылки с мутным самогоном и с тем же самогоном, только подкрашенным клюквенным морсом. Взрослые пили мало, берегли себя до вечернего застолья. Мы ели «от пуза», бегали по избам в гости, играли, стукались, иногда жульничая, крашеными яичками, ссорились и тут же мирились. У нас была своя жизнь, у взрослых – своя, им было не до нас, и всем было радостно и весело.

Летним вечером на улице, а зимою в чьей-нибудь избе (часто это было в нашей) устраивалось празднество «в складчину»: все приносили с собою на общий стол разную снедь и бутылки с самогоном и брагой.

Нам с полатей было видно все, что происходило в горнице. Сначала в полной тишине произносили тост за победу над проклятыми фашистами, затем, чинно, вполголоса переговариваясь, выпивали из граненых стопок, крякали, морщились, закусывали. Постепенно разговор становился

громким и хмельным.

Нередко бывало и так: веселье прерывалось сдавленным женским рыданием. Накануне кому-то пришла похоронка на мужа. Несчастную утешали такие же несчастные, как она.

После очередной стопки наступает время первого парня на деревне – гармониста Бориса Смирнова, которого все в деревне почему-то величали Борькой Сарафановым. Не торопясь, он берет в руки гармонь, растягивает меха, пробегается пальцами сверху вниз по пуговичкам-басам и голосам и вопросительно смотрит вокруг. Решено начать с песен. Учительница Антонина Алексеевна Крошкина уверенно начинает: «На позицию девушка провожала бойца…» Ее поддерживают остальные. Поют хорошо, слаженно, душевно. «Синенький скромный платочек…», «В далекий край товарищ улетает…», «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина…», «Из-за острова на стрежень…».

Нам особенно нравилась песня о настоящей мужской дружбе двух фронтовиков, один из них был нашенским, костромичом:

Дрались по-геройски, по-русски
Два друга в пехоте морской.
Один паренек был калужский,
Другой паренек – костромской.

Они, словно братья, сроднились,
Делили и хлеб, и табак,
И рядом их ленточки вились
В огне беспрерывных атак.
В штыки ударяли два друга,
И смерть отступала сама.
А ну-ка, дай жизни, Калуга!
Ходи веселей, Кострома!
Но вот под осколком снаряда
Упал паренек костромской.
– Со мною возиться не надо, —
Он другу промолвил с тоской. —
Я знаю, что больше не встану,
В глазах беспросветная тьма.
– О смерти задумал ты рано,
Ходи веселей, Кострома! —

И бережно поднял он друга,
Но сам застонал и упал.
А ну-ка, дай жизни, Калуга, —
Товарищ чуть слышно сказал.

Теряя сознанье от боли,
Себя подбодряли дружки.
И тихо по снежному полю
К своим поползли моряки.

Умолкла свинцовая вьюга,
Пропала смертельная тьма.
– А ну-ка, дай жизни, Калуга!
– Ходи веселей, Кострома!

Навсегда запомнил я слова этой песни. У меня тогда была открытка, которую бережно хранил. На ней – матрос в белоснежном маскировочном халате. В руках он держал винтовку со снайперским прицелом. Из-под капюшона виднелась бескозырка. Конечно же, в мечтах я видел себя на его месте, метко стрелял по врагам…

И вот со стола всё убирают, уносят его в сени, а пока девчата и молодые парни под отчаянную дробь каблуков поют частушки – озорные, лукавые, а то и хлесткие о милом и милашке, о голых трудоднях, о подлом изменщике, о гордячке-зазнобе, о бригадире и председателе. Подкалывали и нас, эвакуированных ленинградцев, ведь мы не могли, как местные костромичи, в разговоре заметно напирать на «а» – акать:

Ленинградские чивокалки —
Чиво, чиво, чиво.
Прочивокали чивокалки,
Не стало ничиво!

Почти все частушки пересыпаны солеными словами. Остросовременные и образные – о ненавистном Гитлере:

Сидит Гитлер на заборе,
Плетет лапти языком,
Чтобы вшивая команда
Не ходила босиком.

Сидит Гитлер на березе,
Яйца болтаются,
А на яйцах написано:
«Война кончается».

Частушки явно торопили победу. До конца войны еще было ох как далеко! Еще многие избы огласят округу безысходным воем, туда придет очередная похоронка.

А пока – праздничное веселье. Частушки сменяются общим танцем под названьем «Козуля». Он состоит из семи частей, в каждой свой «манер», мелодия, рисунок, ритм. Неторопливый танец сменяется бурным переплясом. В дело вступает трензель. Таких музыкальных инструментов я никогда потом в своей жизни не видывал. Он состоял из блестящего металлического треугольника, толщиной в мизинец. Левой рукой «музыкант» держал небольшую ручку на верхнем углу трензеля, а правой выбивал металлической палочкой звонкую дробь, идеально вступая в мелодию сарафановской трехрядки.

Парни не забывают прикладываться к самогонке. Взопревшему гармонисту подносят особо, уважительно. Он привык к всеобщему вниманию, снимает гармошку с плеча и лихо опрокидывает стопку.

Разгоряченные высоким градусом, ребята вываливаются на улицу покурить, поспорить, повздорить, а иногда покуражиться и подраться. Дрались не очень серьезно, без особого вдохновения, ведь все в деревне свои, многие состоят в близком или дальнем родстве. Драчунов быстро разнимали. Другое дело, когда налетала хмельная ватага из другой деревни выяснять отношения, предъявлять давние претензии. И тут без частушки не обходилось:

Самолет летит,
Колесы спёрлися.
Мы не звали вас,
А вы приперлися.

С криками, матом шли стенка на стенку. Дубасили друг друга кулаками, только что выдернутыми из оград и заранее припасенными кольями. В конце концов нежданные гости почитали за благо удалиться. Их возбужденные голоса еще долго слышались из-за околицы. Победители дружно распевали:

Нас побить, побить хотели,
Нас побить пытался,
А мы тоже не плошали —
Того дожидалися.

А вот поножовщины случались крайне редко. Мы с опаской, затаив дух, издалека наблюдали за происходящим до тех пор, пока нас встревоженные матери не водворяли в дом.

Праздник заканчивался на свежем воздухе далеко за полночь громкими нестройными песнями и частушками под залихватскую гармошку Борьки Сарафанова.

Рано утром вновь звучал настойчивый колокольчик тети Нюры. Начинались долгие привычные рабочие будни. И опять я видел уставшую маму лишь вечером, перед сном. Я ей рассказывал, чем занимался целый день, с кем играл в лапту, как ловко выдергивал на конюшне из хвоста смирной лошади длинные волосы на леску, а потом ловил маленькую рыбешку на пруду, жаловался на появившиеся на ногах цыпки. Мама восторженно и встревоженно ахала, густо смазывала мои ноги до колен сметаной. Не было случая, чтобы она не обняла меня, не наговорила нежных, ласковых слов.

Иногда почтальонша приносила солдатские треугольники от отца и от дяди Лёши – мужа тети Пани. Вечером все обитатели избы садились вокруг стола и при свете керосиновой лампы читали письма вслух. Были они краткие, некоторые строки густо замазаны черным военной цензурой. Отец интересовался нашим житьем-бытьем, передавал всем поименно приветы, неизменно спрашивал обо мне и о брате Лёньке, о том, как я расту, здоров ли, ведь до войны я частенько хворал. Мама платком вытирала слезы, а потом принималась писать отцу ответное письмо.

Тетя Паня почти сразу же по приезде в деревню устроилась на легкую работу – стала счетоводом, а потом и бухгалтером. В деревне все у всех на виду, и вскоре стали поговаривать, что председатель Василий Ефимович Мумрин и Прасковья Полякова не зря частенько вместе ездят в Чухлому. Конюх запрягал лучшего жеребца в легкую двуколку, и они отбывали в райцентр по своим неотложным делам. Мы на полатях слышали, как хозяева дядя Федя и тетя Аня вполголоса их осуждали, сочувствовали жене председателя Степаниде, которая, без сомнения, обо всем давно догадывается, но молчит.

После смерти бабушки Ани с годовалым Эдиком нянчилась одетая во все черное очень богомольная женщина Люба. Она переселилась к нам из соседней деревни. Была она молчаливая и крайне редко выходила из себя, если мы ей очень уж досаждали. «Подтираны! Кровопийцы!» – беззлобно повышала она голос. Но на нас, «подтиранов», ее покрикивания не действовали.

Осенью 1942 года пришло письмо от отца. Он писал, что

находится после ранения в госпитале в городе Череповце. Мама сразу же засобиралась к нему.

Провожала ее вся родня. Уезжала она с котомкой гостинцев на попутной повозке до райцентра. А от Чухломы ей предстояло ждать оказии до Галича. Я никак не хотел ее отпускать, в последний момент вцепился в нее и задохнулся от плача. Еле оторвали меня от мамы. Лицо ее было мокрым от слез. Мы еще долго стояли и смотрели вслед повозке, пока она не переправилась на другую сторону Вёксы.

Это сейчас дорога до Череповца занимает совсем немного времени. А тогда, добравшись до Галича, надо было добыть место в теплушке и долго-долго ехать, останавливаясь перед встречными и пропуская попутные составы с военными грузами.

Я очень тосковал. Каждый день бегал к мельнице, долго сидел на широких перилах моста и глядел в сторону деревни Андреевское, ожидая маму. Дни шли за днями, а она все не возвращалась.

И все же прозевал ее приезд. Невдалеке от нашего дома мы с ребятами играли у большущей, никогда не просыхающей лужи. И неожиданно я услышал родной голос. Со всех ног кинулся навстречу, раскинул руки и уткнулся в черную юбку мамы. Она бросила на землю поклажу и подхватила меня на руки. В этот миг для меня ничего и никого не существовало, кроме моей мамы. Ощущение безмерной радости, теплоты, счастья захлестнуло меня, и я, обхватив ее шею, залился громким плачем. Мама и сама плакала и смеялась, крепко прижимая меня к себе.

Вечером за столом она рассказывала о дорожных приключениях, об отце. Он уже шел на поправку, и его вскоре должны отправить на фронт. Потом все по очереди рассматривали карандашный рисунок. На нем самодеятельным художником был изображен отец в больничной рубахе. А на его груди – медаль «За отвагу». Тогда я впервые почувствовал, что такое гордость. Гордость за отважного, смелого отца. Ну и что, что медаль приколота не к военной гимнастерке, а к обыкновенной больничной рубашке!

Самое страшное, непоправимое в моей жизни случилось в самом начале 1943 года. Стояли сильные морозы, деревню завалило снегом. В доме было непривычно тихо, взрослые переговаривались вполголоса. Мы на полатях испуганно молчали и старались не смотреть вниз. Там посередине комнаты стоял гроб. В нем лежала моя мама. Она умерла. А мне все казалось, что этого не может быть, что вот она встанет и все будет по-прежнему, она возьмет меня на руки и крепко-крепко прижмет к

груди.

В полдень в избу набилось много народу. Кто-то сказал, что надо детям проститься. Нас с братом Лёней подвели к гробу. Лицо мамы было спокойным и неправдоподобно красным. Только тут я понял весь ужас происходящего и в голос заревел. Вместе со мной плакал мой старший брат.

Появился соседский мужик Лёха Крошкин и сказал, что могила готова и пора отправляться, надо все успеть засветло. Гроб закрыли крышкой и вынесли из дома. Помню себя плотно закутанным в тулуп. Лошадь медленно тащит дровни заметенной снегом дорогой в Понизье, что километрах в трех от нашей деревни.

Наконец мы на месте. В храме зажжены свечи, священник читает заупокойную молитву. Я гляжу на все сквозь слезы, понимая, что это последние мгновения, когда вижу мою маму. И вот я целую бумажную полоску на ее лбу и, рыдая, пытаюсь обнять маму, но меня оттаскивают чьи-то руки.

Свежевырытая могила в двух метрах от стены церкви. Рядом кованый крест на могиле бабушки Ани. Стучат молотки. Крышка прибита к гробу. Мужики на веревках опускают его в могилу. Меня заставляют бросить туда, на гроб с мамой, мерзлый комок земли. Лопаты быстро сделали свое дело. Всё… Женщины обнимают меня, что-то говорят, плачут, я впервые слышу жалостливое: «сирота», «сиротка», «сиротинка».

Я долго не знал, от чего умерла моя мама, пока мне через много лет не рассказали, что из Череповца, где лежал в госпитале отец, она вернулась беременной. У нее уже были мы с братом, и она решила, что родить и воспитывать еще одного ребенка в тяжкие военные годы ей не под силу. Официальные аборты были строго запрещены, и мама прибегла к помощи деревенской бабки. Умерла она от заражения крови. Вот почему в гробу у нее было красное лицо.

От отца с Ленинградского фронта пришло письмо. Он просил тетю Паню сохранить нас с Лёнькой, а уж он, если будет жив, сполна оплатит ее заботы. Оставшиеся после мамы семейные драгоценности он передает ей для нашего воспитания.

Между тем к нам насовсем переселился председатель Мумрин, бросив семью и наплевав на осуждение жителей деревни. Был Василий Ефимович бородат, хамоват, неулыбчив. Человек крутой, убежденный в собственной значимости и непогрешимости, он уважал лишь одно мнение – свое. Изъяснялся с колхозниками в основном матерными словами в самых разных

комбинациях. Было ему за пятьдесят, от призыва на фронт был освобожден. Любил к месту и не к месту ввернуть, что он старый вояка: «В Первую империалистическую служил в Вильне каптенармусом». Люди вынуждены были терпеть его самодурство. Но иногда терпению приходил конец. Однажды поздним вечером сильно выпивший Леха Крошкин решил проучить зарвавшегося председателя, а заодно и бухгалтершу. Несмотря на уговоры хозяев дома, он стал подниматься к нам на второй этаж с проклятиями и угрозами. Перепуганные тетя Паня и Мумрин спешно приперли дверь массивным шкафом, уперлись в него, сопротивляясь мощным толчкам разъяренного Лёхи. Мумрин надсадно хрипел, а тетя Паня громко верещала: «Помогите! Караул! Помогите!» С большим трудом прибежавшие соседи уговорили Крошкина оставить в покое ненавистную парочку.

Нам с братом велено было называть Мумрина дедушкой. Дедушка не стеснялся обложить нас матом, за малейшую провинность дать крепкую затрещину. Не очень-то отставала от него и тетя Паня, награждала нас подзатыльниками, ставя в пример своего малолетнего Эдика. После смерти мамы я редко слышал от нее добрые слова. В душе копилась обида, и как-то после незаслуженной трепки и уже привычных обвинений в дармоедстве я впервые в жизни совершил дурной поступок: ни в чем не повинного спящего двоюродного братишку Эдика спихнул с сундука. С тех пор он стал заметно заикаться. Чем чаще меня обижали, тем больше росло ожесточение, я мечтал скорее стать взрослым и очень сильным. А пока в минуты отчаяния залезал на сеновал и горько плакал, вспоминая маму, ее ласковые прикосновения, родной голос.

Иногда в деревне происходило такое, о чем люди еще долго говорили.

Однажды летом мы с ребятами играли в прятки возле большого дома, где помещалось правление. Мы частенько подлезали под высокий первый этаж, где всегда было темно, прохладно и страшновато. Никто не обращал внимания на свисавшие из щели какие-то заскорузлые кожаные ремни. А вот на этот раз один мальчишка в темноте с разбега больно уткнулся в ремни и взвыл от боли. Дома он признался, откуда у него на лице царапины. Его дед не поленился и полез под дом. Отодрал одну доску, другую и обнаружил дореволюционный клад. Там были старинные монеты, блюда из серебра, бронзовые подсвечники. Большую пачку царских бумажных денег он роздал нам, приятелям его внука. В деревне только и говорили о найденном кладе. Дома я честно признался, что много раз видел

под домом свисающие из щели старые ремни. Признался и тут же пожалел, получив сильный подзатыльник…

А злополучный дом вскоре дотла сгорел. От чего – никто не знал. На его месте, на берегу пруда, для Мумрина, а, значит, теперь для нашей семьи вырос новый дом.

Как-то у нас появился невесть откуда взявшийся портной. По заказу Мумрина он сшил для него рубаху-косоворотку из нового материала под странным названием «чертова кожа». Портной, как оказалось, не имел представления, как шить косоворотки. Вместо ворота от правой скулы вниз до груди он соорудил поистине косой ворот – от правого уха до левой подмышки. Дед был вне себя: любая ткань, а тем более новая, была редкостью, люди донашивали старые довоенные одежки до крайней ветхости. Одеть невиданного покроя косоворотку на всеобщее посмешище Мумрин, конечно же, категорически не захотел. От ярости он адресовал портному весь свой богатейший матерный запас, присовокупляя забористое «… в стос!». Ни до, ни после Мумрина я эдакого не слыхивал даже от завзятых матерщинников. Взять с бедного портного было нечего, и он прожил у нас несколько дней, перешивая и перелицовывая старые вещи за скудную еду. Деревня помирала со смеху, узнав об истории, приключившейся с председателем.

Внезапно на три дня приехал муж тети Пани дядя Лёша, военный авиационный инженер. Понятия не имею, как тетя Паня объяснила ему проживание в одном доме с председателем колхоза. В эти дни в комнату, где были тетя Паня и ее муж, Мумрин не заходил. Со мной и братом дедушка был необычайно ласков. Дядя Лёша уехал, и всё встало на свои привычные места.

Запомнился и приезд летом в краткий отпуск по ранению Саши Соловьева – то ли двоюродного, то ли троюродного племянника мамы. На нем ладно сидела танкистская форма. На плечах красовались погоны старшины. Ватага восторженных мальчишек преследовала его по пятам. Я был горд, ведь из всех пацанов он выделял меня, называл братиком, приобнимал за плечи, когда мы неторопливо шагали по деревне. А вечерами на огороженную скамейками и утрамбованную сапогами площадку собиралась молодежь на зов гармошки Бори Сарафанова. Тут уж отбою Саше от девчонок не было. Как-то тетя Паня послала меня его разыскать – он не приходил ужинать. Довольно быстро я обнаружил его целующимся с девушкой за сараем. Стараясь быть незамеченным, я ретировался, поглазел на танцующих, не спеша вернулся домой и доложил, что Сашу не нашел. Вскоре он снова ушел на фронт. Провожала его вся молодежь деревни. После войны я видел его лишь один раз и рассказал, как искал его в тот

памятный вечер и что видел за сараем.

В сентябре мне исполнилось восемь лет. Я пошел в первый класс. Брат Лёня уже учился в пятом классе в Ножкино, рядом с монастырем, потом забросил учебу и стал работать в кузнице учеником молотобойца. Дружил он с Мишей Крохалевым. Брата привечали в доме Крохалевых: они были родственниками его родного отца, давным-давно невесть где пропавшего.

Наша четырехклассная школа находилась совсем недалеко от Вёксы. В школе были две небольшие комнаты. В одной за партами располагались ученики первого и второго классов, в другой – третьего и четвертого. Учили нас две приветливые, добрые учительницы – Нина Сергеевна Соколова и Антонина Алексеевна Крошкина. Чаще всего я был под опекой Нины Сергеевны. Учебники были старые, затрепанные, писать буквы и цифры мы учились перьевыми ручками на толстой серой бумаге, а иногда и на газетах. Однажды из района прислали для нас несколько новеньких тонких тетрадок в косую линейку. Вожделенные тетрадки достались не всем. В числе прилежных учеников тетрадку получил и я. И был необычайно горд этим.

На переменках в теплую погоду мы играли перед школой в пятнашки, в лапту, а девчонки в коридоре выстраивались в две шеренги, по очереди наступали друг на друга и, обязательно громко топоча, пели:

– А мы просо сеяли, сеяли.
Ой, дид-ладо сеяли, сеяли.
– А мы просо вытопчем, вытопчем.
Ой, дид-ладо вытопчем, вытопчем.
– А чем же вам вытоптать, вытоптать?
Ой, дид-ладо вытоптать, вытоптать?
– А мы коней выпустим, выпустим.
Ой, дид-ладо выпустим, выпустим.
– А мы коней в плен возьмем, в плен возьмем.
Ой, дид-ладо в плен возьмем, в плен возьмем…

В школу я ходил с большим удовольствием, учеба давалась легко. Появились у меня новые приятели-одноклассники – мальчишки и девчонки из соседней деревеньки Туруково. И среди них Павлушка Гусев, с которым через много лет снова столкнет меня судьба. А обе учительницы и даже молчаливая техничка-истопник Елизавета Михайловна Кузнецова казались мне людьми особенными, необыкновенными.

Ранним январским утром 1944 года нас, всех учеников школы, отправили на один день в Чухлому. Мы радостно разместились на санях, лошади тронулись и неторопливо зашагали зимней дорогой через озеро. Белый-белый упругий наст, прозрачный морозный воздух, только что появившееся на горизонте солнышко, неспешное шуршание полозьев – все было таким празднично-умиротворенным, что мы позабыли о привычных проказах, притихли. В конце недолгого пути я даже не заметил, как задремал.

Днем в большом теплом помещении собралось множество детей со всего района. Солидные дяди и тети долго говорили о пользе хорошей учебы, хвалили нас, наших учителей, зачитывали последние сводки Совимформбюро об успешном наступлении наших войск. Мы дружно хлопали в ладоши, кричали «Ура!». Потом нам показали кинофильм о войне, название которого припомнить не могу, а перед ним – киножурнал о трудовых подвигах работников тыла и очень смешную короткометражку о героических действиях красноармейцев и трусливых недотёпах фрицах.

Вечером в столовой нас сытно и вкусно накормили гороховым супом, котлетами с картофельным пюре и сладким компотом. Разомлевшие от еды, мы так же, как и утром, разместились в санях. Всю обратную дорогу веселились, толкались, задирали девчонок, распевали песни. Учительницы снисходительно глядели на наши шалости. Вернулись домой, когда давным-давно на небе горели яркие холодные звезды.

Каждый год в августе несколько дней подряд Нина Сергеевна и Антонина Алексеевна собирали все четыре класса и вели в поле теребить лен. В летнюю страду рабочих рук недостает, приходится прибегать к помощи детей. Мы стараемся изо всех сил. Под палящим солнцем выдергиваем растения из земли, связываем в снопы так, как нам показывают учительницы. Пот застилает глаза, руки саднит, нагибаться и разгибаться все труднее и труднее, хочется пить. Силенок маловато, но виду не показываем. Учительницы все видят и понимают, жалеют нас и после четырех часов работы отпускают по домам. Мы идем не спеша, с чувством выполненного долга.

От отца по-прежнему приходили короткие письма с фронта. В последнем он писал, что участвует в боях за полное снятие блокады с Ленинграда. Я до сих пор помню фразу: «Идем по горам немецких трупов от Красного села в сторону Гатчины». А вскоре пришло письменное сообщение о том, что он в феврале

1944 года пропал без вести. Я стал не просто сиротой, а круглым сиротой. Женщины жалели меня, участливо заговаривали со мной, старались приласкать: сироты в деревне были, круглыми – лишь я и брат.

На нас с Лёней тетя Паня оформила опекунство. Детям пропавших без вести фронтовиков государство не платило ни копейки, а за опекунство полагалось пособие.

По пути в школу и обратно я всегда быстро пробегал мимо дома семьи Мумриных, боялся встретить тетку Степаниду. Удавалось это не всегда. Она из-за калитки молча и, как мне казалось, сердито глядела на меня, ведь на моей голове была одета сползающая на глаза старая ушанка Мумрина. При очередной встрече тетка Степанида преградила запорошенную снегом тропинку, наклонилась, поправила на мне шапку, неожиданно улыбнулась и сказала, чтобы я не боялся ее. Потом вытащила из кармана полушубка пирожок и вложила его мне в руку. Пирожок оказался теплым, с картофельной начинкой. Конечно же, она меня поджидала специально. Медленно шел домой, и мне долго еще мерещилась добрая улыбка тетки Степаниды.

А война катилась на запад. Люди получали солдатские треугольники уже из самой проклятущей Германии. Иногда с фронта приходили даже небольшие посылки с материей, обувью, брошками, бусами, даже женским бельем невиданного качества. Ходил слух, что в какой-то деревне нашего района одна многодетная семья получила с фронта посылку, в которой среди прочего было три куска хозяйственного мыла. Два из них хозяйка отвезла в Чухлому и на базаре то ли продала, то ли на что-то обменяла. Потом пришло запоздалое письмо, в нем муж требовал ни под каким видом мыло не расходовать до его возвращения. Как оказалось, именно в тех двух кусках были «замурованы» золотые вещицы. Трудно сказать, правда это была или лишь досужая выдумка, которая оживленно обсуждалась в деревне. А вот другой слух расползался по большому секрету: где-то в лесах нашего района нашли пристанище вооруженные дезертиры. Позднее оказалось, что слух этот был не беспочвенным…

Солнечным майским днем со стороны Андреевского прискакал на лошади молодой парень – нарочный из района, промчался вдоль деревни, беспрерывно и громко крича лишь одно слово: «Победа! Победа! Победа! Победа!..» Отовсюду к часовне сбежались люди, окружили нарочного. Он только и мог

сказать, что поступило правительственное сообщение о конце войны, что он по приказу райкома объезжает деревни. И тут же ускакал по дороге в Туруково.

Все кричали, смеялись, плакали. Плакали женщины. Одни – слезами радости и счастья: их родные вскоре наконец-то вернутся с войны. Другие рыдали от безысходного горя: их мужья и сыновья уже никогда не переступят порог родного дома. Я, конечно, как и все, радовался, что Гитлеру пришел «капут», но нахлынувшее невыразимо тоскливое чувство одиночества не отпускало меня. Ласковые, участливые слова добрых деревенских женщин еще сильнее бередили незаживающую рану, обостряли сознание непоправимости беды, я отворачивался, убегал и тихо плакал, чтобы никто не мог этого заметить.

Весной 1946 года пришел вызов из Ленинграда от дяди Лёши. Вызов пришел не только на нашу семью, но и, к изумлению всей деревни, – на Мумрина.

Мне уже было почти десять лет, я окончил второй класс, многое стал понимать из того, что происходит вокруг. Многому научился, знал, в какой последовательности надо запрягать лошадь, как ее подковать, как на колючей стерне ставить суслоны ловко перевязанных снопов ржи, как молотить снопы на току, как метать стога сена, как «с выходами» станцевать всю «Козулю» и много других премудростей деревенской жизни. Конечно же, все это я знал и умел лишь умозрительно, «про себя». Детский глаз приметливый, мельчайшие детали четко и надолго остаются перед внутренним взором, как на экране. Жаль, через годы все это сначала подзабылось, а затем куда-то уплыло насовсем.

Здесь, в деревне, я твердо усвоил, что такое доброта, душевность, сочувствие простых людей. Познал в полной мере и сердечную глухоту, злобу, несправедливость.

Главное же – здесь я впервые и навсегда подсознательно ощутил себя как маленькую частичку земли, меня никто не учил, но я сам постепенно научился видеть красоту деревенской природы, слушать глухой, таинственный шум леса, различать многоголосье птиц. Сердце подпрыгивало от восторга, когда я бежал напрямки через ржаное поле, расцвеченное васильками. Интересно было наблюдать, как стремительные серпокрылые ласточки сооружают под стрехой гнездо, как внимательно следят вороны с высоченных берез за всем, что происходит внизу на земле. Неизъяснимое, щемящее чувство переполняло душу при виде строгого клина гусей, плывущих высоко в небе в южные края…

Пришел день, когда около нашего дома остановилась невиданная доселе полуторка. От нее непривычно и, как нам, детям, показалось, вкусно пахнуло бензином. Вынесли из дома чемоданы и узлы, погрузили в открытый кузов, там же расположились Мумрин, Лёня и я, а тетя Паня с Эдиком на руках села рядом с шофером. Односельчане со стороны молча наблюдали за предотъездной суетой, лишь дети хозяев Катя, Тоня, Миша и Саша, а также мои и Лёнькины приятели топтались рядом с машиной, что-то говорили нам, перебивая друг друга. Быстрым шагом подошли мои любимые учительницы Нина Сергеевна и Антонина Алексеевна. Я перемахнул через борт и оказался в их объятиях. Они плакали, а я держался изо всех сил. Наконец меня снова подсадили в кузов, шофер крутанул мотор заводной ручкой, он зачихал, затем ровно застучал. Раздался протяжный сигнал, и машина тронулась. Ребята с криками бежали сзади почти до мельницы, размахивали руками. Вот и наша речка Вёкса осталась позади.

Прощай, Федоровское, прощай ясное и горькое детство…

Тридцать три года спустя

Приду на старый маленький погост,
Зажгу свечу на холмике заросшем…

Ольга Колпакова

В начале отпускного августа 1969 года меня захлестнуло непреодолимое желание съездить в Федоровское, навестить могилу мамы. Признаюсь, желание возникало еще раньше, но чтобы так остро, так навязчиво – такого не припомню. Долго объяснять Дине не пришлось, жена все сразу поняла, быстро собрала дорожный чемодан.

И вот я уже в Галиче. Проблем с транспортом, как в давние военные годы, нет. Автобус ждет пассажиров у вокзала. Правда, автобус маленький, уже заполнен под завязку, но это не беда, угнездился в проходе на чемодане. За окошком резво пробегают перелески, зеленые поля, на них пасутся коровы, овцы. Словом, все как тогда, в мои детские годы.

После обеда автобус затормозил в самом центре Чухломы. Спрашиваю молодого водителя, как бы мне добраться до Андревского. А он так небрежно отвечает, что это проще пареной репы, главное – чтобы я далеко от автобуса не уходил, совсем скоро он сам поведет его в Солигалич, а это по пути. От денег за проезд он решительно, даже с какой-то обидой, отказался.

Тронулись, когда начался сильный дождь. В Андреевском закрытой остановки не было, струи ливня хлестали со всех сторон, ветер норовил сбить с ног, свирепо грохотал гром, сверкали жуткие молнии. Я вскинул на голову свой легкий чемодан в надежде защититься от стихии, но какая там защита – вмиг стал мокрым насквозь. Медленно, по раскисшей дороге побрел в сторону Федоровского. Вот и речка Вёкса. Вроде все так, да не так: нет нашей старой мельницы. И тут совсем неожиданно притих ветер, распахнулись, умчались тучи, землю залил солнечный свет. Сразу всё вокруг заулыбалось, на душе стало радостно и спокойно. Уже весело зашагал прямиком по глубоким лужам. А чего там, все равно в ботинках давным-давно чавкает вода. Справа от дороги, как ни всматривался, не углядел даже следов когда-то огромных силосных ям.

Волнуясь, вошел в такую знакомую, ставшую родной деревню. На месте, где когда-то стояла ветхая часовня, увидел

трех беседующих женщин, подошел к ним, поздоровался. «Ты кто, такой пригожий, будешь-то?» – улыбаясь, спросила одна из них. Я приготовился объяснять, кто я и зачем пожаловал, но лишь только назвал себя, как женщины загомонили, наперебой называя меня «духонькой» – именно так здесь исстари заменяют слово «душенька». Меня они хорошо помнили, помнили брата Лёню и, конечно же, мою маму. Оказалось, в доме Шараповых уже давно никто не живет, он пустует. Старики давно умерли, ребята разъехались, а вот Катерина и Тоня живут в другой стороне района. Я приуныл. Одна из женщин тут же заметила: «Полно, духонь, андел мой, расстраиваться-то» и повела к себе в избу. Анна Васильевна Смирнова – так звали добрую женщину – нашла сухую одежку, накормила, напоила чаем и уложила спать на сеновале.

Ночью у меня поднялась температура. Накануне я все же здорово простудился под ливнем. Отлеживался двое суток, хозяйка смогла уговорить меня лишь сжевать кусочек горячего пирога, попить заварку с сухой малиной и проглотить несколько каких-то таблеток. Долго валяться в мои планы не входило, я сказал, что хочу пойти в Понизье. Анна Васильевна резонно заметила, что самому мне могилу не найти, а она точно помнит, где похоронена мама, надо еще денек потерпеть, а в воскресенье мы вместе туда сходим.

Вечером вышел из дома. Уже подходил к пруду, где в детстве ловил рыбешку и катался на плоту, как вдруг из проулка, держась за тын, появился пьянющий всклокоченный мужик.

– Ты кто? – дружелюбно обратился он ко мне.

– А ты кто? – улыбаясь, спросил я.

– Я здесь живу, – сказал он твердо.

– Да нет, здесь раньше жил гармонист Борька Сарафанов, – первое, что пришло на ум, сказал я.

– Так я и есть Борька Сарафанов! – заверил он. – А ты-то кто?

– Ну а я – Борька Друян.

– Духонька, Борька! – заорал он и принялся меня обнимать. – Вот это да! Пойдем ко мне, Нюрка нам живо сообразит за встречу!

А его Нюра уже шла нам навстречу в поисках благоверного. Мне стоило большого труда отказаться от немедленного похода в гости. Пообещал, что непременно завтра-послезавтра зайду к ним.

Понизье наверняка так названо потому, что находится намного ниже окрестных деревень. Обычно храмы на Руси строили на взлобках, возвышениях. А вот церковь Преображения

Господня была построена именно здесь, в низине – в Понизье в самом конце восемнадцатого века.

Рано утром, прихватив лопату, мы с Анной Васильевной идем по деревне. Замедляю шаг у двухэтажного дома Шараповых. Двери и окна забиты досками. Невдалеке та самая лужа, возле нее меня подхватила на руки мама, когда возвратилась из поездки в Череповец к раненому отцу. Молча выходим за околицу. И вот вдалеке на уровне глаз, на фоне голубого неба показался темный церковный купол. Слева от зверски раскатанной грунтовой дороги на почтительном расстоянии – кустарник, переходящий в смешанный лес, справа – знакомые поля спелой ржи. Моя спутница рассказывает, что церковь после войны сначала закрыли, а потом разорили. Внутри все разломали, растащили все, что было можно. Разобрали бы и кирпичную кладку для колхозных надобностей, да она в старые времена делалась так, что даже тракторы не смогли ее одолеть.

В неторопливых разговорах незаметно дошли до цели. С большим трудом в высоченной траве и крапиве проложили себе тропинку к церкви. Она оказалась действительно в ужасающем состоянии. Мы обошли ее вокруг и остановились буквально в двух метрах от стены. Здесь была похоронена мама. Даже холмика не было, лишь в земле вдавлен, распластан – наверняка тракторными гусеницами – весь изогнутый кованый крест. «Ничего, духонь, ничего, мы с тобою все поправим, вот бабушке твоей еще хуже», – показала Анна Васильевна на остатки такого же креста. Через него проросло большое дерево.

Сквозь кроны деревьев с трудом проникал солнечный свет, вокруг стояла до осязаемости густая, звенящая в ушах тишина. Я попросил женщину посидеть в сторонке, а сам скинул рубаху и принялся за дело. Выполол вокруг креста густую траву, крест сумел поднять, по возможности выправить, поработал лопатой – получился небольшой холмик. Затем внутри церкви подыскал четыре доски и обложил ими могилку. А вот с могилой бабушки Ани сделать что-либо было нельзя, я лишь выполол вокруг дерева траву. И всё.

Мы присели рядом с маминой могилой, Анна Васильевна вытащила из кошелки хлеб, огурцы, маленькую водки и граненый стакан. Пот застилал глаза, сердце непривычно громко колотилось, я сразу же молча проглотил полстакана водки и почувствовал, что не сдержусь, вот она – граница, сейчас горло разорвется от подступившего острого кома. Анна Васильевна тихо, но твердо сказала, чтобы я обязательно попросил Всевышнего упокоить души мамы и бабушки.

Не умел я молиться тогда, не было тогда на мне нательного

креста, но я мысленно впервые обратился к Богу, как научила меня простая русская сердобольная женщина.

Возвращение

Однообразно и печально
Шли годы детства моего…

Иван Никитин

Летним солнечным днем 1946 года мы вернулись в Ленинград. Едва зайдя в комнату, я нырнул под стол и принялся шарить по полочкам в надежде отыскать спрятанные до войны плитки шоколада. Увы, там было пусто. Ну, как же так, ведь комната была «забронирована» перед отъездом в эвакуацию, в нее никто не мог проникнуть. Значит, догадался я, шоколад сожрали крысы. А я-то целых пять лет мечтал о своем кладе…

Тетя Паня с дядей Лешей и Эдиком поселились в своей 113 комнате, а мы с братом и Мумриным обосновались в нашей, сотой. Дядя Леша работал на заводе подъемно-траспортного оборудования им. Кирова в отделе технического контроля. Располагался завод невдалеке от дома – между Варшавским и Балтийским вокзалами. По утрам его низкий густой гудок звал окрестный люд на работу. К нему присоединялись гудки других заводов за Обводным каналом. Каждый гудок имел свой, «фамильный», голос.

Брат поступил учиться на электромонтера в ремесленное училище на 7-й Красноармейской улице, где он проводил почти все свое время. Ремесленникам полагалась форменная одежда, их хорошо кормили. Я сам убедился в этом. Однажды Ленька приболел, и тетя Паня послала меня обедать в ремеслуху вместо него. Помнится, я даже расстроился, что брательник быстро оклемался. Жил я с постоянным ощущением голода, был маленьким заморышем. Тетя Паня презрительно называла меня водяной крысой, ведь я без труда пролезал сквозь металлические прутья спинки кровати.

Всем в то время жилось туго, но даже тогда было много не очерствевших сердцем людей. Напротив нас в маленькой комнате жила добрая женщина с двумя детьми. Фамилия ее была Мухина. Перебиваясь, как тогда говорили, «с воды на квас», она иногда залучала меня к себе и угощала квашеной капустой с клюквой. Да и все в нашем длинном коридоре помнили моих родителей, понимали, как несладко мне приходится, и были внимательны ко мне. Тетку мою они не жаловали, называли барыней: она была единственной, кто мог нанять вместо себя делать в ее очередь уборку коридора, кухни и двух уборных. А постоянно убирала за

нее сильная, хозяйственная женщина тетя Шура Лебедева, работавшая всю свою жизнь дворником у Балтийского вокзала. К тому же тетя Паня всех настойчиво просила называть ее не Прасковьей Александровной, а «на городской манер» – Полиной Александровной.

Целыми днями я пропадал на улице, там было так интересно! Вместе с новыми приятелями носились среди бесчисленных дровяных сараев, дрались с мальчишками из соседних дворов, рассказывали друг другу страшные были-небылицы, катались на подножках и колбасе пассажирских и грузовых трамваев, умудрялись без билетов прошмыгнуть в кинотеатр имени Карла Маркса – «Карлушу». Здесь я впервые увидел фильм «В шесть часов вечера после войны». С большим азартом мы играли на мелочь в орлянку, в пристенок. Но чаще – в битку. Посередине нацарапанной на земле черты столбиком ставились монеты. С определенного расстояния по очереди пытались попасть увесистым кругляшом-битком по кучке монет, а затем переворачивали ловким ударом «с оттягом» монеты с орла на решку или наоборот – до первой неудачи, уступая место другому игроку. У меня был хороший глазомер, я частенько выигрывал. Бывало и так, что обыгранные старшие по возрасту пацаны отнимали у меня деньги, а если я осмеливался артачиться, давали еще чувствительного «леща». Лучше всех играл Женька Моряков из соседнего двухэтажного флигеля. Много лет спустя знатный токарь, Герой Социалистического труда, скромнейший человек любил в тесной компании вспоминать о своих детских успехах и просил меня подтвердить, что все так и было.

Иногда в нашей ватаге возникали легкие конфликты, которые разрешались очень просто: два соперника становились друг против друга в плотном кольце приятелей и по команде начинали драться кулаками. Ноги пускать в ход строжайше запрещалось, как и бить лежачего. Нарушитель строгого кодекса чести жестоко наказывался. Дрались «до первой кровянки» из расквашенного носа или губы. Обиды жили недолго, стычки очень быстро забывались. Вчерашние «дуэлянты» с увлечением гоняли в одной команде в футбол. Вместо мяча годилось его подобие – набитая тряпьем старая шапка, а то и консервная банка. Владелец настоящего мяча из кожимита был для нас человеком особым, значительным. Он появлялся с мячом под мышкой, и мы восторженно глядели на него в предвкушении настоящей игры. Как ни остерегались, но наши состязания частенько заканчивались разбитым окном, мы летели врассыпную, затем собирались в дальнем краю сараев, опасаясь праведного гнева взрослых. Особенно боялись управдома, приземистого лысого

человека. Он знал всех нас поименно, знал, кто где и с кем живет. Мы уже смирились с тем, что от него никуда не скроешься, как ни старайся.

Рядом с нашим подъездом стоял большущий деревянный ящик. В него из зеркальной мастерской рабочие вытряхивали бракованные маленькие кругленькие зеркальца. Мы набивали ими карманы и шли по Измайловскому проспекту в сторону Исаакиевского собора, предлагая встречным женщинам купить за бесценок наш товар. Как правило, всё бывало распродано еще не доходя до Исаакия. На вырученные деньги покупали мороженое на палочке: молочное – по 9 копеек, сливочное – по 12 копеек.

Первый дом по нашему адресу, выходящий на Измайловский проспект, был разрушен немецкой авиабомбой. Над руинами на уровне четвертого этажа на стене косо висела искореженная железная кровать. Пройдут годы, и я прочитаю стихотворение Вадима Шефнера «Зеркало». В блокадном городе на углу Моховой и улицы Пестеля поэт увидел висящее «над пропастью печали и войны» зеркало и написал одно из лучших стихотворений о блокаде Ленинграда. Война оставила в городе несчетное количество варварски уничтоженных домов. Многие из них восстанавливали пленные немцы. Вот и дом № 18 по Измайловскому проспекту заново начали строить немцы. Были они грязные, изможденные, жалкие. Мы, полуголодные ленинградские мальчишки, в большинстве сироты по милости вот этих, еще вчера ненавистных фрицев, совали им в руки корки хлеба, папиросные охнарики, вполне годные для нескольких затяжек, но так, чтобы не видел конвоир. А конвоир, конечно, всё видел, но виду не подавал.

Домой возвращался вечером, где меня ждала привычная трепка за обрызганную кровью в мальчишеской стычке рубаху, за грязные сандалии, прохудившиеся на коленках штаны, за то, что вернулся не вовремя, да и просто попался под горячую руку. Я действительно привык к тычкам и затрещинам тетки и Мумрина. Дядя Леша был нейтрален и постоянно мрачен, делал вид, что ничего вокруг не замечает. Я дал себе зарок: терпеть, ни в коем случае не рассопливливаться, не пускаться в рёв, как бы ни было больно, когда бьют, ведь я уже не маленький. И терпел изо всех сил, молчал, крепко-крепко сжимал зубы и глядел в пол. «Чего морду воротишь, гаденыш! А ну гляди в глаза!» – выворачивая мне руку, шипела тетя Паня. А Мумрин каждый раз удивлялся: «Ну и карахтер у паршивца … в стос!» И с еще большим усердием принимался хлестать меня ремнем.

Однажды я здорово провинился. Тетя Паня забыла от меня спрятать в буфет под ключ открытую банку сгущенного молока.

Никогда раньше я не пробовал этого продукта. Долго, словно кот, ходил около банки, а потом не выдержал, сунул в вязкую, кремовую массу указательный палец, облизал его и ошалел от наслаждения. Пришел в себя, когда молока в банке осталось меньше половины. Вечером тетка капитально приложилась к моему тощему заду и спине пряжкой ремня, присовокупляя для убедительности матерные мумринские выражения. Но я и тут стерпел, не заплакал, несмотря на сильную боль. С тех пор тетя Паня нередко кричала, что я сгнию в тюрьме и, как всегда, ставила в пример Эдика, называя его яхонтом драгоценным. Прошло лет десять, и Эдик попал в казенный дом за коллективную кражу. Вместе с теткой я однажды ходил с передачей ему в следственный изолятор на улице Лебедева, недалеко от Финляндского вокзала.

На следующий день после трепки за сгущенку к нам впервые пришли брат дяди Леши и его жена тетя Аня. Чинно сидели за столом, пили чай, гости рассказывали о своей умнющей охотничьей собаке по кличке Троль. И тут на мою беду тетя Аня подозвала меня, усадила к себе на коленки и просто спросила: «Ну, как, детка, живешь?» Все уставились на нас. Я молчал. Неожиданно тетя Аня заглянула мне в глаза и обеими руками крепко прижала к груди. Так обнимала меня только мама когда-то в раннем детстве. Я вывернулся из объятий и выскочил за дверь. А вслед неслось тётипанино: «Ишь, гаденыш! И не смей возвращаться, сволочь!»

На улице было уже сумрачно и прохладно. А на мне лишь легкая рубашка. Долго сидел в дальнем углу двора на кирпичах. Здесь меня и нашла тетя Аня. Она говорила, что надо смириться, слушаться старших, ведь все взрослые желают мне только хорошего. А вот без спросу сгущенку трогать все-таки не надо было. «Сильно ругалась тетя Паня?» – спросила она. Я молча поднял рубашку и повернулся к ней спиной. Тетя Аня заплакала. Мы ходили по двору, она обещала поговорить с мужем, и они постараются взять меня к себе, хотя сами живут в коммуналке. Но я не поверил в это, ведь даже моя родная тетя Лиза Шувалова не может взять меня из-за перенаселенности в ее крохотной квартирке.

Домой мы с тетей Аней вернулись вместе. Вскоре гости ушли. А меня почему-то в этот вечер оставили в покое…

Иногда я прибегал к тете Лизе. Жила она на проспекте Огородникова в доме № 48 на первом этаже, рядышком с кинотеатром «Москва». Две ее уже взрослые дочери Люба и Валя работали кассиршами на Балтийском вокзале. Сын Саша воевал,

попал в плен к немцам, мыкался по фашистским концлагерям, и вот только что вернулся домой. Был он высок, сухощав, постоянно сутулился, старался быть незаметным, без особой надобности голоса не подавал. Оживлялся мой двоюродный брат лишь тогда, когда «принимал на грудь». Выпить же он очень любил, а выпив, начинал петь жалостливые песни. Особенно выразительно пел «Не для меня придет весна… И дева с черными бровями, она растет не для меня…». Пел и плакал задыхаясь. В его репертуаре были еще две любимые песни: «А молодого коногона несут с разбитой головой…» и «Там, в саду при долине, Громко пел соловей, А я, мальчик, на чужбине Позабыт от людей…». Про лагеря Саша рассказывать не любил даже в хмельном состоянии. Он был весь исколот мастерски выполненными татуировками. На его груди был изображен хищный орел с размахом крыльев от плеча до плеча, а между крыльев – солнечный полукруг с лучами. На спине размещалась картина из морской жизни: корабль у причала и матрос с девушкой. На руках и предплечьях жили устрашающие змеи, кинжалы, женские головки. Однажды он взял меня с собой в баню. Живые картины вызвали всеобщий интерес, люди, оставив шайки, беззастенчиво разглядывали Сашу, улыбались, делились впечатлениями. А мне было приятно и радостно: во какой у меня брательник!

Работал Саша электриком на судостроительном заводе у Калинкина моста. Бывало, я подкарауливал его у проходной после дневной смены, мы заглядывали в пивнушку, он опрокидывал стопку водки «с прицепом», то есть с кружкой «Жигулевского» пива, заедал бутербродом с килечкой и половинкой яичка, а я с удовольствием съедал такой же бутерброд.

В квартирку Шуваловых я прибегал при каждом удобном случае. Вот здесь я чувствовал себя хорошо, спокойно. Тетя Лиза непременно кормила меня. Особенно мне нравился приготовленный ею мясной суп с вермишелью. Каждый раз она тяжело вздыхала, когда я уходил домой, перекрестив, шепотом просила терпеть, потому как такая уж жизнь, выхода-то покамест нет, велела чаще заходить к ней. Изредка я все же оставался на ночь. Стелили мне на широченном подоконнике, и я запросто там помещался.

Первого сентября я стал учеником третьего класса 285-ой мужской школы. В те годы ребята и девчонки учились раздельно. Школа находилась очень близко от дома, надо было лишь одолеть узкий проход дворами до улицы Егорова. Школа мне сразу не понравилась. Большое из красного кирпича неуютное

здание. То ли дело школа в Федоровском: небольшой бревенчатый дом, два маленьких класса, в каждом – несколько мальчишек и девчонок, учителя успевают заниматься со всеми вместе и с каждым в отдельности. А тут – классы просторные, в них больше тридцати ребят. Конечно, со временем привык я и к этой школе. Привык, но так и не полюбил ее, как любил в недавнем прошлом свою первую, деревенскую. Учился без особой охоты, прогуливал уроки, школьных друзей не завел. Приятельские отношения сложились лишь с соседом по парте по фамилии Голиков. Он здорово рисовал, мгновенно мог перерисовать картинку из учебника – ветку смородины или лежащего львенка. Честно говоря, я завидовал ему, потому как не замечал за собою решительно никаких способностей.

Между тем случилось серьезное событие: был куплен дом с участком земли в поселке Тайцы по дороге на Гатчину. Туда сразу же переехали тетя Паня, Мумрин и Эдик.

Дядя Леша по-прежнему работал на заводе, по-прежнему был замкнут и мрачен. Разве что стал заметно раздражителен, но меня не бил, а только иногда покрикивал. Уходя на работу, оставлял мне миску винегрета с чрезмерно крупно нарезанной свеклой и кусок хлеба. На всю жизнь возненавидел я свеклу, не ел ее ни в винегрете, ни в борще. Через много лет жене стоило большого труда снова приучить меня к этому полезному овощу. А тогда я ел приготовленный дядей винегрет, преодолевая отвращение: всегдашнее ощущение голода не позволяло оставлять пустой алюминиевую миску. Как правило, свою дневную порцию съедал сразу, в один присест.

Однажды дядя Леша забыл дома пропуск на завод, вернулся с полдороги и увидел уже вымытую миску. Он ничего не сказал, но потом стал больше оставлять мне винегрета и, уходя, говорил: «Жри, паразит, понимаешь ли!» На него я никогда не обижался, чувствовал, что человек он все же хороший, но несчастный. Соседки судачили, что он очень уж слабохарактерный, на его месте любой мужик давно бы бросил Паню, к тому же и Эдик-то нисколько на него, светлоголового, не похож, а похож на какого-то чернявого Минкина…

Был зимний пасмурный день. Я пришел из школы и только разделся, как дверь распахнулась, и вошел Саша Соловьев в шикарном пальто, длинном вязаном шарфе, лихо сдвинутой на затылок меховой шапке и белых бурках на ногах. Вслед за ним вплыла необыкновенной красоты девушка в шубке. В руках у нее была муфта и большая сумка.

«Борька, братик, здравствуй, малыш! Ты меня не позабыл? – подхватил он меня на руки. – Вот познакомься, смотри, какая у меня краля, она дочка генерала, нисколько не вру, понял?»

Саша был оживлен и заметно под градусом. Девушка, смеясь, чмокнула меня в щеку. От нее приятно пахнуло духами. Саша стал вываливать на стол из карманов кульки с конфетами, пачки печенья, потом взял из рук спутницы сумку и извлек из нее связку баранок, палку твердой колбасы, две банки шпрот и бутылку «Московской». Все это время он не переставал требовать, чтобы я ел, не стесняясь. Саша расспрашивал о нашей теперешней жизни, ведь мы не виделись с тех дней, когда он в танкистской форме приезжал в Федоровское на побывку после ранения. Я жадно грыз баранки, а про жизнь говорил неохотно, стеснялся черноглазой красавицы. Узнав, что с тетей Паней живет Мумрин, а мы с дядей Лешей обитаем здесь, Саша помрачнел, наверняка, он все хорошо понял. А я постарался перевести разговор, рассказал, как во время войны за ним бегали деревенские девчонки, и я сам видел, как он целовался за сараем с одной из них. Саша расхохотался и, обращаясь к девушке, сказал: «Видишь, как меня братик выставил перед тобой? Заложил с потрохами!»

Ждать возвращения с работы дяди Леши они не стали. Расцеловав меня, уже открыли дверь, но тут Саша повернулся, взял со стола бутылку водки, сунул в карман, еще раз приобнял меня за плечи, как когда-то в деревне, и быстро вышел.

Больше никогда я его не видел. Потом узнал, что был он лихим человеком, а проще говоря, – налетчиком. В результате долго парился на нарах, надрывался на лесоповале, жил на поселении где-то в Вологодской области. Я давно был на флоте, когда он неожиданно приехал к уже женатому брату Лёне с большими деньгами и жил в нашей комнате, ни на день «не просыхая», пока не пропил все. Это был его последний визит в Ленинград. Вспоминаю Сашу с теплотой и грустью. Как-то им распорядилась судьбина?..

Весело кипела людскими толпами, гремела из репродукторов маршами, песнями Леонида Утесова ярмарка сразу на двух улицах – Первой Красноармейской и Москвиной. Руководство города решило порадовать ленинградцев, оголодавших за время блокады. Клоуны на ходулях зазывали в ярко раскрашенные балаганы. Кричащие вывески заманивали в павильоны «Пельмени», «Пиво-воды», в тир. Рядом с Измайловским Троицким собором внутри замкнутого круга по стене с ужасным ревом летал мотоциклист. Невдалеке молодые парни в очередь неудачно пытались залезть на гладкий столб, на верхушке

которого красовался приз – новенькие сапоги. А там столпились вокруг «силомера» здоровенные мужики, так же в очередь, терпеливо ожидая вожделенную кувалду. Пожилой художник за деньги ножничками быстро вырезал из черной бумаги силуэты всех желающих. Безногие инвалиды, пристегнутые к доске на колесиках-шарикоподшипниках, просили милостыню, хрипло пели: «Где ж ты, мой сад, вешняя заря, где же ты, подружка, яблонька моя?..». И всюду шныряли мальчишки в надежде чем-нибудь поживиться.

Я облюбовал тетку в синем халате и фуражке с надписью «Гастроном». Перекинутый через шею широкий ремень надежно держал на ее животе лоток с изюмом. Во мне боролись два чувства: чувство голода и чувство стыда и страха. Еще никогда мне не приходилось воровать. Правда, недавно мои приятели-огольцы показывали, как надо в магазине ловко залезать двумя пальцами в карман зазевавшегося покупателя. Но до практики у меня дело не дошло.

Нарочито медленно, как ни в чем не бывало, я подошел к продавщице, схватил горсть изюма и отскочил в сторону. Все бы хорошо, но тетка, видимо, заранее разгадала мои намерения и каким-то чудом успела сорвать с моей головы пилотку. Пилотка была старая, засаленная, доброго слова не стоила, но я заканючил: «Те-етенька, отдай пило-отку!» Тетка расплылась в улыбке: «Не бойся, мальчик, бери свою пилотку». И протянула ее мне.

Я осторожно подошел и только взялся за край пилотки, как она ловко схватила меня за запястье, а потом за ухо и пронзительно засвистела в свисток, привязанный к петле халата.

На свист появился милиционер. Тогда они не патрулировали на машинах, а несли службу среди людей, готовые сразу придти на помощь обиженным. Обиженной была продавщица изюма. Нарушителем, преступником – я. Все было предельно ясно. Милиционер взял меня за руку и повел по Измайловскому в сторону Варшавского вокзала. Буднично и доброжелательно спросил, где я живу, кто мои родители. Я односложно отвечал, что живу здесь, недалеко, неопределенно махнув рукой в сторону, а родителей нет. Помолчав, он сказал, что я украл у женщины, у которой, может, в семье не один такой же, как я, пацаненок, хорошо, если муж с войны живой пришел, вот она целый день и таскает лоток, чтобы заработать на хлеб, и вообще, самое пакостное в жизни – воровство.

Милиционер отпустил мою руку. Мы шли рядом, словно два знакомых человека. На его гимнастерке я заметил нашивку, свидетельствующую о ранении. Значит, был он фронтовиком.

Дошли до угла Измайловского и Одиннадцатой Красноармейской. Здесь он остановился, велел подождать, а сам зашел в «Булочную». Удивительно, но она и сейчас, в начале двадцать первого века, располагается там же. Запросто я мог тогда удрать, но какое-то неведомое чувство заставило покорно стоять. Милиционер вышел и протянул мне сайку. Я ее мгновенно проглотил. Перед тем, как отпустить меня, он вложил мне в руку несколько монет на мороженое и взял с меня слово, что я никогда в жизни не буду воровать.

Целая жизнь позади, но до сих пор благодарно помню этого доброго человека, фронтовика, постового милиционера.

Дядя Леша решил отвезти меня в Тайцы. Воскресным утром вагон был переполнен. Но мы успели заранее сесть у окна, рядышком с дверью. В проходе один за другим появлялись продавцы мороженого, просто нищие и нищие, играющие на гармошках и поющие.

Медленно вошел высокий человек в гимнастерке с тонкой палкой в руке. Лицо его было обезображено рубцами и страшными следами от ожогов. Был он слепой. На груди сияла Золотая звезда Героя Советского Союза. Дядя Леша быстро встал, усадил его на свое место, сам сел напротив, а меня подсадил на узкую полку для вещей над окном, где я вполне удобно устроился. Честное слово, мне было приятно, что мой дядя самый первый из всех пассажиров пришел на помощь не просто инвалиду, а настоящему Герою. Они о чем-то разговаривали, жаль, из-за перестука колес я наверху ничего не мог расслышать…

Солидный бревенчатый дом на улице Калинина был в пятнадцати минутах ходьбы от станции. За домом – тоже из бревен большой сарай, а в нем корова, поросенок и сено до крыши. Позади сарая – картофельные грядки, яблони и кусты смородины и крыжовника. У входа в сарай расположилась приземистая собачья будка. В ней жил Арбо – свирепая немецкая овчарка. Этот цепной пес вскоре стал моим верным другом.

Вечером дядя Леша уехал в Ленинград, а мне здесь предстояло обитать до конца школьных каникул. Ежедневно занимался по хозяйству: окучивал картошку, забирался на яблони и аккуратно собирал скороспелые яблоки, пилил с Мумриным впрок двуручной пилой дрова, давал корове сено. С большим удовольствием выносил из дома большую алюминиевую плошку с едой для Арбо, а затем поил его водой. Мы любили наперегонки бегать с ним по двору, насколько позволяла прикрепленная кольцом за проволоку цепь. Потом я кидал палку, а он, громко и

весело лая, стремглав бежал за ней и приносил мне. Выходил из дома Мумрин, прикрикивал на нас, и игра прекращалась. Арбо, печально звеня цепью, залезал в будку, а я выскакивал за калитку.

Местные таицкие ребята приняли меня в свою компанию. Нас объединяли обычные мальчишеские игры, иногда мы просто так сидели на высоком откосе в конце улицы и смотрели, как внизу, мимо нас, мощные паровозы тащат пассажирские и товарные составы. А через дом от нашего, под уклоном, в зарослях густой травы смирно покоился пруд. Мы плескались в теплой густой воде, переплывали на другой берег. А там, рядом с шоссе на Гатчину, лежала очень большая неразорвавшаяся немецкая бомба. Понятное дело, ее давно обезвредили, но мы все же с опаской ползали по ее гладким бокам.

Вот что я не любил, так это продавать поштучно на станции яблоки. Не знаю почему, но мне было стыдно заниматься этим делом. Тетя Паня наполняла яблоками корзину, устанавливала цену, а я, бывало, до самого вечера не мог реализовать товар. Однако вскоре мы с пацанами очень просто вышли из положения: каждый из них приносил мне из собственного сада десяток отборных яблок, все яблоки мы вместе быстро продавали за полцены. Бабки-конкурентки дружно поносили нас, но мы не обращали на них никакого внимания и с легкостью «уносили ноги». Время в играх пролетало быстро, в сумерках я возвращался домой и вручал тетке требуемую сумму, и она меня даже хвалила.

Довольно часто меня посылали в Ленинград за комбикормом или жмыхом для животных. Вот это было по мне. Особенно любил ездить за вкусным жмыхом. Рядом с Балтийским вокзалом, на улице Шкапина, был магазин, где продавался этот корм. Здесь я набивал под завязку «сидор» – вещевой мешок и, сгибаясь под тяжестью ноши, отправлялся обратно к вокзалу. В билетные кассы к сестрам Любе и Вале старался заглядывать не каждый раз, стеснялся: из своей маленькой зарплаты они всегда давали мне деньги на мороженое, угощали принесенным из дома бутербродом.

Как-то напротив меня у окна вагона оказалась молодая девушка в широкополой соломенной шляпе. Все лицо ее было в веснушках-конопушках. Она увлеченно читала какую-то толстую книгу. Я привычно развязал тесемки мешка, вытащил аппетитно пахнущую подсолнечными семечками маленькую плитку жмыха и принялся с удовольствием отгрызать от нее кусочки. Девушка, видимо, почуяв вкусный запах, несколько раз поднимала от книжки голову, наконец улыбнулась и поинтересовалась, что это такое я грызу. Смущаясь, я вытащил из мешка кусок жмыха и протянул ей. Она понюхала, лизнула и с улыбкой предложила:

«Давай меняться?». И вытащила из сумки конфету «Мишка на севере». Я сказал, что даю ей просто так, без обмена, ведь то – жмых, а то – конфета. Девушка засмеялась и все же вручила мне редкое лакомство. Жмых положила в сумку, сказала, что угостит всех дома. Вышла она в Лигово, увидела меня в окне и заулыбалась. Я весело помахал ей рукой. Паровоз загудел, поезд тронулся, оставив позади конопатую попутчицу…

Ранним сентябрьским утром 1947 года дядя Леша привел меня через проходную на территорию своего завода. Там стояло несколько крытых брезентом грузовиков. Около них толпились празднично одетые взрослые с детьми. Дядя Леша подсадил меня в один из грузовиков и залез сам. Здесь уже были люди, мы нашли местечко на одной из деревянных скамеек. Вскоре машины выехали из ворот завода. Направлялись мы в Петродворец на открытие восстановленного фонтана «Самсон, раздирающий пасть льву». Конечно же, я не имел ни малейшего представления об этом фонтане. Но оживление, волнение взрослых передалось и мне. Из-за впереди сидящих не было видно, где мы едем. Я прислушивался к разговорам взрослых. А говорили они в основном о работе, о заводе, о своих цехах, делились безобидными анекдотами, ведь вместе с ними болтались на ухабах в кузове мы, пацаны. Кто-то рассказывал о кровавых боях в Петродворце, о нашем морском десанте, высадившемся на берегу и почти полностью погибшем.

В нижнем парке уже было не протолкаться. Ребятня быстро потеряла своих родителей и умудрилась просочиться в первые ряды людей, терпеливо ждущих начала торжества. Внушительная скульптура Самсона и побежденного льва поражала ярко сияющим золотом. Духовой оркестр играл без перерыва. Долго стоять на месте мне надоело, я вытолкался из людской массы, пошел вдоль канала и вдруг впереди увидел сизую гладь залива. Вприпрыжку доскакал до берега. Вдали, чуть левее, был явственно виден Кронштадт, а над ним – купол собора. Справа в дымке угадывался силуэт Ленинграда. Солнце слепило глаза, ленивый влажный ветерок ласкал лицо. Тишь и покой нарушали лишь крики чаек.

Внезапно сзади раздался многоголосый рев. Я понял, что прозевал самое главное, со всех ног бросился обратно и увидел потрясающую картину: могучий Самсон все так же разрывал пасть свирепого льва, а из львиной пасти взлетала на громадную высоту мощная водяная струя и с шипением падала вниз. Люди кричали «Ура!», хлопали в ладоши, смеялись. Еще бы, это было счастьем – увидеть праздничный островок довоенного

Ленинграда, измученного, изуродованного войной, блокадой.

Побродив в толпе и не представляя, сколько сейчас времени, я отправился к месту, где нас высадили грузовики. Там уже стояли, прохаживались, сидели на обочине взрослые в ожидании своих отпрысков. А они явно не торопились возвращаться. Одним из самых первых явился я, и дядя Леша одобрительно похлопал меня по плечу и купил в награду эскимо на палочке.

Тем же порядком возвратились в город. Изо всей поездки мне хорошо запомнились лишь неимоверной красоты фонтан «Самсон, раздирающий пасть льву», ласковый ветерок штилевого залива и громкие крики чаек…

В школе я по-прежнему был унылым середнячком, все мне казалось скучным, вполуха слушал объяснения учительницы и нетерпеливо ждал конца уроков. Спасало то, что я все схватывал, что называется, на лету, а вот выполнять домашние задания, закрепляя то, что проходили на уроках, было не по мне. Но однажды надо было выучить наизусть басню Крылова «Кот и повар». Дома я ее прочитал и мгновенно запомнил, очень уж живо представил и толстого моралиста повара, и кота Ваську, обжору и плута.

Наутро я был вызван к доске. Шел по проходу между парт, и снова перед глазами, как живые, стояли герои басни. С выражением, зачем-то размахивая руками, продекламировал басню. Класс зашумел, засмеялся. Заулыбалась и строгая учительница: «Молодец, пятерка с плюсом, садись на место».

Через несколько дней без чьей-либо подсказки я пришел в детскую библиотеку, которая располагалась в солидном сером здании недалеко от школы. Заполнив мою карточку, пожилая библиотекарша предложила для начала прочитать книгу «Борьба за огонь», на обложке которой художник изобразил устрашающего вида мамонта и маленьких людей. Мне это показалось неинтересным, и я поспешил сказать, что книжку эту уже читал. «А про что эта книга?» – спросила библиотекарша. Не ожидал я такого вопроса, совсем смешался и пробормотал: «Про то, как слон по земле ходил». «Почти угадал, – улыбнулась библиотекарша. – Но никогда больше не ври. А не хочешь эту, я тебе дам другую книжку». Повесть «Полесские робинзоны» мне понравилась. Понравилась настолько, что я сразу же ее перечитал. Нет, я не сделался тогда книгочеем, это произошло лишь через год, когда учился в пятом классе.

В середине декабря 1947 года наконец-то отменили карточки на продовольственные и промышленные товары. Это вызвало

всеобщее ликование, ведь со времени окончания войны прошло всего два с половиной года. Одновременно была проведена денежная реформа. Десять старых рублей обменивались на один новый рубль. Было здесь одно существенное обстоятельство, которое меня привело в восторг: мелочь обмену не подлежала, а в моем кармане после очень удачной игры в пристенок звенела увесистая горсть монет.

На следующий день вместе с приятелями мы прискакали на угол Седьмой Красноармейской и улицы Егорова. Здесь была «Булочная». Поднялись по нескольким ступенькам и вошли внутрь магазина. Полки были заполнены буханками черного и белого хлеба, батонами и сайками. Как богатый купчик, я важно вытащил из кармана свой капитал, пересчитал. Ребята тоже извлекли из карманов мелочишку и передали мне. Купили каждому по две сайки и бублику с маком. Все деньги не истратили, оставили «на потом». Набивая рты вкусной мякотью, неторопливо дошли до садика на Измайловском проспекте. Здесь на скамейке, несмотря на морозец, и завершили трапезу сливочным эскимо на палочке.

В конце лета сорок восьмого года дядя Леша решил избавиться от меня, и я переехал в Тайцы. Здесь пошел в пятый класс. По утрам провожал, а потом радостным лаем встречал меня из школы верный Арбо. Двухэтажная деревянная школа находилась рядом с вокзалом. Она сразу же пришлась мне по душе. Понравились соученики, понравились учителя. И особенно – учительница русского языка и литературы Мария Сергеевна Максимова. Небольшого роста, одетая в строгий темный костюм и белую блузку, она интересно и доходчиво рассказывала нам о писателях, книгах, декламировала стихи, заставляла нас не просто бездумно читать и заучивать, а понимать прочитанное.

Прошло немного времени, и я полюбил литературу, стал книгочеем. Правда, читал бессистемно, в основном то, что под руку попадется. С трудом осилил роман Федора Панферова «Бруски». Зато следующая книга – роман Леонтия Раковского «Генералиссимус Суворов» произвела на меня большое впечатление. Я читал и снова возвращался к страницам, поразившим мое мальчишеское воображение. Не могу не забежать далеко вперед, когда в середине семидесятых годов в Лениздате, где я работал, был переиздан этот роман. Однажды я рассказал восьмидесятилетнему Леонтию Иосифовичу о своем восторженном впечатлении от прочтения его книги. Он был растроган и на титульном листе написал: «Милейшему Борису

Григорьевичу Друяну – моему верному, еще со школьной скамьи, читателю – с всегдашним расположением Леонид Раковский. Лето 1977».

…Утро было солнечное, теплое, тихое-тихое. Я шел в школу мимо пруда. Гладкая поверхность воды, словно из глубины, была озарена ровным, неярким светом. Перед глазами возник тот, из раннего детства, пруд в деревне Федоровское, где я ловил маленькую рыбешку на самодельную удочку, а потом хвастался маме. Сердце сладко зашлось от воспоминаний, я замедлил шаг и не заметил, как очутился возле школы.

Надо же было так случиться, что Мария Сергеевна на первом уроке прочитала стихотворение Ивана Никитина «Утро»:

Звезды меркнут и гаснут. В огне облака.
Белый пар по лугам расстилается.
По зеркальной воде, по кудрям лозняка
От зари алый свет разливается.
Дремлет чуткий камыш. Тишь – безлюдье вокруг.
Чуть приметна тропинка росистая.
Куст заденешь плечом, – на лицо тебе вдруг
С листьев брызнет роса серебристая.
Потянул ветерок, – воду морщит – рябит.
Пронеслись утки с шумом и скрылися.
Далеко, далеко колокольчик звенит.
Рыбаки в шалаше пробудилися,
Сняли сети с шестов, весла к лодкам несут…
А восток все горит-разгорается.
Птички солнышка ждут, птички песни поют,
И стоит себе лес, улыбается.
Вот и солнце встает, из-за пашен блестит;
За морями ночлег свой покинуло,
На поля, на луга, на макушки ракит
Золотыми потоками хлынуло.
Едет пахарь с сохой, едет – песню поет,
По плечу молодцу все тяжелое…
Не боли ты, душа! Отдохни от забот!
Здравствуй, солнце да утро веселое!

Я задохнулся от охватившего меня волнения, восторга, все повторял и повторял про себя: «Здравствуй, солнце да утро веселое!» Ну это же и о сегодняшнем утре, и о давнем времени, когда рыбаки нашей деревни, нагруженные сетями, направлялись утром на заросшее по берегу камышом Чухломское озеро ловить

карасей и щук! Все так точно, до озноба зримо, красочно. Мне не с кем было поделиться своими мыслями, переживаниями. Близких друзей еще не завел, хотя одноклассники все были хорошие ребята. Да и кто поймет, что же так сильно взволновало мою мальчишескую душу…

Трудно, очень трудно поверить в то, что однажды произошло. А произошло вот что. С нами учился Эрик Максимов, сын учительницы. Как-то после уроков мы сидели с ним во дворе школы и говорили о своих нехитрых делах. Между прочим, он спросил, где я раньше жил. Услышав мой рассказ о деревеньке Федоровское, о полном золотых карасей Чухломском озере, Эрик сказал, что где-то там, кажется даже, в Чухломском крае, живет его тетя, работает в школе. Разговор перешел на другое, сегодняшнее, потом мы немного погуляли и разошлись по домам.

На следующий день на перемене после первого урока Мария Сергеевна оставила меня в классе и попросила рассказать, где я был во время войны, у кого учился. Я повторял то, о чем говорил Эрику вчера, говорил и уже понимал, что происходит не-ве-ро-ятное. Строгая Мария Сергеевна слушала меня с улыбкой и наконец сказала, что такое можно прочитать разве что в какой-нибудь фантастической книжке: ведь моя самая первая учительница Нина Сергеевна – ее родная сестра. И еще она сказала, что обязательно напишет ей обо мне.

Пройдет много лет, и я встречусь в Чухломе с дорогими моему сердцу Ниной Сергеевной Соколовой и Антониной Алексеевной Крошкиной, и мы вместе подивимся прихотливости судьбы, подарившей мне двух сестер учительниц, живущих в сотнях километрах друг от друга. На память о той встрече мы сфотографировались у районного фотографа. А Марии Сергеевне я навсегда благодарен за то, что она сумела заронить в детскую душу искру понимания прекрасного. Уже взрослым человеком я вместе с женой навестил ее. Она по-прежнему жила в маленьком домике рядом с шоссе на Гатчину…

Все-таки, что ни говори, а мне всегда везло. Будто чья-то невидимая рука вела по жизни, сталкивала с хорошими, сердечными людьми в самые трудные, тоскливые для меня времена. Все они старались хоть чем-то помочь, ободрить, приласкать. А дома… Дома по-прежнему было глухо, беспросветно. Как хотелось поскорее вырасти, и тогда… Что – тогда, я и сам не мог представить.

После новогодних каникул я заболел. Да так заболел, что «Скорая помощь» увезла меня в бессознательном состоянии в

Ленинград. В Максимилиановской больнице определили, что у меня двустороннее воспаление легких. Лежал в отдельной палате. Изредка приходил в себя. В основном, когда открывали для проветривания форточку и я жадно глотал чистый морозный воздух. Очнувшись, видел дремлющую рядом с кроватью на стуле тетю Лизу. Она всегда после работы дежурила около меня. Какое-то время я лежал с закрытыми глазами, ощущая невесомую слабость, а затем снова куда-то проваливался.

Однажды ночью пришел в себя. При тусклом свете пробивавшегося сквозь оконное стекло уличного фонаря увидел спящую в неудобной позе тетю Лизу. Как обычно, она сидела на стуле, а голова ее покоилась на прикроватной тумбочке, рядышком с каким-то свертком. Осторожно, чтобы не разбудить тетю, я дотянулся до свертка и развернул его, стараясь не шуршать грубой бумагой. Там оказалось граммов двести вареной колбасы. Всю ее я и съел, а затем крепко уснул.

Проснулся от громкого разговора. Два доктора в халатах строго выговаривали тете Лизе, которая, видимо, успела рассказать им о моем ночном обжорстве. Они говорили, что кормить меня надо буквально по чуть-чуть, иначе организм может не выдержать. Осмотрев и простукав меня пальцами, врачи пришли к выводу, что кризис миновал, раз я проявил такую активность, но о выздоровлении говорить слишком рано, их что-то явно беспокоило. Из их разговора я понял лишь, что надо ждать профессора-консультанта. Они ушли, а тетя Лиза заторопилась на работу. Перед уходом она рассказала, что я очень много дней лежал без сознания и в бреду все время звал Арбо. Как-то там мой самый-самый дорогой друг?..

Был консилиум с участием старого грузного профессора. Оказалось, что помимо двустороннего воспаления легких в меня вцепился и брюшной тиф. Совершенно непонятно, как я смог выкарабкаться из этой жуткой передряги, как выдержал сверхнагрузку мой хилый организм.

Перевезли меня в Боткинскую больницу, поместили в густонаселенную тифозную палату. Я уже явно шел на поправку, был в полном сознании, но до выписки было далеко. Кроме меня в палате были все взрослые мужики, и все относились ко мне очень хорошо. Здесь я прочитал несколько книг. Особенный интерес вызвали толстенные романы Сергея Сергеева-Ценского «Севастопольская страда» и Александра Степанова «Порт-Артур». Под влиянием героических образов зародилась робкая мечта стать моряком, воином, хорошо бы – даже адмиралом.

…В больницу за мной приехала тетя Паня. На улице вовсю слепило мартовское солнышко, с крыш капало, падали сосульки,

снег под ногами был темный, вязкий, ноги с непривычки разъезжались, плохо держали. Медленно дошли мы до Старо-Невского проспекта. Здесь я совсем притомился, пришлось присесть на приступок какого-то магазина. С трудом выдержал путь до Балтийского вокзала, а там – «Детский вагон» поезда и наконец Тайцы. С громким лаем, радостным визгом бросился ко мне Арбо, легко повалил на рыхлый снег и принялся горячим языком лизать мое лицо. Так долго ждали мы этой встречи и наконец-то встретились. Даже после окрика вышедшего из дома Мумрина Арбо не захотел влезать в будку, а провожал меня до ступенек крыльца, говоря что-то хорошее на своем собачьем языке.

Это просто чудо, что после долгой болезни меня в школе не оставили на второй год и перевели в шестой класс. Конечно, я здорово отстал, и мне предстояло летом догонять одноклассников. А лето есть лето, так трудно усадить себя за учебники, тем более что никто тебя не контролирует, приятели ждут, когда ты выйдешь играть в футбол. Боясь разорвать сандалии и вызвать гнев тети Пани, я всегда становился в импровизированные ворота. Ни за что не желая пропускать мяч и не жалея себя, я прыгал из одного угла ворот в другой и падал на утоптанную траву. Играли мы в одних трусах. Коленки и локти мои вечно кровоточили, зато сандалии были почти целы.

Дядю Лешу, как хорошего специалиста, неожиданно отправили в длительную командировку в Германию. Ему разрешили взять с собою тетю Паню и Эдика. Я оставался на попечении Мумрина. Перед отъездом тетя Паня поинтересовалась, что бы я хотел получить в подарок из Германии. Не обольщаясь, что просьба моя будет выполнена, все же изъявил желание стать обладателем футбольного мяча, наколенников и налокотников. Тетка милостиво согласилась.

Мумрин всегда любил «заложить за воротник», а с отъездом тети Пани регулярно стал выпивать без меры, а напившись, стервенел, по любому поводу придирался, распускал руки. Со временем у него появилась странная привычка: вечером в сильнейшем подпитии с трудом заходил в калитку, падал на землю, пытался подняться, но лишь умудрялся встать на четвереньки. При этом громко матерился, а затем начинал по-ишачьи вопить. Мы с Арбо все чаще наблюдали эти спектакли. Все бы ничего, но по пьяни он мог ни с того ни с сего ударить меня или пнуть ни в чем не повинного Арбо. Долгое время я не мог играть в футбол, поскольку дед сильно ударил меня палкой

по предплечью. Рука распухла и болела. Мне было почему-то стыдно говорить ребятам о своем житье-бытье, пришлось соврать, что свалился с яблони. Обида, злость кипели во мне, и, когда в очередной раз дед в беспамятстве по-ишачьи вопил, я с левой трижды треснул его по хребтине той же самой палкой. Смешно, но при этом Арбо непривычным тенорком взлаивал, как мне казалось – одобрительно. Утром Мумрин, охая, спросил, как он вчера пришел домой. Я равнодушно ответил, что пришел он так, как всегда приходил, – очень пьяный. Завершил нашу содержательную беседу его изощренный четырехэтажный мат.

Кто-то сказал деду, что меня можно устроить в Суворовское училище, и он повез меня в Ленинград. Медицинская комиссия помещалась недалеко от Исаакиевского собора в красивом здании с каменными львами у входа.

Очень тщательно осматривали меня разные врачи, удивлялись худобе. Все шло хорошо, пока я не попал в руки глазного доктора. Он сказал, что у меня врожденная колобома левого глаза, а зрачок расколот надвое. Участь моя была решена, училище для меня было закрыто. С тяжелым сердцем вышел на улицу, где меня поджидал Мумрин. Вполне естественно, что через минуту я получил подзатыльник. Авансом… А затем несколько раз дед повторил: «Говорил ведь Пане, чтоб отдать дармоеда в детдом, говорил, так нет …в стос!»

Начался учебный год. По утрам Мумрин с похмелья долго не мог сообразить, сколько сейчас времени. Я застилал топчан, на котором спал, старался не шуметь, собираясь в школу. Услышав мои шаги, дед рычал: «Ложись …в стос! Мы спим – и хлеб спит!» Вечерами я иногда спасался от его тяжелой руки в будке у Арбо. Никогда не забывал постелить своему другу свежего сена. Он как будто все понимал. Мы лежали, прижавшись друг к другу. На каждый подозрительный звук Арбо мгновенно реагировал, гремя тяжелой цепью, вылезал из будки и глухо рычал.

По школе я соскучился, бежал на уроки радостно, вприпрыжку, как какой-нибудь малолетка. Там ко мне относились хорошо, дружески. Кроме Эрика Максимова навсегда запомнил Славу Ермолаева и мальчишку с царской фамилией – Салтан. Еще в прошлый учебный год к девчонкам относился… Впрочем, никак я к ним не относился: девчонки – они и есть девчонки: выбражули, а чуть что – плаксы. Став шестиклассником, вдруг начал на них исподтишка заглядываться, не в состоянии решить, кто из них лучше: Рихтерман Инна, Вилькс Аля, Пашукова Лёля, Игнатьева Женя? Пораскинув умом, решил вычеркнуть из мысленного списка Женю, поскольку она училась уже в седьмом

классе. А вот Лёля – та, наоборот, была слишком молода, ходила всего лишь в третий класс. Несмотря на ее привлекательное личико и пухленькую фигурку, пришлось отказаться от опять же мысленных притязаний на нее.

Вместо вчерашнего равнодушия к девчоночьему племени появилась какая-то странная робость, стеснительность. Стал следить за собой, гладил брюки, куртку «москвичку», старательно расчесывал густые волосы. Итак, остались на примете Инна и Аля. Никак не мог додуматься, кому из них отдать предпочтение. Наконец понял, что втрескался и в ту, и в другую, хотя на ум лезли еще недавно сочиненные строчки с роскошными рифмами: божья воля – Лёля.

Инна жила в самом центре поселка в двухэтажном доме. Убей, не помню, бывал ли я у нее. Помню только, что ее дядя был прокурором. А вот к Але в дом с мезонином мы однажды заявились с ребятами. Ее родители встретили нежданных визитеров вполне дружелюбно. Аля увела нас наверх, и мы долго там сидели, весело переговариваясь.

Перед новым годом самодеятельность нашей школы должна была выступить в санатории, который располагался в нескольких километрах от поселка в старинном красивом здании. Мне досталась роль Вани Солнцева в маленькой сцене по повести Валентина Катаева «Сын полка».

Был трескучий мороз. Вечером нас, артистов, везли на санях по заметенной снегом дороге. Про себя я повторял свою роль, сбивался и снова начинал ее повторять.

Большой зал был заполнен отдыхающими. Мы за кулисами едва разделись, не успели отогреться, а уже раздались нетерпеливые аплодисменты. Сначала старшеклассница очень хорошо прочитала стихотворение Михаила Исаковского, обращенное к Сталину. Заканчивалось оно так:

Спасибо Вам, что в дни великих бедствий
О всех о нас Вы думали в Кремле,
За то, что Вы повсюду с нами вместе,
За то, что Вы живете на земле.

Зрители долго аплодировали. Так же одобрительно встречали всех, кто появлялся на сцене. Помнится, девчонки пели «То березка, то рябинка… Край родной, навек любимый, где найдешь еще такой?», «Катюшу» и еще что-то веселое. Затем мы всем составом построили непременную для всех концертов того времени пирамиду. Наконец пришло время драматургии.

Волновался я ужасно, но лишь вышел на сцену, сразу успокоился, без запинки шпарил по отрепетированному тексту. Был я босиком, в подвернутых до колен штанах, через плечо на грубой веревке болталась холщовая торба, самолично сшитая из мешка. Почувствовав интерес зрителей, внезапно отважился на отсебятину: время от времени стал почесывать одну ногу о другую, а поймав незапланированные аплодисменты, еще и смачно сморкнулся в кулак. Успех был полный, я сразу же возомнил себя чуть ли не знаменитым артистом Самойловым.

Весной внезапно вернулись из Германии Поляковы. Но если перед отъездом дядя Леша был абсолютно здоров, то в Тайцы его привезли тяжело больным, исхудавшим, слабым, ходить он почти не мог. У него оказался рак печени. Вскоре он умер…

Через месяц из Германии пришел багаж. Чего только в нем не оказалось: пианино, сияющий перламутром аккордеон, фарфоровая посуда, красивые статуэтки, всякая одежда и даже резной буфет. Угнездился он в городской комнатке с трудом. А вот пианино пришлось все-таки продать из-за отсутствия места. К тому же никто в семье музыкальными способностями наделен не был. О футбольном мяче с вратарскими причиндалами я, конечно же, даже не заикался.

Шестой класс закончил вполне прилично. Впереди было целое лето. При первом удобном случае старался смыться из дома. Вместе с ребятами осваивали новые места. Ездили без билетов в Гатчину, добирались до соседней станции Дудергоф, там облазили раздолбанные войной, заросшие орешником склоны Вороньей горы и горы Киргоф.

В памяти моей жил колоссальный «Самсон, раздирающий пасть льву», и я однажды с пересадкой в Лигово доехал до Петергофа. Бродил по парку, а потом еще долго сидел на берегу, как в тот, праздничный день 1947 года, не отрывая глаз от ленивого, разогретого солнцем залива, по которому изредка проходили корабли.

В следующий раз доехал до Ломоносова. У длинного пирса стояли военные катера. На них кипела неведомая, загадочная жизнь. Вот сюда, в Ломоносов, который моряки называли Рамбовом, я повадился приезжать, устраивался на пирсе, наблюдая за всем, что происходило на катерах. Офицеры и матросы приметили меня, весело здоровались, называли по имени, разговаривали со мной, даже иногда приглашали на борт и угощали макаронами по-флотски, хоть это, понятное дело, было не положено. Вечером с неохотой возвращался в Тайцы.

Самое начало июля этого года оказалось для меня

чрезвычайно важным. Мне снова повезло. Повезло как никогда. Я иду по городу рядом с капитаном второго ранга. По прошествии многих лет память дала обиднейший сбой. Вновь и вновь пытаюсь и никак не могу вспомнить, где и при каких обстоятельствах познакомился с этим человеком. А ведь он тогда подвел меня в прямом смысле слова к новой, важной жизненной черте. Кажется, он был отцом моего приятеля Юры Журавлева.

Вот мы идем по площади Труда, затем по каналу Круштейна, через деревянный мост проходим в Новую Голландию, минуя вахтенного матроса. Перед нами мощное приземистое круглое здание из красного кирпича. Здесь располагается, как объяснил мне спутник, командир тыла Ленинградской военно-морской базы генерал Остапенко, который принимает участие в судьбе ленинградских мальчишек, оставшихся без родителей. Он и велел привести меня к нему.

Мы поднялись на второй этаж и оказались в приемной. Здесь нас встретил адъютант, мичман. Он усадил нас на мягкий диван, а сам вошел в кабинет. Через какое-то время он пригласил нас к генералу.

За большим столом сидел человек в морском кителе с погонами генерал-майора. Его круглое лицо с мешками под глазами было очень строгим. Я оробел и сделал движение спрятаться за спину капитана второго ранга. И вдруг глаза генерала оттаяли, он вышел из-за стола. Оказался генерал небольшого роста и вовсе не свирепого вида. Он взял меня за плечи и усадил рядом с собою на кожаный диван. Разговор был довольно долгим. Генерал расспрашивал о родителях, об учебе. Я старался отвечать коротко, откровенно. Не скрыл и наличие колобомы, из-за которой не попал в Суворовское училище.

– Моряком хочешь быть? – спросил генерал.

– Так точно! – вскочил я.

Все рассмеялись.

– Что же мне с тобой делать? – задумчиво произнес генерал, снова усаживая меня рядом с собой. – Может, определить парня в школу юнг? – обратился он к адъютанту.

– Но ведь туда принимают с шестнадцати лет, после седьмого класса, а Боре только в сентябре исполнится четырнадцать, да и закончил он шесть классов, – засомневался мичман.

Генерал задумался.

Я понимал, что сейчас решается моя судьба. «Ну, пожалуйста, пожалуйста!» – умоляюще повторял я про себя.

– А что это за веревка у тебя на сандальке? – неожиданно спросил генерал.

Я сбивчиво стал бормотать, что это только вчера нечаянно

оторвался ремешок, и я еще его не пришил, вот и привязал, потом пришью…

Генерал улыбнулся и сказал, что скоро я буду носить новенькие ботинки и сказал адъютанту, чтобы тот, не откладывая, подготовил приказ о моем зачислении в Выборгскую школу юнг в порядке исключения.

От нахлынувшего счастья у меня перехватило горло, я даже не сообразил сказать «спасибо» добрейшему из добрых людей.

В приемной мичман велел мне принести свидетельство о рождении, свидетельство об окончании шестого класса и обязательно заявление тети Пани о том, что она не против моего поступления в училище.

Со мною попрощались за руку, совсем как со взрослым. Капитана второго ранга я больше никогда не видел, а с мичманом встречался еще дней пять, пока он готовил мои бумаги, связывался с командованием школы юнг, оформлял пропуск в закрытый тогда город Выборг.

Тетя Паня была откровенно рада повороту в моей судьбе, вручила мне требуемые документы и заявление на имя генерала Остапенко.

Целые дни я обретался около круглого здания в Новой Голландии. Здесь познакомился с главстаршиной, личным шофером Федора Алексеевича Остапенко. Возил он генерала на черном большущем автомобиле «Хорьх» с широкой подножкой. Эта диковинная машина, рассказал он, когда-то принадлежала самому Герману Герингу. Главстаршина как-то даже прокатил меня на «Хорьхе» внутри Новой Голландии. Рассказал он и об адъютанте Ядрове. Оказывается, мичман раньше служил не где-нибудь, а на легендарном крейсере «Аврора».

Наконец наступил день, когда я получил на руки запечатанный сургучом пакет с документами, пропуск в закрытую зону и билет до Выборга.

Впереди меня ждала новая жизнь.

В школе юнг

Уходит бригантина от причала,
Мои друзья пришли на торжество.
И над водой, как песня, прозвучало:
Один за всех и все за одного!

Михаил Танич

Выборг меня встретил мрачными развалинами вокзала. Война жестоко обошлась с этим маленьким городом. Был ранний час на стыке белой ночи и свежего утра, едва подсвеченного робкими лучами солнца. У сопровождавших поезд пограничников узнал, как найти Энсовское шоссе, где расположена школа юнг. Перешел железнодорожный мост и неторопливо двинулся по запыленной улице. Вокруг было тихо и безлюдно. Но вот сзади раздался ровный рокот мотора. Около меня притормозил «виллис». Молодые погранцы приветливо поздоровались и, узнав о цели моего путешествия, умчались куда-то вдаль. А я, перейдя мост через широкую протоку, потопал по пустынной дороге. По сторонам – плотная стена высоких деревьев. Тишину нарушало лишь щебетанье птиц, радующихся солнцу. Километра через два показалось монументальное здание школы юнг. От дороги его отделял длинный забор из штакетника. Высоко на стене я сразу же увидел отчетливое изображение орла с распахнутыми крыльями – явное наследие финнов.

В узкой деревянной проходной вахтенный с повязкой на рукаве долго не пропускал меня, пока не появился дежурный, которому я вручил конверт, адресованный начальнику школы капитану первого ранга Мартюшеву. Дежурный привел меня на первый этаж школы. Я ходил и с интересом все разглядывал. На стене висела большая картина. Художник изобразил морской десант. На переднем плане вооруженные автоматами и гранатами матросы, держа в зубах ленточки бескозырок, выпрыгивали из шлюпки и по пояс в воде бежали прямо на меня, то есть к берегу. А сзади них – столбы разрывов и приближающиеся шлюпки десанта.

Еще больше поразила меня настоящая морская круглая рогатая мина. А чуть дальше ждал еще один сюрприз – сверкающая длинная торпеда. Вот такими торпедами наши подводники топили корабли противника. И мина, и торпеда

были, разумеется, лишены смертельной начинки, но сам их размер, обтекаемая форма произвели на меня сильное впечатление.

Здание школы было совершенно пустое. Юнги, перешедшие на второй, выпускной, курс, на морской практике, а время для абитуриентов еще не настало. Лишь несколько командиров и немногочисленный обслуживающий персонал были «на хозяйстве». Об этом я узнал от дежурного, который по телефону кому-то доложил обо мне.

Я было собрался погулять по улице, как вдруг появился главстаршина – стройный, жилистый, плечистый. Грудь его украшали медали, и среди них я углядел невиданную доселе флотскую медаль, обрамленную якорем и миниатюрной якорной цепью. Он уже был осведомлен о моем приезде, расспросил о прошлом, о родителях. Я сразу же проникся к нему полнейшим доверием и подробно, хоть и сбивчиво, отвечал на его вопросы. Фамилия главстаршины была Десятов. Много позже я узнал, что он был воспитанником школы юнг на острове Валаам. В самом начале войны двести мальчишек этой школы были отправлены воевать на печально знаменитый «Невский пятачок» и соседние участки фронта. Ему выпала счастливая доля остаться живым в числе немногих.

Главстаршина привел меня на камбуз. Там две вольнонаемные женщины принялись меня кормить, приговаривая, чтобы ел на здоровье, а то уж больно я маленький и тощенький. Видя, как жадно уплетаю все, что дают, Десятов с улыбкой заметил, что через пару месяцев у меня вырастут пухлые щеки. А кормили юнгашей действительно замечательно в то полуголодное послевоенное время – по 9-ой, курсантской, норме, без особых разносолов, но обильно. На завтрак я получил черпачок пшенной каши, треть буханки серого хлеба (а буханки тогда были большими!), малюсенький кубик масла, два кусочка сахара и кружку чая. Во время учебы у многих из нас укоренилась привычка масло размешивать в чае, получалось нечто вроде бульона.

На вещевом складе взамен моей одежки долго подбирали рабочее обмундирование. Роба для меня оказалась, мягко говоря, несколько свободноватой. Но это не беда, облачился в тельняшку, затянул на поясе потуже настоящий флотский ремень со сверкающей бляхой, завернул брюки (через час я сам их, как мог, подшил), надел бескозырку без ленточки, на два размера больше яловые ботинки (их называли ГД – говнодавы) – и как бы со стороны восторженно оглядел себя. Десятов повертел меня перед собою, одобрительно похлопал по плечу и пообещал, что осенью

буду щеголять в форменной одежде, которую портной подошьет по фигуре, а вот с выходными ботинками – беда, придется просить командира училища, чтобы он распорядился купить их для меня в городском магазине.

В огромном помещении-кубрике на втором этаже ровными рядами стояло множество пустых двухъярусных железных кроватей. На одну из них я притащил выделенные мне матрац, подушку, две простыни, наволочку и полотенце. Кровать старательно застелил. В тумбочку положил все, что привез с собой: мыло, зубной порошок и щетку. Вошел Десятов. Взглянув на дело рук моих, он сказал, что так застилать койку не годится, показал, как надо это делать, потом снова всё разворошил и дважды заставил меня привести в порядок постель. Улыбка сошла с его лица, и он строго произнес, что назначен командиром одной из рот, куда я буду зачислен, что отныне я юнга, флотский человек, и должен строго соблюдать дисциплину, порядок, быть опрятным, беспрекословно слушаться командиров.

После плотного обеда Десятов повел меня на первый этаж к начальнику школы. По пути он рассказал, что начальник – геройский офицер, во время войны служил на линкоре «Марат». Постучавшись, мы вошли в кабинет. Мой командир легонько подталкивал меня перед собой.

Из-за стола встал высокий, полнолицый, приветливо улыбающийся капитан первого ранга. Главстаршина, почтительно вытянувшись и приложив ладонь к виску, стал докладывать, но Мартюшев прервал его, предложил нам сесть на диван и сказал, что все обо мне знает, пакет от генерала Остапенко получил, я без экзаменов зачислен во вверенную ему школу. Мне же надо прилежно учиться, обязательно за два предстоящих года вырасти, возмужать и стать настоящим моряком. Я молчал, пытаясь придать своей счастливой физиономии серьезное выражение. Потом он велел мне встать, оглядел со всех сторон и весело хмыкнул. Десятов доложил о проблеме с ботинками. Начальник обещал ее обязательно решить: «Не ходить же юнге в увольнение босиком!»

(Через четверть века, в середине семидесятых, я разыскал в Москве квартиру Мартюшева. Меня приветливо встретила его жена. Сам же хозяин был в командировке. Некоторое время спустя я получил от Юрия Сергеевича теплое письмо и старую фотографию. На ней он такой, каким я его помню, – в форме капитана первого ранга. На обороте фотографии надпись: «Воспитаннику Школы юнг ВМФ /г. Выборг/ Боре Друяну. Мартюшев Ю. С. 1951 г.»).

Очень быстро я обследовал всю школу, обширную территорию, даже взобрался на поросшую деревьями крутую гору, где стояла водонапорная башня. Оттуда хорошо виден Выборг, залив, бухточки, протоки, островки, старинная крепость. Перед зданием школы вольготно расположился большой плац, на котором мне в недалеком будущем предстояло осваивать азы строевой подготовки. За территорию школы выходить было нельзя. Я был предоставлен самому себе и вскоре даже заскучал. Лишь однажды врач-подполковник окликнул меня и привел в свой кабинет, где учинил поверхностный осмотр: измерил рост, взвесил, заставил несколько раз присесть. И отпустил с миром. Как оказалось, ненадолго. Как-то мы с ним столкнулись в дверях, он внимательно посмотрел мне в лицо, дотронулся до распухшей щеки и тут же увел к себе. Оказалось, я невесть где умудрился подцепить гнусную заразную болезнь – свинку.

На улице жара, солнышко улыбалось с утра до белой ночи, а я с обмотанной повязкою шеей безвылазно едва ли не месяц вынужден был обитать в отдельной палате на первом этаже, рядом с кабинетом доктора. Можно было сдохнуть от тоски, но добрый подполковник снабжал меня книжками. Именно тогда я впервые с большим интересом прочитал «Войну и мир». Однако признаюсь: многочисленные фразы на французском полностью игнорировал. Я читал, засыпал, проснувшись, глядел в окно на высокие сосны, на плац, представлял, как носился бы по нему босиком наперегонки с Арбо. Как-то он там без меня, мой умный, преданный друг…

Через дорогу от проходной возвышался могучий валун, занесенный сюда, наверное, еще в ледниковый период. За ним справа небольшой деревянный дом, в котором жили дядя Ваня и тетя Дуся Волковы. Было им лет по сорок. У них росла светловолосая дочка Валя, моя ровесница. Насколько помню, тетя Дуся работала в вольнонаемной команде школы. Она с кем-то из начальства договорилась, чтобы меня после перенесенной болезни отпускали к ней для окончательной поправки пить парное молоко. Но, как говорится, ничего нет более постоянного, чем временное: я до окончания школы вечерами ходил к этим добрым людям. И никто меня не останавливал.

В самое первое посещение случилось непредвиденное. Волковы, оказалось, держали не корову, а козу. Козье же молоко я пить решительно воспротивился, ссылаясь на то, что оно пахнет козлом. Тетя Дуся сразу со мною согласилась и пообещала отныне брать для меня коровье молоко у соседки. Вечером следующего дня она протянула мне стакан молока. Я его выпил с

большим удовольствием. Прошло несколько месяцев. Тетя Дуся по привычке усадила меня за стол, поднесла стакан молока, я попробовал и в недоумении посмотрел на нее. Мне показалось, что молоко сильно разбавлено водой. И тут тетя Дуся, дядя Ваня и Валюшка дружно рассмеялись. Оказалось, сейчас она угостила меня коровьим молоком. А все это время я с наслаждением пил молоко от их козы, набираясь здоровья и сил.

Наконец-то громадное здание школы загудело ребячьими голосами. Вернулись с морской практики второкурсники, одолели вступительные экзамены новички. Новичков-первокурсников принято было называть не салагами, а почему-то албанцами. Вот и я стал албанцем. На прозвище никто и не думал обижаться: такая уж традиция. Пройдет год, и мы в свою очередь перестанем быть албанцами. Не помню, чтобы между прошлогодними и нынешними албанцами были какие-то столкновения. Шутки, подначки были, но они носили снисходительно-дружеский характер. О дедовщине в те годы на флоте и слыхом не слыхивали.

Как и обещал главстаршина Десятов, я оказался в роте под его командованием. Два года мне предстояло учиться на рулевого-сигнальщика. В школе учили и на машинистов паровых установок, а также на кочегаров. На кочегаров принимали физически крепких ребят. Опять же по традиции мы называли машинистов «маслопупами», а они нас «рогаликами», видимо, потому, что на штурвалах по окружности, на небольшом расстоянии друг от друга располагались удобные для рулевого рукоятки-«рогалики».

День начинался с раннего подъема, неизменной физзарядки. До сих пор не позабыл «шестнадцать весёлых» упражнений. Вот только сейчас, на склоне лет, перестал их делать. Сачкую. А тогда подчас сачковал, когда раздавалась команда дежурного: «Подъем, вторая рота! Подъем!». Все разом вскакивали, спешно одевались, заправляли постели, а меня ребята оставляли и дальше дремать на моем втором ярусе, причем, сверху, как и полагается, тщательно укрывали одеялом и подушкой. Плоская моя фигурка была совершенно незаметна для строгого взгляда командира взвода. При построении все же выяснялось, что на «шкентеле» – в конце левого фланга – не хватает самого маленького. Поднимался веселый галдеж, кто-то говорил, что я застрял в уборной, кто-то предполагал, что индивидуально занимаюсь физзарядкой, кто-то утверждал, что видел, как Друян помчался на камбуз подхарчиться. Под шумок меня быстренько извлекали на свет божий, я мгновенно одевался и с незавязанными шнурками на

ботинках незаметно занимал свое место в строю. Каждый раз этот цирк сходил мне с рук, пока однажды многоопытный комроты Десятов, лично присутствующий на построении, не разгадал мою хитрость. Он и влепил мне наряд вне очереди – чистить картошку на камбузе. А там мягкосердечные тетеньки принялись угощать специально для меня приготовленными пончиками. В это время был замечен поднимающийся по лестнице Десятов. Мне тут же сунули в руки ножик, под ноги – ведро, и я усердно начал чистить картошку. Женщины нахваливали меня, а я жалобно просил командира больше не посылать меня на камбуз, уж лучше – охранять в одиночестве на верхотуре водонапорную башню. Понятное дело, меня и впредь за проказы отправляли не куда-нибудь, а на камбуз к добрейшим женщинам.

Командира роты Десятова мы все боготворили, гордились им, его выправкой, стройной фигурой, боевым прошлым. Между собою – и он это знал – мы называли его Червонец. Вот он, развернув грудь, идет твердым шагом по дороге к нашей школе. На нем ладно сидит флотская шинель, фуражка чуть сдвинута на бок. Наверняка чувствует, что за ним из окон второго этажа следит множество восхищенных глаз. Ну, разве можно нашего Червонца сравнить с командиром соседней роты Шикиным? Да не в жизнь! Шикин – плотный, приземистый человек с изрытым оспою лицом. Да к тому же, хоть и носит морской китель с фуражкой, но погон-то нет! Правда, у него командирский голос – о-го-го какой! – более мощный, чем у Десятова. Не стесняется он иногда перед строем ввернуть флотский матерок. Много времени спустя до нас докатился слух, что Шикин-то не так прост, как кажется. После революции он служил в Кремле в роте самокатчиков-велосипедистов (были, оказывается, и такие еще с царских времен вооруженные формирования). Затем наступил тяжелый период в его жизни, но справедливость взяла верх, его освободили и привлекли к воспитанию юных моряков. Мы полностью переменили свое отношение к человеку с такой необычной биографией, не только по-прежнему его побаивались, но и зауважали. Прекратились едкие шуточки насчет его невеликого роста и странноватой формы одежды. Уже никто за глаза не называл его «адмирал Шикин».

Нас ежедневно заставляли строем шагать по плацу. Мы печатали шаг, старались ровно держать строй. Окрестности содрогались от строевых песен. Но самым главным для нас была учеба, профессиональная подготовка. В каждом классе множество учебных пособий – карты, флаги, макеты парусников и современных кораблей. Опытные преподаватели ясно и доходчиво вбивали в наши головы сложные морские премудрости. Мы

изучали кораблевождение, морские инструменты, рулевое и сигнальное дело, устройство корабля, погрузочные и такелажные работы… Очень быстро я освоил ручной семафор: в руки по флажку и – легко и красиво передаю на расстояние видимости всё, что приказано. Поразительно, но и сейчас руки помнят азбуку семафора. По всем предметам у меня были четверки и пятерки. Лишь по деревообработке и физкультуре ходил в твердых троечниках: первая же смастеренная мною табуретка прожила пару минут и благополучно развалилась, а на турнике и перекладине я не мог, как ни старался, достичь уровня более взрослых и сильных ребят. Зато по канату ловко залезал под самый потолок спортзала.

Единственным гражданским предметом была история СССР. Упор делался на чуть ли не заучивание «Краткого курса ВКП(б)». Спрос был строгим. Благодаря хорошей памяти действительно краткие главы учебника, изложенные простым «школьным» языком, усваивал легко.

Метрах в пятидесяти от школы располагался причал, около которого покачивалось несколько шлюпок – шестивесельных ялов. Вот где мы по-настоящему впервые ощутили себя моряками! Оттолкнувшись от причала, быстро разбираем весла, вставляем их в уключины, по команде командира, сидящего на корме, делаем первые неумелые гребки. Постепенно все приходит в норму: под команды «И-и-и – раз! И-и-и – два!» весла синхронно начинают работать. Загребными, по которым все равняются, назначены самые крепкие ребята. Я стараюсь не показывать, как трудно, ухватившись одной рукой за рукоятку, а другой – за валёк, справляться с тяжелым веслом. На ладонях быстро образовались волдыри, пот заливает глаза. «Суши весла!» – раздается долгожданная команда, и мы блаженно отдыхаем, но так, что все весла ровно и параллельно нависают над поверхностью воды. Вокруг тишина, лишь за бортом еле слышный плеск да крики чаек в солнечной голубизне. Лениво переговариваемся, так хочется дольше продлить отдых, но командир неумолим, шлюпка снова набирает ход. Все дальше и дальше за кормой остается светлое здание школы. Наши тельняшки насквозь промокли от пота, когда мы ошвартовались у городской набережной, напротив древних стен Выборгского замка. На берег сойти нельзя, да и не больно-то хочется, сидим на банках (скамейках), бессильно закинув руки за головы.

Будут, и не раз будут до глубокой осени такие недальние шлюпочные походы и на веслах, и под волшебным парусом. Мы уже не в классах, не в теории, а на практике заучивали

терминологию парусов, рангоута, такелажа. Все было интересно, в новинку, мы уже были окутаны морской романтикой, грезили дальними походами, свирепыми штормами, шквалистыми ветрами. Многие из нас успели завести толстые тетради, куда переписывали друг у друга тексты песен с собственными рисунками. Среди них были и серьезные: «Варяг», «Прощайте, скалистые горы», «Раскинулось море широко», «Вечер на рейде», «Заветный камень» – и не очень-то серьезные, но жутко романтичные песенки: «Серая юбка», «Бригантина», «Юнга Билл», «Девушка из маленькой таверны», «В Кейптаунском порту». Те песни и сейчас живут, их исполняют и профессионалы, и самодеятельные певцы. Только одну я потом нигде не встречал. Мы пели ее на мотив знаменитых «Кирпичиков». Запомнил я лишь три куплета:

В тихом городе, на окраине
В семье боцмана я родился
И мальчишкою лет пятнадцати
На большой пароход нанялся.

Время первое было трудное,
Но, проплававши юнгою год,
За веселую жизнь матросскую
Полюбил я большой пароход.

Вот приходим в порт, разгружаемся,
«Эй, девчонки, взгляните на нас!»
Всё отдам, что есть: деньги, совесть, честь —
Я за пару чарующих глаз!..

Как жаль, что тетрадку с песнями мне не удалось сохранить: через два-три года я опрометчиво дал ее почитать одной барышне, а она «замотала» мою юношескую реликвию.

«Чарующими глазами» мы любовались в городе, куда нас стали выпускать в увольнение. Тщательно выглаженная форма на нас уже сидела довольно прилично, на плечах красовались погончики с буквой «Ю», а на бескозырках золотым сиянием – «Школа юнг ВМС». Обычно мы ходили стайками по зеленой аллее, параллельной с главным проспектом имени Ленина. Реже – по сказочно зеленому парку Монрепо, обследовали страшноватый остров Мертвых. Конечно, юные красотки не могли не обратить внимания на ладных морячков. «Юнги, гляди, юнги идут!» – слышалось отовсюду.

Знакомиться с девчонками я стеснялся. Да и слишком хлипким выглядел по сравнению со своими старшими товарищами. Но бывало и так, что на аллее завязывалось коллективное знакомство, несколько раз мне приходилось выслушивать сомнительный для моряка комплимент: «Ой, смотрите, какие у Бори длинные ресницы! Прямо как у девочки!». Я хмурился, отворачивался, настроение падало ниже ватерлинии. Наконец, это так надоело, что я стал, сидя на занятиях, выдергивать свои злосчастные ресницы. Выдернул много. Кончилось тем, что веки воспалились, распухли, стали болеть, и я вынужден был обратиться за помощью к старому знакомому доктору. Он обследовал мои глаза, вынудил признаться в самоизуверстве, по-отечески поворчал и тут же поместил в ранее обжитую мною палату. Регулярные компрессы и какие-то капли быстро сделали свое дело, на третий день я был отпущен с миром, дав слово доктору, что в дальнейшем оставлю свои ресницы в покое.

У меня появился старший друг. Как-то в увольнении ко мне подошел высокий красивый курсант в белоснежной форменке, с палашом на боку, наклонился и, улыбаясь, протянул мне руку. «Меня зовут Валентин. Валя», – сказал он. Я назвал себя. Мы долго гуляли с ним по городу, он расспрашивал меня о прошлой жизни, о нашей школе, о моей будущей специальности. Я же узнал, что Валя Покидов учится на четвертом курсе Высшего военно-морского интендантского училища. С этого дня мы непременно встречались во время увольнений. Прохожие с интересом оглядывали нас. Еще бы: ростом я был чуть выше его поясницы. Иногда мы приходили в его училище. Он знакомил меня со своими товарищами, все они были уже взрослыми людьми, ко мне относились дружелюбно, угощали конфетами, печеньем.

Мы с Валей всегда встречались в аллее у бронзового изваяния могучего лося. Иногда он просил проводить его до дома, где жила его девушка. Я ее видел несколько раз. Она была красива, пышноволоса и так же, как и мой друг, высокого роста. Мы доходили до её подъезда, жали друг другу руки, и я грустно топал в центр города, где фланировали юнгаши.

По воскресеньям приезжали навестить своих сыновей родители, а то и просто родственники. И не только из Ленинграда, но и из других, даже дальних, городов и деревень. В теплую погоду кучками располагались на травке вокруг школы, на плацу, усиленно угощали отпрысков домашней едой. Если случалось проходить мимо, я заставлял себя не смотреть на них,

старался выглядеть независимым. Бывало и так, что меня приглашали присесть, норовили угостить, но я неизменно отказывался. Зависть (да, самая настоящая зависть!) и грусть одолевали меня. Я вскарабкивался к водонапорной башне и долго сидел у ее подножья, глядел на водную гладь внизу и на медленно проплывающие над головой светлые облака. Ждал вечера, когда будет удобно выскочить за проходную и заявиться к добрым Волковым, выпить стакан вкусного молока и посидеть за разговором у них хотя бы полчасика…

После вечернего построения меня отвел в маленькую комнатку Десятов и показал письмо от тёти Пани, адресованное командиру школы. Она просила отпустить меня на похороны Мумрина. Главстаршина сказал, что помнит мой рассказ об этом нехорошем человеке, но решать мне, ехать на его похороны или не ехать. Я не ощутил ни капельки печали по усопшему, но… так захотелось увидеть Арбо, о котором все прошедшие месяцы не переставал вспоминать! Я переминался с ноги на ногу, молчал: ну, не говорить же командиру, что очень скучаю по собаке. Десятов, видя мою нерешительность, сказал, что, по его мнению, вряд ли стоит ехать ради того, чтобы увидеть в гробу деда, который при жизни сделал мне столько плохого. Возразить было нечего, я согласился с ним, и он, улыбаясь, мягко подтолкнул меня к двери.

«Ну и ладно, – думал я, шагая по коридору. – С Арбо обязательно увижусь летом в отпуске. Надо потерпеть немножко».

Тете Пане я коротко написал, что приехать не могу, поскольку очень загружен учебой».

Весной мы все чаще и чаще занимались на плацу строевой подготовкой. Командиры добивались от нас твердого парадного шага, чтобы шеренги были идеально ровными, а наши троекратные крики «Ура!» – дружными и мощными. Мы зверски уставали, в перерывах валились на землю, но снова раздавалась команда на построение, и все повторялось с самого начала: идеально ровные шеренги, зычное приветствие командира, наше бодрое «Здравия желаем, товарищ адмирал!», восторженные крики «Ура!» в ответ на поздравление с праздником Победы, четкий топот колонн…

Последняя майская репетиция и сам парад прошли на центральной площади Выборга. Она почему-то называлась так же, как и в Москве, – Красной площадью. Мне и моему соседу по левому флангу – «шкентелю» было приказано быть ассистентами знаменосца. Для контраста. Наверняка было забавно смотреть со

стороны, как впереди колонны несет знамя школы мощный, высокий юнга, а по бокам – два малыша, шагающих с ним в ногу. Еще на подступах к площади мы слышали со всех сторон одобрительные аплодисменты, обычные детские крики: «Юнги! Юнги идут!». Под бравурный марш духового оркестра мы лихо прошествовали по брусчатке мимо трибуны. Наши командиры были довольны. Нет, не зря так долго изматывали нас строевой подготовкой. Праздничный обед, увольнение в город и посещение парка «Монрепо» мы заслужили.

Первый год обучения остался за кормой. На практику я попал в Кронштадт. Здесь базировался катер Малый охотник за подводными лодками, в просторечии – «мошка», на котором мне предстояло провести три летних месяца. Все было интересно, все впервые. Впервые оказался в Кронштадте, впервые стал почти полноправным членом экипажа боевого корабля. Занимался я тем, что приказывал командир катера. А приказывал он в основном ежедневно драить палубу, начищать пастой ГОИ рынду так, что она слепила глаза. Иногда подпускал к штурвалу, не отходя от меня ни на шаг. Вскоре я даже стал удостаиваться от него поощрительных замечаний, чем был чрезвычайно горд. Далеко мы не ходили. Катер был приписан к номерному исследовательскому институту. Мы брали на борт двух-трех неразговорчивых ученых, они испытывали какие-то приборы, назначения которых нам не дано было знать.

Так продолжалось месяца полтора, после чего нас неожиданно поставили вместе с другими большими кораблями на ремонт в громаднейших размеров сухой док. Вот здесь я капитально заскучал. В увольнение выпускали крайне редко. Однажды умудрился удрать в самоволку, но меня живо заловил патруль – два матроса и офицер. Командир патруля оказался хорошим человеком: меня не повели в комендатуру, а сопроводили обратно на Морской завод. По пути я поинтересовался, где находится знаменитая чугунная мостовая. Мне со смехом показали под ноги. Оказалось, мы именно в этот момент шли по ней, по узорной чугунной мостовой.

В праздничный день Военно-морского флота в тенистом прибрежном парке я носом к носу столкнулся с Валей Покидовым. Он проходил практику на отличившемся в боях минном заградителе «Марти». Здесь, в парке, кто-то из его друзей сделал фотоснимок, которым я очень дорожу. Погуляли, полюбовались сияющим вдали куполом Исаакиевского собора, потом мой друг провел меня на минзаг. Вот это – корабль так корабль! Наш Малый охотник против него действительно

«мошка». Точно так же, как я, по сравнению с взрослым Валентином Покидовым казался «мошкой», салажонком. Всем сердцем я был привязан к нему, гордился нашей дружбой. Он относился ко мне как к равному – душевно и естественно. Без капельки снисходительности.

(И вот здесь никак не могу не забежать на три десятилетия вперед.

В августе 1982 года я приехал в командировку в Москву. Когда-то Валентин на обороте нашей кронштадтской фотографии написал: «гор. Высоковск, Московская обл., ул. Пушкинская,1». Я знал, что он служил после училища на флоте, потом следы его затерялись. В тот приезд в столицу я все же обратился в адресное бюро, ведь столько времени миновало, вполне возможно, что он давно поменял подмосковный адрес. Но произошло чудо: старый адрес подтвердился. Я высвободил от всех дел целый день, доехал на электричке до станции Клин, пересел в автобус, который довольно быстро преодолел расстояние до Высоковска. Стараясь сдержать волнение, нажимаю на звонок в квартиру.

Дверь открыла женщина. Я лишь назвал себя, как она взяла меня за руку и, обернувшись, громко, отчетливо сказала: «Валя! Это Боря Друян, ты только не волнуйся!». И уже шепотом мне: «Он после инсульта, ему нельзя волноваться». В дверях комнаты, одной рукою держась за косяк, другой опираясь на палку, появился Валентин. Был он по-прежнему высок, но как все же болезнь изменила весь его облик! Я бережно обнял друга, из его глаз потекли слезы, он с трудом произнес какие-то звуки. Его жена Тамара увела нас в комнату. Были извлечены старые фотографии, мы смотрели на них, друг на друга и говорили, говорили. Вернее, говорил я, а Валя, сердясь на себя, лишь пытался мне что-то сказать…

Было видно, что он устал, да и мне нужно было не опоздать на автобус до Клина. На прощанье мы обнялись. В последний раз. Потом я получил печальное письмо от Тамары. Друг моей ранней юности ушел из жизни…)

В последний месяц лета 1951 года я приехал в Ленинград в свой самый первый в жизни отпуск. В руке держал маленький чемоданчик-«уголок» со сменой белья. Переночевал у тети Лизы и наутро уехал в Тайцы: мне не терпелось предстать перед друзьями в морской форме, а главное – встретиться с Арбо. Едва зашел в калитку, как навстречу громадными прыжками с лаем бросился ко мне дорогой мой дружок, вмиг, как когда-то, повалил на землю и принялся лизать мое лицо. Клёши, форменка, белый

чехол бескозырки тут же испачкались. Ну да что там, всё это ерунда. Как здорово, что Арбо целый год помнил обо мне, ждал, как и я, нашей встречи.

Тетя Паня за столом расспрашивала о моей учебе, где и кем буду на флоте после школы. О Мумрине ни разу не вспомнила, а я о нем и не думал спрашивать. Эдик с завистью слушал мой рассказ о школе юнг, о моей практике, о Кронштадте, о «мошке». Время от времени я выбегал во двор, садился на ступеньку крыльца и разговаривал с Арбо. Мокрым носом он тыкался мне в лоб, уши, губы и тихо повизгивал. Из города я привез для него круг полукопченой колбасы. Он деликатно брал из ладони кусок и умильно смотрел в мои глаза, ожидая очередного угощения. Тетя Паня не смогла не выразить своего неудовольствия, поскольку скармливаю хорошую колбасу собаке. Но я и бровью не повел: прошло время, когда боялся ее гнева. Вот побуду здесь несколько дней, наиграюсь с Арбо и уеду в город. Деньги отпускные у меня есть. Жаль, что брат Лёня служит в армии на далеком севере, а то бы мы вместе пожили в нашей комнате на Измайловском проспекте. Ничего, перекантуюсь у Шуваловых.

Весь следующий день провел с ребятами. Мы гуляли до позднего вечера. Домой пришел в полной темноте. Арбо, конечно же, встретил с восторгом, а вот тетка коротко и зло сказала, как отрезала: «Чтобы больше так поздно не шлялся!». Ну сказала и сказала, вроде бы что тут такого. Я промолчал, но всё старое, многолетнее, черное вновь больно ударило. А ведь брошенная теткою фраза была почти ласковой по сравнению с изощренно грубыми, мужицкими выражениями, которые еще год тому назад она адресовала мне. Ночь почти не спал, не давали нахлынувшие воспоминания: унижения, беззащитность, едкие слезы обид…

Едва рассвело, оделся, прихватил «уголок» и вышел на улицу. Арбо вылез из будки, загремел цепью и подскочил ко мне. Я обнял его за шею, поцеловал в глаза и в нос. Это было наше с ним последнее прощанье. Сзади что-то говорила тетя Паня, я молча вышел за калитку и, не оглядываясь, зашагал к станции.

В Ленинграде я не задержался, хотя тетя Лиза не хотела меня отпускать. Но в их крохотной квартирке стало еще теснее: женился Саша. Через несколько дней я уже был в Выборге, в родной школе юнг. Вместо Мартюшева её теперь возглавлял подполковник Заболотский. Был он не столь фактурист, как предшественник, но зато более подвижен, доступен и красноречив. Иногда на виду у всех извлекал из кармана шикарный портсигар, на крышке которого была выгравирована его фамилия, и неторопливо закуривал папиросу. Многие ребята

уже во всю смолили. Мне хотелось выглядеть взрослее, и я стал приучать себя к табаку. Однако же организм изо всех сил сопротивлялся, меня тошнило, голова кружилась, в глазах темнело. Со временем все же удалось победить самого себя, я научился так же лихо, как Заболотский, выпускать дым и через рот, и через нос. Только портсигара у меня не было, да и курил я не «Беломор», а дешевые «Красную звезду» или «Север», да и то, когда удавалось «стрельнуть гвоздик» у более состоятельных однокурсников. Знал бы начальник школы, какой красивый, но дурной пример он подает. Многие годы я следовал этой вредной привычке…

Было еще одно повальное увлечение: мечтая о штормах и шквалах, делали татуировки. Командиры старались пресекать эти художества, впрочем, без особого успеха. Мне очень хотелось иметь наколку на кисти левой руки, чтобы был изображен адмиралтейский якорь и цепь к нему. Этому помешал Десятов. Предугадав мое жгучее желание, он сказал, что жестоко накажет, если увидит на мне какую-нибудь татуировку. Кстати, наш горячо почитаемый Червонец стал лейтенантом. Мы были рады за него и еще более им гордились.

Второй курс шел по накатанной колее. Точнее не шел, а мчался. Все было привычно: ранний подъем, зарядка, занятия, самоподготовка, отбой, увольнения в город, изредка – самоволки, наряды вне очереди… Вечерами я по привычке заглядывал в домик Волковых. Мы давно успели сродниться, было мне тепло и уютно у этих скромных, сердечных людей.

Командование школы начало устраивать для нас вечера отдыха, на которые приглашались девочки. Сначала был концерт, который мы заранее тщательно готовили, бесконечно репетировали. На просторной сцене, края которой венчали расписанные под мрамор фанерные колонны, лихо «бацали» – отплясывали «Яблочко», пели, быстро и слаженно выстраивали непременную пирамиду. Меня, как самого легкого, вбрасывали на самый верх с сигнальными флажками в руках. Мне же поручалось читать стихи и басни. Делал это с большим удовольствием и неизменным успехом. Завершался концерт большим действием из пьесы «Любовь Яровая». Наконец наступало самое главное – танцы. Девочек было значительно меньше, чем нас, поэтому юнгаши вынужденно стояли в сторонке, подпирали стены и с завистью глядели на счастливчиков, умеющих танцевать разрешенные в те годы вальсы, бальные танцы и изредка – так называемые медленные танцы, то есть танго.

Умеющих худо-бедно «передвигать костыли» – выполнять

танцевальные «па» – было не так уж много. Поразмыслив, наши командиры приняли решение обучить нас этим премудростям. Привлекли для этого ослепительной красоты молоденькую учительницу бальных танцев. В огромном спортивном зале она выстраивала нас парами по кругу и под музыку терпеливо заставляла заучивать танцевальные фигуры. Ох, и трудной же оказалась эта работенка! В пару себе она выбрала самого гибкого, фигуристого юнгу Женю Алексеева. Регулярные занятия не прошли даром, вскоре мы уже почувствовали себя уверенно на надраенном до блеска паркете. Но на танцах я по-прежнему лишь издалека наблюдал за своими товарищами, стеснялся: куда уж мне со своим ростом…

Оживленно переговариваясь, мы возвращались гурьбою из увольнения. Около железнодорожного моста сзади раздался вопль: «Ребята, на танцах наших бьют!». Мы развернулись и сломя голову с воинственными криками помчались, на ходу намертво накидывая на руки ремни и угрожающе размахивая бляхами. Помощь подоспела вовремя: местные ребята успели поколотить нескольких наших парней. Мы вступили в потасовку. Она была настолько свирепой, что дежуривший милиционер был вынужден для острастки выстрелить в воздух. Ему на подмогу спешили военные патрули. Только после этого свалка прекратилась. Мы организованно ретировались, горланя «Врагу не сдается наш гордый «Варяг»… Конечно, нам тоже попало: драки без «фингалов» не обходятся. Хуже, что я потерял бескозырку.

Мы уже прошли больше половины пути, когда нас встретили на грузовике командиры, предупрежденные по телефону милицией. Всех нас усадили в кузов и привезли в школу. На общем построении драчунам объявили выговор, наряды вне очереди и запрет на увольнение в течение месяца.

Больше всех горевал я: как же мне теперь без бескозырки-то? Придется идти сдаваться Червонцу. Позорище!

На следующий день после занятий в классе меня вызвали на КПП. Там стояла девочка. Она, как оказалось, встречается с юнгой из нашей роты. Накануне один из местных драчунов, ее брат, притащил домой бескозырку, внутри которой чернилами была выведена моя фамилия. Девочка сказала, что брата в семье отругали, и вручила мне бескозырку. Я был очень рад и горячо благодарил ее. Неприятное объяснение с Десятовым миновало!

Запрет на увольнение хоть как-то компенсировался субботними просмотрами кинофильмов. В те годы их было не так уж много, и для нас крутили одни и те же картины: «Чапаев», «Два бойца», «В шесть часов вечера после войны», «Кубанские

казаки», «Ленин в Октябре», «Подвиг разведчика», «Трилогия о Максиме», «Счастливого плавания»…

В последней звучала бодрая песня:

Солнышко светит ясное!
Здравствуй, страна прекрасная!
В мире нет другой
Родины такой!
Путь нам озаряет, словно утренний свет,
Знамя твоих побед!

Простор голубой,
Земля за кормой,
Гордо реет на мачте
Флаг Отчизны родной.
Вперед мы идем
И с пути не свернем,
Потому что мы Сталина имя
В сердцах своих несем!..

Эту песню нас хотели заставить исполнять на концертах самодеятельности, но мы дружно воспротивились: ведь она о нахимовцах, а мы-то тут при чем?

Скажу честно: мне и сам фильм не понравился, маленькие актеры, на мой взгляд, выглядели и разговаривали неестественно. Своими мыслями я ни с кем не делился, но втайне самонадеянно считал, что сыграл бы лучше любого из них. Еще бы: у меня за плечами был десятиминутный опыт создания образа Вани Солнцева! Короче говоря, успел зацепить меня грех тщеславия, честолюбия и гордыни.

Тогда же нас собирал вокруг себя в свободном классе морской подполковник и долго и нудно читал собственное сочинение о таких же, как мы, молодых морячках. Слушатели изображали заинтересованное внимание, но незаметно переглядывались, выразительно морщились и зевали в кулак. Когда пытка чтением заканчивалась, задавать вопросы автору никто не желал, все радостно разбегались по своим делам.

После нового года воскресным утром ко мне неожиданно подошел Шикин и приказным тоном сообщил, что мы должны вместе без промедления пойти в город. Ровным счетом ничего не понимая, я, было, заикнулся, что надо бы получить разрешение моего командира роты, но Шикин сказал, что это приказ начальника школы, увольнительная для меня у него в кармане.

Мы вышли за проходную, и с лица Шикина исчезло обычное строгое выражение. С улыбкой он сказал, что командование не знает, как со мною поступить. В этом году я оканчиваю школу, а к моменту выпуска мне еще даже шестнадцати лет не исполнится, в то время как однокурсникам – минимум восемнадцать. У всех семилетка за плечами, а у меня только шесть классов. Физические данные мои не ахти какие: согласно формуляру – вес тридцать килограммов шестьсот граммов, а рост – один метр тридцать шесть сантиметров. Не подставлять же мне под ноги крышку от нактоуза компаса во время вахты за штурвалом! Вот дома у него мы совместно и попытаемся решить эту трудную задачу.

Ну что я мог сказать в свое оправдание? Да ничего. Шикин прав на все сто процентов. До весны прибавить в росте и хотя бы малость растолстеть при всем желании немыслимо.

Видя мою растерянность, Шикин шутливо толкнул меня в плечо и сказал, что моряку вешать нос – распоследнее дело, безвыходных положений не бывает, есть хорошая задумка. Я был наслышан о темных сторонах его биографии и спросил: были ли в его прошлом безвыходные ситуации. Он нахмурился и коротко произнес: «Много будешь знать – скоро состаришься».

Чтобы исправить неловкость, я поинтересовался, правда ли, что он служил самокатчиком в Кремле. Шикин заулыбался и ответил, что это истинная правда, у него дома есть журнал со статьей о самокатчиках.

Дом, в котором жил Шикин, находился в самом центре города, окна его квартиры выходили на Красную площадь. Хозяин предложил мне стул, сам сел за письменный стол и стал что-то быстро писать. Через некоторое время он усадил меня на свое место, положил передо мною диковинный лист бумаги с водяными знаками, ручку и велел аккуратно писать то, что он надиктует.

Надиктовал он короткое заявление от моего имени командиру тыла Ленинградской военно-морской базы генералу Ф. А. Остапенко. В нем я изложил свою биографию, сведения о родителях и в конце попросил в порядке исключения оставить меня еще на один год в школе юнг.

Шикин одобрил мой старательный почерк и сказал, что в принципе дело на мази, Заболотский уже разговаривал обо мне с генералом, и тот обещал непременно решить этот вопрос. Ходатайство командования школы и мое заявление будет отправлено в Ленинград.

Все получилось так, как задумали мои командиры. Вскоре поступил приказ: меня оставляли в юнгах еще на один год с

обязательным условием окончить седьмой класс в одной из городских школ.

Меня вызвали Заболотский и замполит майор Яковлев. Беседа была долгой. Я по-прежнему должен буду строго соблюдать распорядок с той лишь разницей, что утром после завтрака мне надлежало бодренько домчаться до городской школы, ни на минуту не опоздав на уроки. После занятий в городе не болтаться, так же бодро возвращаться в училище, на камбузе меня всегда будет ждать персональный обед. Для выполнения домашних заданий – любой свободный класс в моем распоряжении. Могу заниматься и у Волковых. Самое же главное – никаких плохих отметок, чтобы на педсоветы не приглашали «папу» Заболотского или «маму» Яковлева.

…Весною мои товарищи получили направления на вспомогательные суда разных флотов. Для меня же наступил некий промежуточный период. Чтобы не болтался без дела, я был отправлен с перешедшими на второй курс юнгами на практику в Ленинград. Наша группа очутилась в части ЭПРОН (экспедиция подводных работ особого назначения). Зачислили нас на солидный корабль «Вентспилс», переданный нашей стране по репарации после победы над Германией. Базировался корабль недалеко от устья Малой Невы.

Пару раз мы снимались со швартовых и выходили на учения в Финский залив. Солнечные лучи дробились о сизую морскую гладь, пронзительно кричали чайки, за кормой – контур Ленинграда, спереди наплывает Морской собор Кронштадта. Все, как в сорок седьмом году, только тогда я стоял в Петродворце на берегу, а сейчас с высокого борта «Вентспилса» любовался зеленой береговой линией.

На этой практике мы занимались с утра до вечера всякими полезными делами. Под наблюдением придирчивого боцмана мы без конца драили палубу, гальюны, изготавливали из пеньковых концов маты, швабры, до идеального блеска доводили разные медные рукоятки и, конечно же, рынду, вязали (даже вслепую) морские узлы.

Однажды я красил противоположный от пирса борт шаровой краской. На тросах за борт опустили доску – беседку с привязанным ведерком с краской. Я сидел на этой доске в одних трусах и тщательно орудовал кистью. Затем доску вместе со мною аккуратно передвигали или опускали, я снова занимался делом. Сверху руководил всей операцией боцман.

Было невыносимо жарко. Хотелось пить, рука устала. Наконец мне надоела жара, надоела работа, я незаметно развязал

на поясе беседочный узел, наступил, как будто бы нечаянно, на самый конец доски и с приличной высоты полетел в воду. Раздалась команда: «Человек за бортом!». Пока спускали шлюпку, я успел освежиться, вплавь обогнуть корабль, – течение мне помогло, – и взобраться на пирс. Боцман был вне себя от гнева, но разве докажешь, что весь этот трюк я исполнил специально! Ему же самому еще наверняка попало за то, что не обеспечил мою безопасность.

Все шло своим чередом до тех пор, пока командир корабля не объявил перед строем приказ остричь практикантов под ноль. Все возмутились, ведь после окончания первого курса юнгам разрешалось носить нормальную прическу. Я был вдвойне возмущен, поскольку отучился уже два года! Мы пытались доказать свою правоту, но слушать нас никто не стал. Стричь всех поголовно и – баста! От стрижки я и еще один юнга, фамилия которого забылась, категорически отказались. Нас превзошел Женя Алексеев. Он совершил прямо-таки геройский поступок. В знак протеста Женя с высоченной кормы «Вентспилса» сиганул в воду. Мгновенно была спущена шлюпка. Смельчака выловили и доставили на борт.

Бунт был решительно подавлен. Да и как могло быть иначе: приказ командира, каким бы он ни был, есть приказ, его надлежит немедленно исполнить.

Нас, троих зачинщиков, решили примерно наказать в назидание другим: на следующий же день отправили в школу юнг с сопроводительными документами…

В кабинете Заболотского была поистине штормовая атмосфера. Батя был вне себя. Он с ходу обрушил на нас девятый вал своей ярости. Он не кричал. Он орал, потрясая бумагой, присланной командиром «Вентспилса». Мы, негодяи из негодяев, опозорили всю школу, всех командиров и в первую очередь его!.. Таким мы Батю еще никогда не видели. Сознавая свою ничтожность, молчали, вытянув руки по швам и опустив повинные головы. Однако повинные головы были отсечены праведным мечом: все трое подлежат немедленному исключению из школы юнг.

Я робко заметил, что школу закончил и хотел бы получить полагающееся мне удостоверение.

Заболотский вновь вскипел:

«Никакого удостоверения! Все – вон из кабинета!.. Нет, ты, Друян, погоди! Я тебе еще объясню про удостоверение!».

Ни жив ни мертв стоял я навытяжку перед Батей.

«Что ж ты, сукин сын, вытворил? Волосенок своих

пожалел?» – неожиданно ласково и тихо произнес он и столь же неожиданно врезал мне ладонью по щеке. Я шмякнулся на кожаный диван. Едва вскочил, как получил леща по другой щеке, но удержался на ногах и снова вытянул руки по швам.

Батя как ни в чем не бывало неторопливо сел за стол и ровным голосом сказал, что удостоверение мне не выдаст. За мною остается право пожаловаться на него генералу Остапенко. Как он решит, так и будет.

Мы сидели во дворе на скамейке и потерянно молчали. Выход для меня в самом деле был один: просить Остапенко, чтобы мне выдали удостоверение. А уж с ним смогу устроиться самостоятельно на какую-нибудь лайбу. Мои два товарища по несчастью оказались в более печальном положении: им предстояла дорога домой. И тут мне пришла в голову идея прихватить их с собою. Во-первых, одному будет не так стыдно предстать перед генералом, во-вторых, коллективное покаяние более действенно, в-третьих, Федор Алексеевич, я-то хорошо знал, очень добрый генерал, вполне может вместе со мною простить и ребят. С моими доводами они сразу же согласились. Вспыхнувшая надежда заставила немедленно действовать. Мы отправились на вокзал, выяснив, что денег на билет до Ленинграда хватит.

…Наша троица проделала памятный для меня путь: площадь Труда, набережная канала Круштейна, деревянный мост. А за ним – вахтенный матрос с повязкой на рукаве. Как радостно рядом с капитаном второго ранга шел я сюда два года назад! И как тоскливо ноет сердце сейчас…

Сбивчиво объясняем вахтенному, что нам необходимо срочно попасть на прием к генералу Остапенко. Вызванный офицер провел нас в знакомое круглое краснокирпичное здание. В приемной нас встретил не мичман Ядров, а какой-то другой адъютант. Велел подождать на улице. Через полчаса адъютант открыл перед нами двери кабинета генерала. Мы робко вошли, встали плечо к плечу и вытянулись по стойке смирно.

Остапенко сидел за столом и что-то писал. Потом хмуро взглянул на нас и снова склонился над бумагами. Он нисколько не изменился: круглая голова, редкие волосы, заметные мешки под глазами.

«Ну что, голубчики, явились?! – прогремел он, вставая из-за стола. – Наслышан о ваших художествах! Тоже мне – мореманы! Ишь, чего удумали: устроили целый бунт на боевом корабле! Потемкинцы! И не смейте возражать!!!».

Какое там – возражать, мы потерянно стояли, потупившись, и

готовы были выслушать сколько угодно гневных слов, лишь бы этот свирепый генерал смилостивился, простил нас.

И наши надежды оправдались, мы были прощены. Уже спокойно и строго он говорил о дисциплине, о недопустимости обсуждения и невыполнения приказов командиров, о том, что нам надо привыкнуть хорошо подумать, прежде чем что-то делать, мы уже достаточно взрослые, чтобы отвечать за свои поступки, впереди нас ожидает трудная работа на судах вспомогательного флота, мальчишеские, безответственные поступки ни к чему хорошему привести не могут…

Обращаясь ко мне, генерал укоризненно сказал, что от меня он никак не ожидал такой выходки, всегда надеялся на мое прилежание и хорошее поведение. А приказ свой об оставлении меня в школе еще на год он не отменяет, но при условии, что впредь ничего плохого обо мне не услышит!

В приемной адъютант вручил нам запечатанный сургучом конверт, адресованный начальнику школы юнг Заболотскому.

На Финляндском вокзале мы посчитали деньги. Их хватало лишь на один билет. Нам и в голову не пришло доложить генералу о нашей финансовой несостоятельности. От голода подташнивало. Решили оставшиеся деньги пустить на еду, а до Выборга ехать без билетов.

Дождались отправления состава и с противоположной стороны вскочили на подножку вагона. Дверь была заперта, поезд набрал ход. Мы довольно быстро замерзли от встречного ветра, но делать было нечего, кроме как крепко держаться за поручни. Нам повезло: вышедшая в тамбур проводница заметила за стеклом «зайцев» и открыла двери. Мы объяснили ей, кто мы такие и почему едем без билетов. Добрая женщина согласилась оставить нас в вагоне до прихода пограничного наряда. В тепле нас разморило, и мы задремали.

Разбудили нас два молодых рослых пограничника и потребовали документы для проезда в запретную зону. Мы им смогли предъявить только запечатанный сургучом пакет и коротко рассказать о нашем путешествии в Ленинград. Строгие погранцы привели нас в свой вагон и выделили целое купе. На сытый желудок мы проспали весь долгий путь до Выборга. А там часовые границы связались по телефону со школой юнг и нас с миром отпустили.

Дорога до школы была для нас радостной, а еще два дня назад мы шли по ней скучные и растерянные. Поспели как раз к завтраку. А после камбуза постучались в дверь кабинета Заболотского, чтобы доложиться и вручить ему конверт от

генерала.

На этот раз он был в благодушном настроении, хитровато прищурился и сказал, что о нашей поездке втроем к генералу ему было не так уж трудно догадаться. Затем слегка пожурил нас и пригрозил: если мы когда-нибудь чего-нибудь подобное позволим себе, то никто ни в чем нам не поможет. При этом Батя несколько раз похлопал ладонями по столу, давая понять, что аудиенция закончена. Мои щеки хорошо запомнили эти ладони. Кстати, я ни тогда, ни потом не делал секрета из того случая. Когда меня спрашивали, правда ли, что Заболотский надавал мне оплеух, я не без гордости подтверждал, что именно так все и было.

Командиров было мало, нас использовали на необременительных хозяйственных работах. Особенно нам нравилось заниматься шлюпками: тщательно драили и без того чистые банки, рыбины, весла, борта. Солнечные лучи пронзали густые кроны стоящих на берегу деревьев, падали в воду и плясали мириадами ослепительных зайчиков. Покой и радость ласкали душу, руки знали свое дело, мы лишь изредка перебрасывались словами. В перерывах растягивались на шелковой траве и молча глядели в нежно голубое безоблачное небо.

Первая половина лета 1952 года оказалась особенной, запомнилась на всю жизнь. Накануне Олимпийских игр большая группа спортсменов сборной СССР поселилась в нашей школе. Ничего удивительного: в их распоряжении был прекрасно оборудованный спортивный зал и наш обширный плац, он же стадион.

С замиранием сердца наблюдали мы за ежедневными тренировками гимнастов. Виктор Чукарин, Валентин Муратов снова и снова с необыкновенной легкостью покоряли брусья и перекладину, показывали элементы высочайшего класса. Грант Шагинян на кольцах изображал безупречный крест.

Спортсмены не могли не замечать нас, восторженных зрителей, приветливо здоровались и даже угощали шоколадом. Особенно щедрой была гимнастка Мария Гороховская.

Мне очень нравилась метательница диска Нина Ромашкова. Она без конца отрабатывала технику бросков на плацу. Кто не знает, что в школе мальчишки имеют обыкновение дергать за косички понравившихся девочек. Так и я, чтобы обратить на себя внимание, хватал диск и отбегал с ним подальше. Нина запросто могла догнать меня и поддать как следует, ведь мы были с нею в разных весовых и возрастных категориях. Но она лишь смеялась и просила добровольно вернуть спортивный снаряд. Я недолго

упирался и с деланой опаской передавал диск в ее сильные руки. И опять со стороны, сидя на траве, наблюдал за ее изнурительной тренировкой.

Помнится, какую радость испытали мы, когда узнали об успехах наших спортсменов. А те, кого мы хорошо знали, – Чукарин, Муратов, Ромашкова, Гороховская, Шагинян – стали Олимпийскими чемпионами! И как же расстроились проигрышу в финале советских футболистов югославам! Надо было им тренироваться на нашем стадионе, мрачно шутили мы.

Первого сентября я задолго до занятий пришел в семилетнюю школу № 11. Находилась она в центре города на большой Школьной площади. Все происходило так, как во всех школах страны: общая линейка, речи директора школы и кого-то из родительского комитета, первый звонок. На меня глядели с любопытством: среди привычных школяров затесался парнишка в морской форме. Сначала я чувствовал себя не в своей тарелке, но вскоре всё утряслось, и учителя, и одноклассники ко мне быстро привыкли. Я был старше ребят и девчонок своего седьмого «б» на целых два года. Учеба давалась трудно: эти же два года прошли со времени окончания шестого класса, многое забылось. Но я изо всех сил старался, боялся подвести своих командиров. По всем предметам получал пятерки и четверки. Вот только с алгеброй не мог поладить: выше тройки прыгнуть не удавалось. Избрали меня секретарем комсомольской организации школы. Нагрузка была не очень трудная, но, признаюсь, приятно щекотала самолюбие: принимал членские взносы, проводил собрания, политинформации, являлся по вызову в райком комсомола. В конце октября даже был приглашен на собрание городского актива. Первый секретарь райкома партии Пуголовкин, принимавший участие в XIX съезде ВКП(б), делал доклад, рассказывал о своих впечатлениях. Самое же главное – он видел Сталина! При имени вождя все вставали и устраивали овацию. Вместе со всеми и я вскакивал с места и восторженно аплодировал.

В новый распорядок дня втянулся легко. Утром, едва успев позавтракать, мчался без передышки в город не дорогой, а ухабистой прибрежной тропинкой. На уроки не опаздывал никогда. После уроков своим свободным временем не злоупотреблял, уже не торопясь, возвращался домой. На камбузе меня ждал обед. В свободном классе делал домашние задания. А вечерами по укоренившейся привычке посещал семью Волковых.

Зимою часто бегал в школу на лыжах. Однажды в сильный мороз на бегу мне стало жарко, я сдвинул шапку на затылок и не заметил, как отморозил уши. Снова пришлось доктору надо мною потрудиться.

Заболотский и его замполит Яковлев были довольны моими успехами. Им ни разу не пришлось посетить родительские собрания.

В феврале произошел случай, о котором всегда вспоминаю с улыбкой. Но тогда было не до улыбок. Едва вернулся из города и направился на камбуз, как меня увидел командир взвода старшина Юдин и сказал, что меня приказано немедленно привести в кабинет начальника школы. В чем дело, он не знает, знает только, что приехала какая-то комиссия.

В кабинете начальника школы были двое: подполковник Заболотский и плотного телосложения капитан первого ранга. Батя сразу же вышел, а каперанг усадил меня в кресло, сел напротив и стал расспрашивать, как живу, какие у меня отметки в школе, есть ли друзья, не обижает ли кто-нибудь меня. Я коротко отвечал и никак не мог понять, зачем он задает эти ерундовые вопросы.

«Значит, у тебя все хорошо, а вот скажи: Заболотский тебя бил?» – неожиданно спросил он и строго уставился мне в глаза.

«Если задает этот вопрос, значит, знает, но как же я могу выдать Батю?!» – застучало в мозгу. Горло перехватило. Я не отвел глаз, но лишь отрицательно помотал головой.

«Что молчишь? Я же тебя спрашиваю, – улыбнулся каперанг. – Нам известно, что он тебя бил. Отвечай, только не ври».

«Нет, он меня никогда не бил», – сказал я.

«Значит, люди врут, наговаривают, по-твоему? Для чего?»

«Не знаю, товарищ капитан первого ранга. Но он меня не бил никогда», – твердо произнес я.

«Ладно, можешь идти. Мы разберемся», – сказал каперанг и встал.

Я вышел из кабинета и осторожно прикрыл за собою дверь. В маленьком коридоре перед окном стоял Заболотский.

«Ну что, заложил своего Батю?» – негромко спросил он.

«Никак нет!» – так же негромко доложил я.

Батя развернул меня, легонько шлепнул ладонью по тощему заду, и я радостно взлетел по трапу на камбуз.

День 5 марта 1953 года стал черным днем календаря: умер Сталин. Из репродукторов звучала траурная музыка. В школе были отменены уроки. Нас построили на линейку. Все были растеряны, плакали. Выступающие преподаватели и кто-то из

райкома не могли сдержать рыданий. Я держался изо всех сил: моряку не пристало лить слезы даже в такой трагический день.

Школа юнг была одета в черный креп. Мрачное настроение объединило и командиров, и воспитанников. Никто не представлял, что будет со страной, со всеми нами без великого вождя…

Седьмой класс я окончил успешно. Жаль было расставаться с учителями, со своим седьмым «б». На память осталась фотография: нас, ребят, всего четверо, остальные – девочки. В центре – строгая учительница географии, классный руководитель Евдокия Прокофьевна Исаева. Ни с кем из них в дальнейшем не пришлось встретиться. Так распорядилась судьба…

Невыразимо грустно было прощаться со школой юнг. Как повезло, как несказанно повезло, что я очутился под ее крышей! Она стала для меня на целых три года родным домом. Вместе со всеми я постигал премудрости морских дисциплин, возмужал, стал осознавать себя личностью. Наши замечательные командиры и преподаватели сумели незаметно привить нам, вчерашним детям, обездоленным войной, очень важное: Честь, Достоинство, Совесть, Порядочность навсегда стали для нас не абстрактными понятиями. Прошли десятилетия, многое память не сохранила, но не забылось все, что было в ранней юности, когда на погонах красовалась буква «Ю», а на ленточке бескозырки оттиснуто золотом: «Школа юнг ВМС».

Рб 122

О времени прекрасном и тревожном
Твердит мне сердце, что ему года…

Вадим Шефнер

В конце июня 1953 года меня распределили в Отдел вспомогательных судов ленинградской военно-морской базы. Эта организация подчинялась военному ведомству. Весь личный состав кораблей был поголовно вольнонаемным, лишь начальник всего Отдела имел погоны капитана третьего ранга.

Меня определили матросом – рулевым-сигнальщиком на большой, только что построенный в Чехословакии буксирный теплоход «Сибиряков». Вскоре он стал именоваться просто: «РБ 122». Рядом со старыми, прокопченными буксирчиками, работавшими на угле, наш буксир выглядел сказочным красавцем, впрочем, как и его двойник «РБ 123». Над покрашенным шаровой краской корпусом возвышались белоснежные надстройки, увенчанные рулевой рубкой с обзором на все стороны – на 360 градусов! Изящный штурвал – с электроприводом, легко подчиняющийся рукам рулевого. Два главных двигателя по 400 лошадиных сил обеспечивали и приличный ход, и возможность тащить на буксире тяжелые суда.

Обосновался я в маленькой уютной двухместной каюте, куда надо было спускаться с верхней палубы по крутому трапу. В распоряжении команды был душ, автоматическая стиральная машина и, конечно же, камбуз с кают-компанией. Команда оказалась разношерстной и по возрасту, и по образованию, и, конечно же, по характерам.

Капитан Илья Семенович Смирнов – высокий, сухощавый, профессионал высочайшего класса, в чем я смог убедиться, стоя за штурвалом и слушая его четкие команды. За долгие годы капитанства он до мелочей изучил все хитросплетения течений Невы, особенности Финского залива, фарватеры, расположение маяков, створов, бакенов, оградительных вешек. За глаза его величали Верблюдом. Вот только был он человеком настроения: сегодня – сама доброжелательность, отеческая снисходительность, завтра – хмурая, не по делу придирчивость, стремление уколоть, даже унизить. Я это довольно скоро почувствовал. Однажды в очередной раз мы направлялись в

Кронштадт по Морскому каналу. За штурвалом стоял мой тезка Борис Аблов – здоровенный, мрачный парень. Я отдыхал после вахты, как вдруг меня вызвали на мостик. Едва поднялся по трапу, как капитан приказал сменить Аблова. Ничего не понимая, я встал за штурвал, к которому уже успел привыкнуть. В молчании прошло минут десять.

Аблов, как всегда смурной, топтался рядом.

«Вот как надо вести судно, – обращаясь к нему, раздраженно сказал капитан. – Учись у молодого, посмотри, какой ровный кормовой след, не то, что у тебя!»

Я понял, что попал в неприятную историю, из которой достойного выхода не было. В рубке повисла наэлектризованная тишина. Прошло не менее получаса, когда заявился поговорить с капитаном старший механик Коровяченко – тучный, ироничный, любящий повторять одну и ту же фразу: «Наше дело техническое, обосрался – и стой!» С его приходом тяжкая атмосфера разрядилась. Аблову было велено встать к штурвалу, а я с облегчением скатился по трапам.

Моим приятелем чуть ли не с первого же дня стал добродушный, обстоятельный деревенский парень, которого я стал называть Ляпыч, поскольку он меня научил, как надо правильно брить подбородок – «ляпу»: непременно «в задир», чтобы кожа была гладкой. Он и веселый электромеханик Валя Соловьев вечером защитили меня от кулаков Бориса Аблова. Мы столкнулись с ним на верхней палубе, и он без объяснений молча врезал мне по скуле. Хорошо, что я мгновенно среагировал – его кулачище лишь вскользь задело меня. Мячиком отлетел я к фальшборту и здорово ударился спиной. Ляпыч и Валя мигом оттащили от меня разъяренного Аблова, а когда из моего рассказа поняли, чем я разозлил своего сменщика, долго объясняли ему, что я тут совершенно не виноват, а причина конфликта – характер капитана и, значит, надо с ним, а не со мной объясняться кулаками. До сознания Аблова с трудом, но все же дошли их аргументы, он молча похлопал меня по плечу, но идти расправляться с капитаном остерегся. А моя скула еще долго болела, особенно во время еды.

Обычной стоянкой в Ленинграде была набережная Красного флота, невдалеке от дебаркадера, где помещалось высокое начальство. Забавно, но официальный адрес для всех экипажей был весьма оригинальный: набережная Красного флота, против дома 52. Прописываться в родной комнате на Измайловском проспекте я не спешил: там обитал мой брат Лёня с молодой женой Верой. Жизнь на РБ 122 меня вполне устраивала.

Прошло немного времени, и я, по признанию капитана, стал неплохим рулевым. Да я и сам ощутил, что, стоя за штурвалом, чувствую его живой нерв. Особенно нравился процесс швартовки, когда наш красавец буксир лихо, с ювелирной точностью касался причала. Заведены швартовы, замолкает рокот двигателей, вслед за капитаном неспешно схожу с мостика по гулкому металлическому трапу, делая вид, что не замечаю, как нам с берега приветственно машут руками и даже что-то кричат многочисленные зрители.

Все чаще стал замечать среди них симпатичную девочку. Ну, явно же мне улыбается она. Однажды, набравшись храбрости, сошел на берег и заговорил с нею. Но она лишь робко улыбалась. Поразил ее взгляд – глубокий, пристальный. Я спросил, как ее зовут, она все так же молчала, лишь поднесла руки к губам. И тут я понял, кто она, ведь рядом находилась специальная школа для глухонемых. Я взял ее за руку, мы дошли до моста Лейтенанта Шмидта, вернулись к причалу и расстались, улыбаясь друг другу. Мне было бесконечно жалко эту несчастную девочку. Еще несколько раз мы встречались у причала, медленно прогуливались вдоль набережной и возвращались. Как-то нам преградили путь два глухонемых парня и недвусмысленно дали мне понять, что не одобряют мое с нею общение. Она что-то быстро «на пальцах» объясняла им, лицо ее при этом выражало гнев и возмущение.

Дней через десять во время стоянки мы с матросом Валей Ларионовым решили навестить его родных на Сенной площади. Едва дошли до Базового матросского клуба, как на нас наскочили несколько воинственно настроенных глухонемых. Мы вынуждены были накинуть на руки флотские ремни с бляхами. Туго бы нам пришлось, но на наше счастье приблизился трамвай, вожатый, видимо, оценил обстановку, притормозил, мы вскочили на подножку последнего вагона, и трамвай помчал нас в сторону Поцелуева моста.

Я не знаю, почему, но больше эта милая девочка ни разу не появилась на набережной.

У меня появился хороший друг Стасик Федонин, матрос небольшого буксира. Был он года на два старше меня, тоже из бывших юнг. Все свободное время от вахт мы проводили вместе. Ходили в кино, иногда на танцы в «Мраморный» – Дворец культуры им. Кирова, знакомились с девочками, но чаще всего просто так, без цели, гуляли по городу. Любили «прошвырнуться» по левой стороне Невского проспекта от Литейного до улицы Восстания. Этот отрезок пути назывался Бродвеем, Бродом. Здесь

фланировали молодые, хорошо одетые девушки и парни. Вот несколько ребят пристраиваются к девчоночьей стайке, о чем-то переговариваются, разбиваются на пары и медленно шагают «под ручку», не теряя друг друга из вида.

Мы со Стасиком уже идем в сторону Адмиралтейства. Непременно заходим в «Булочную» на углу Невского и улицы Толмачева. Здесь продается самая вкусная газированная вода с сиропом. Не было случая, чтобы мы миновали телефонную станцию на улице Герцена, рядом с Аркой главного штаба. Стасик заказывает Москву, где живет его мама Евгения Петровна. Он так ее любит, так скучает по ней, так беспокоится о ее здоровье, ведь сердце у нее слабое, а живет она одна… Прошли долгие годы, а я все помню тот московский телефон: К 7-87-92.

У меня был адрес моей давней школьной симпатии Инны Рихтерман. Она переехала с родителями из Тайцев в Ленинград. После долгих колебаний, отутюжив клёши и наваксив ботинки, отправился на улицу Чайковского. Вхожу в парадную, поднимаюсь на второй этаж. Слева – ее квартира. Звоню. Дверь открывает женщина, видимо, мать Инны. Называю себя, спрашиваю, дома ли Инна. Женщина выходит на площадку, придерживая дверь. Помолчав, тихо говорит, что дома Инны нет, что у дочери свой круг общения и что мне не следует сюда приходить. Дверь передо мной закрывается.

Не помню, как оказался на улице. Большего унижения еще никогда не испытывал. Шел, не понимая, куда несут меня ноги. Очнулся у Литейного моста. По набережной добрел до Летнего сада, сел на скамейку напротив памятника Крылову и стал постепенно соображать. Конечно, она права, никакая мы не пара: Инна из хорошей семьи, ее дядя – прокурор, она красивая, у нее свои знакомства, ухажеры, интересная жизнь, а я – кто? Простой матрос, перспективы – туманные… Она этой осенью пойдет в десятый класс, а у меня за плечами только семь классов… Стоп! Надо как-то выплывать, надо учиться… Но как? Вахты, плаванья, хоть и недальние… А с мечтами о дальних плаваниях, заграничных портах уже успел распрощаться: не пустят туда сына солдата, пропавшего без вести. В среднее мореходное училище в Ломоносове, если подам документы, не примут из-за проклятой колобомы. К тому же стал замечать, что читаю лучше правым глазом, зато левый глядит вдаль еще вполне сносно. И нет надежды на улучшение в будущем. Скорее – наоборот. Хорошо, что сейчас не проверяют зрение: у рулевого оно должно быть стопроцентным… Нет, надо выплывать. Надо! Для начала – попытаться окончить школу рабочей молодежи. Вдруг да

получится?.. Все же спасибо матери Инны за прямоту, за то, что показала мне мое место… Надо барахтаться, бороться, надо выплывать. Самому. Тут никто мне не может помочь.

Мысли пришли в полный порядок, окружающие предметы снова обрели свою реальность. Солнышко светило сквозь густые кроны деревьев, а Иван Андреевич задумчиво, с пониманием глядел на меня.

(Минуло с той поры более пятидесяти лет. Известная журналистка, умница, талантливая художница Нэлли Машенжинова однажды пригласила меня в гости. Мы сидели с нею за аппетитно накрытым столом: многие коллеги знают, что она обладает и незаурядными кулинарными способностями. Раздался звонок, хозяйка сказала, что это для меня приятный сюрприз, и пошла открывать дверь. Вернулась вместе с незнакомой мне миловидной женщиной, которая сразу же спросила, узнаю ли я ее. Я честно признался, что нет, не узнаю. «Не напрягайся, Боря, – улыбнулась она. – Я – Инна Рихтерман». Ну как я мог представить, что через десятилетия вот так, при таких обстоятельствах повстречаю ту, в которую «втрескался» в пятом классе!

Разговор за столом сразу стал общим, веселым – о жизни, о творчестве знакомой московской поэтессы, о домашних животных, о живописи, которая совершенно неожиданно вошла в судьбу радушной хозяйки, о родственниках.

Так было славно, уютно, естественно. Узнав, что мама Инны жива, я попросил передать ей привет и благодарность за то, что она когда-то устроила мне «от ворот поворот» и – так уж получилось – невольно подтолкнула к необходимости сделать жизненно важный решительный шаг. И я подробно рассказал памятную для меня историю. Инна была явно смущена и расстроена. Она никак не хотела верить, что все так и было на самом деле в том далеком пятьдесят третьем.

Уже потом, возвращаясь домой, я подумал, что не стоило заводить этот разговор, ведь мать – это святое, никому не хочется слышать что-то неприятное о самом родном человеке).

Уговаривать Стасика учиться не пришлось. Он сразу же согласился, тем более что имел передо мною преимущество: за его спиною уже было восемь классов. Терять нам было нечего, а попытать счастья, безусловно, стоило. Первого сентября мы стали учениками вечерней школы рабочей молодежи на углу Большого проспекта Васильевского острова и 14 линии. Он пошел в девятый, а я в восьмой класс.

На буксире новость встретили скептически. Мыслимое ли

дело: ты где-то далеко от берега стоишь на ходовой вахте, а в это же время должен сидеть за партой! Я отмалчивался, старался не замечать едких шуток. Хорошо, если мы стояли у городского причала и я был свободен от вахты. И совсем худо, когда, например, приходилось добираться на поезде из Ломоносова до Ленинграда и от Балтийского вокзала на автобусе № 60 до Васильевского острова. Стало обыденным делом меняться вахтами со сменщиками. Я за них стоял за штурвалом, они за меня дежурили у трапа на берегу. Уставал страшно, далеко не всегда удавалось посещать занятия, на уроки опаздывал, домашние задания выполнять не успевал. Бывало и так, что прямо за партой засыпал. С гуманитарными предметами ладил легко. Сложнее было подружиться с математикой, химией, физикой. Через много лет случайно в автобусе увидел учительницу химии, поздоровался и напомнил ей о себе. Она узнала меня и вспомнила, как я у доски объявил, что алюминий это металлоид. Мы посмеялись. Но тогда в школе было не до смеха.

Наконец-то стало легче: в конце ноября буксиру определили зимнюю стоянку у набережной лейтенанта Шмидта напротив Горного института. Здесь мы находились до конца апреля, когда Нева освободилась ото льда. Даже на ночной вахте, в промерзшей рулевой рубке, по-зимнему одетый, я корпел над учебниками. Чтобы согреться, вооружался широкой деревянной лопатой и очищал от снега прибрежную полосу длиной от форштевня буксира до кормы. А это ни много ни мало пятьдесят метров. Из школы возвращался поздно. На камбузе находил хлеб, луковицу, а то и «ржавую» селедку, поливал ее постным маслом, если оно имелось, и уплетал все это за милую душу. Надо было и следить за собою – что-то постирать, погладить, сходить в парикмахерскую, подкупить со скудной зарплаты съестного. Постепенно втянулся в этот напряженный распорядок своей жизни. Изредка навещал семью тети Лизы, заходил и к брату. Со Стасиком виделись в основном в школе. На развлечения времени оставалось крайне мало, а когда оно появлялось, ходили звонить его маме, иногда в кино, а также в гости к его девушке Лиле на 16-ю линию. У нее дома мы отпраздновали наступление нового 1954 года.

Как-то внезапно нагрянула весна, а с нею и начало навигации. Пришло время и последнего в этом учебном году школьного звонка. На буксире уже давно никто надо мною не подтрунивал, лишь одобрительно похлопывали по плечу, узнав, что я одолел восьмой класс. Стасик Федонин закончил девятый.

И, как оказалось, последний в его жизни…

Его буксир стоял у набережной Лейтенанта Шмидта. Стасик был вахтенным. Чтобы не тратить время впустую, читал книгу, присев на планширь фальшборта. В это время по Неве прошло какое-то судно, вызвав волну от винтов. Она докатилась до буксира, его качнуло, погруженного в чтение Стасика выбросило за борт. Плавать он умел хорошо, но беда в том, что при падении он сильно ударился головой о привальный брус. Его мгновенно утащило течением. Долго прочесывали дно водолазы, но так его и не нашли. Лишь через две недели тело Стасика всплыло в районе торгового порта. Для его опознания милиция обратилась ко мне.

В назначенный час я пришел в морг больницы на проспекте Москвиной. Едва оперативник ввел меня в холодное помещение, где рядами лежали трупы, мне стало не по себе. Стасик долго находился в воде, изменился так, что я с трудом узнал его. Не помню, как вышел из морга. Перед глазами все плыло, мне было плохо. Оперативник прислонил меня к стене, и я долго не мог отдышаться.

Похоронили моего друга на Большеохтинском кладбище. Из Москвы приехала его мама. Она была в полубезумном состоянии, я от нее не отходил ни на шаг, поддерживал под руку. Успокаивать ее было бесполезно. Да и какие тут можно найти слова… Я сам изо всех сил сдерживался, чтобы не зарыдать вместе с нею…

Тяжелое было прощание на вокзале с Евгенией Петровной. Прикладывая платок к глазам, она сказала, что мы со Стасиком поразительно похожи, у нас одни и те же движения, походка, манера говорить. Пытаясь улыбнуться, она гладила мою голову и все просила, чтобы я обязательно приехал к ней в отпуск. Я пообещал.

Очень мне хотелось позвонить в Москву по врезавшемуся в память телефону К-7-87-92, но так и не смог решиться, боясь своим звонком разбередить еще кровоточащую рану матери Стасика.

В июле в Ленинград прибыл с визитом вежливости отряд шведских кораблей во главе с крейсером «Тре крунур». В те годы железный занавес намертво разделял народы социализма и капитализма. Визит шведских моряков стал событием международного масштаба. Нашему РБ 122 надлежало встретить «Тре крунур», ввести его в акваторию Невы и поставить на бочку невдалеке от моста Лейтенанта Шмидта. И без того образцово выглядевший буксир приобрел еще более респектабельный вид. Мы его заново покрасили, надраили палубы, тщательно

проверили состояние всех механизмов.

В команде внезапно появился новый человек, одетый, как и мы, в чистую робу. На его голове как-то нелепо, на уши, была надвинута фуражка. Держался он особняком, ни с кем не заговаривал. Капитан объяснил нам, что товарищ из КГБ, у него своя работа, приставать к нему с разговорами не следует. Мы и сами догадались, откуда взялся этот человек, и инстинктивно сторонились его, даже не пытались узнать, как его зовут.

Все прошло без сучка, без задоринки. Вот только не знаю, заметили ли шведы что-то интересное для себя, когда мы тащили их на буксире мимо судостроительного Балтийского завода. На стапеле достраивался крейсер. Его никак не могла скрыть возведенная со стороны Невы глухая ограда. Особенно странно выглядели поставленные для маскировки высокие трубы. Шпионскому глазу они должны были свидетельствовать, что строится большое, сугубо гражданское судно. С высоких надстроек «Тре крунур» наверняка все хорошо просматривалось.

На набережных ленинградцы горячо приветствовали появление большого корабля под шведским флагом. Все дни пребывания крейсера наш буксир выполнял нетрудную работу: переправлял на берег шведских моряков, доставлял на его борт официальные делегации и организованные группы экскурсантов.

Однажды поздним вечером мы в очередной раз отходили от крейсера. Я был свободен от вахты, стоял на нижней палубе. Швартовы были отданы, как вдруг к моим ногам упал небольшой сверток. С высокого борта крейсера мне помахал рукой шведский моряк. На нашей палубе никого, кроме меня, не было. Мы уже подходили к дебаркадеру, когда я решился поднять сверток. В нем оказался блок сигарет. Оглядевшись, убедился еще раз, что я один, а новый член экипажа, видимо, куда-то отвлекся. В каюте открыл иллюминатор, достал из покрытой целлофаном пачки сигарету и с удовольствием затянулся легким, ароматным дымком. На следующий день всех угощал диковинными сигаретами, рассудив, что лучше всего широко обнародовать то, что случилось со мною накануне. А дядю в надвинутой на уши фуражке по вполне понятной причине угощать не стал…

Вскоре после проводов шведской эскадры я взял отпуск и уехал в Москву, предварительно позвонив Евгении Петровне. Жила она в центре города, на улице Чаплыгина, занимала небольшую комнату в густонаселенной коммунальной квартире. Встретила она меня радостно, все время старалась угостить чем-нибудь особенно вкусным. А я целыми днями бродил по столице. Сначала обследовал все станции метро (в Ленинграде они

появятся в следующем году). Затем не спеша обошел Красную площадь, выстоял большую очередь в Мавзолей, где тогда лежали рядом забальзамированные Ленин и Сталин. Мимо них проходили без задержки, подгоняемые строгим тихим голосом: «Проходите… Проходите… Проходите…» В центральном парке культуры и отдыха имени Горького покатался на каруселях, оглядел город с колеса обозрения. Два дня обитал в сказочных павильонах Всесоюзной выставки народного хозяйства. Домой возвращался вечером усталый, переполненный впечатлениями.

Одним из жильцов коммуналки оказался актер. Он вручил мне два билета на спектакль Центрального детского театра по пьесе Михаила Светлова «Двадцать лет спустя». В театр я пошел с симпатичной девочкой из этой же квартиры. Пьеса нам очень понравилась, в ней звучали запоминающиеся, энергичные, полные неподдельной романтики песни:

Трусов плодила наша планета,
Все же ей выпала честь, —
Есть мушкетеры, есть мушкетеры,
Есть мушкетеры, есть!

Ну, как не откликнуться молодым сердцам на эти стихи! Сразу же врезались в память и строки из другой песни:

Сраженьями юность гремела.
И я обращаюсь к стране:
Выдай оружие смелым,
И в первую очередь мне!

Юные зрители по ходу действия вскакивали со своих мест, неистово аплодировали.

Так случилось, что на следующий день я вышел из «Пельменной» и обнаружил неподалеку МХАТ. Купил с рук билет и посмотрел спектакль. А какой спектакль, честно признаюсь, не помню. Помню только, что на меня он не произвел впечатления. Виною тому, без всякого сомнения, был мой крайне низкий культурный уровень: до того в театрах я никогда не бывал.

А вот настоящее потрясение испытал, едва войдя в зрительный зал Большого театра. Дыхание перехватило от невиданной роскоши, все вокруг сияло, блестело, ослепляло золотом и хрусталем. Здесь мне предстояло прослушать оперу «Евгений Онегин». Роман Пушкина я знал хорошо, поэтому сомнений не было, что все пойму. Билет у меня оказался не где-

нибудь, а в партере в середине одного из первых рядов! Вокруг – шикарно одетые зрители солидного возраста, не то, что в демократичном Центральном детском театре. Изо всех сил старался перебороть робость, казаться театралом, которому все здесь привычно и знакомо. Развернул программку, несколько раз вчитался в фамилии исполнителей, но лишь одна фамилия оказалась давно знакомой: Сергей Лемешев. Голос его звучал с патефонных пластинок, по радио, вся страна восхищалась кинофильмом «Музыкальная история», в котором Лемешев играл роль главного героя, шофера Пети Говоркова.

Все, что происходило на сцене, музыка Чайковского, голоса исполнителей, великолепные декорации оставили в памяти моей зарубку на всю жизнь. Горжусь, что слышал «живьем» волшебный, поистине золотой голос великого Лемешева. Кроме него особенно запомнился густой, мощный бас Огнивцева, исполнившего партию Гремина. Счастливый, оглушенный прекрасным, покидал я белоколонное здание Большого театра.

По-прежнему я пропадал в музеях, в парках, просто гулял по улицам Москвы. Все было интересно. Все в новинку. Тетя Женя меня ждала, кормила, и я мгновенно проваливался в сон. Для разговоров времени оставалось мало. Иногда тетя Женя вспоминала о счастливых годах, когда подрастал Стасик. Был он ласковым, послушным ребенком, не по годам серьезным и обстоятельным, хорошо учился, много читал, мечтал стать настоящим моряком, потому и подался в юнги, а она этому не воспротивилась. Вот и… Тетя Женя резко прерывала себя и, прихватив со стола тарелку, надолго выходила из комнаты. Возвращалась с обычной приветливой улыбкой, расспрашивала меня о жизни на буксире, кем хочу стать после окончания школы, о моих родственниках, друзьях.

Однажды вечером тетя Женя кормила меня ужином, подкладывала в тарелку аппетитные куски мяса, а я весело, в подробностях рассказывал, где сегодня побывал и что видел. Улыбаясь, она протянула руку, погладила меня по голове и вдруг закрыла лицо руками и зарыдала. Я не знал, что делать, что говорить. Но вот тетя Женя вытерла платком глаза и тихо сказала: «Прости, не обращай внимания. Это я так… Но как же вы похожи. Как похожи…»

Занятый до этого случая исключительно собой, я стал все чаще замечать заплаканные глаза тети Жени. Она по-прежнему была улыбчива, я постоянно ощущал ее доброту и внимание. Но в какой-то момент отчетливо осознал: в этой маленькой комнатке оказались рядом две судьбы: мальчишка, с восторгом

принимающий жизнь, и человек, потерявший самое дорогое в этой жизни, – единственного сына. Конечно же, тетя Женя искренне рада видеть меня, друга Стасика, но в то же время я – живое, каждодневное напоминание о трагедии.

Лишь еще раз, при прощании, она дала волю слезам, умоляла, чтобы я обязательно приезжал к ней в гости. Я обещал, но сдержать обещание было выше моих сил, лишь изредка ей звонил все по тому же, еще шестизначному телефону К-7-87-92.

(В конце августа 1970 года мы с женою возвращались домой из раскаленного солнцем Саратова. В Москве была пересадка на ленинградский поезд. Столица ошарашила нас неожиданным для этой поры холодом. Немилосердно хлестал дождь, дул пронзительный ветер, а мы были одеты по-летнему легкомысленно. Особенно продрогла Дина. До ночного поезда оставалась уйма времени. И тогда без предупреждения мы приехали к Евгении Петровне. Она радостно всплеснула руками, засуетилась, усаживая нас на давным-давно знакомую мне оттоманку, принесла из кухни таз с горячей водой, чтобы отогреть Дине ноги, укрыла ее своей шалью. Вкусная еда, чай окончательно привели нас в чувство, и под разговор мы не заметили, как пролетело время. Расставание было грустным: когда еще придется увидеться… Евгения Петровна настояла, чтобы Дина надела ее теплые чулки и нижнее (с начесом!) белье.

Эта встреча с мамой моего друга юности оказалась последней).

И опять беспрерывной лентой потекли ставшие привычными дни: вахты, школьные занятия, короткие часы отдыха, выполнение домашних заданий. Все время хотелось спать. Как и прежде, с трудом самостоятельно пытался осилить точные науки. Со злостью швырял учебники в угол каюты, но, остыв, снова принимался за постижение непостижимого.

С гуманитарными предметами у меня был полный порядок. Особенно любил литературу. Даже иногда позволял себе мальчишеское хулиганство. Зажмуриваюсь от стыда, вспоминая свое сочинение по роману «Отцы и дети», в котором небрежно написал: «Базаров совершенно справедливо говорил, что лучше камни бить на мостовой, чем позволить женщине завладеть хотя бы кончиком пальца». За это «совершенно справедливо» мне наедине мягко, иронично попеняла учительница литературы, классный руководитель Сара Ионовна Каро. Была она молода, скромна, незаметна, но вся преображалась, когда вела урок. Прислонясь спиной к теплой круглой печке, увлеченно, но без малейшей аффектации вела урок. Так рассказывала о героях

произведений, что они становились для нас не пресловутыми образами, «типичными представителями», но живыми людьми, близкими и понятными. Я еще больше полюбил литературу, не расставался с книгами. Сара Ионовна к каждому находила подход, знала, кто где работает, чем интересуется, планами на будущее. Однажды, объявляя отметки за очередное сочинение, похвалила меня и сказала, что после школы мне прямая дорога на филологический факультет ЛГУ, который сама окончила не так давно. Я недоверчиво улыбнулся: совсем не факт, что удастся получить хотя бы среднее образование. Впереди почти два года учебы, а потом самое главное – выпускные экзамены. А экзамены не только по литературе. Эти же слова мне пришлось повторить ей через некоторое время при других обстоятельствах, не в школе.

Во время зимних каникул начала 1955 года я влился в компанию молодых, развеселых приятелей. Ходили на танцы, знакомились с девчатами, посещали кинотеатры, устраивали дружеские пирушки. Весело летели дни, вот только частенько по утрам болела голова «после вчерашнего»…

Настало время впрягаться в обычный школьный режим, а я все не мог себя заставить взяться за ум. В самом деле, ребята весело, с присвистом живут, а я, как проклятый, тяну осточертевшую лямку. Один такой дурень на весь Отдел вспомогательных судов. И еще не известно, что из этой затеи с учебой получится. Так я размышлял над своей горемычной судьбиной, а дни шли за днями, в школу идти уже, казалось, бессмысленно, да и, по правде говоря, совестно: что я там скажу, чем оправдаюсь, ведь мы не в плаванье, вмерзший в лед РБ 122 спокойненько стоит против Горного института.

В один из сумрачных воскресных дней я лежал на койке в свой каюте и мрачно глядел на дверной иллюминатор. В него я накануне вклеил фотографию шикарной актрисы из индийского фильма «Ураган». Даже этот редкий фотопортрет не мог исправить поганое настроение. Идти никуда не хотелось, да и деньги в кармане не шибко шуршали. Вот так и валялся, ни о чем не думая, в каком-то полусонном состоянии.

Раздались шаги, вахтенный открыл дверь каюты и коротко сказал: «Здесь он». И ушел. А вошла… Сара Ионовна! Я бы, наверное, меньше изумился, если бы появился в моей скромной обители сам командующий флотом. Учительница моя улыбалась, видя мою растерянность и суетливое желание заправить койку, смахнуть со столика пару грязных стаканов и бутылку из-под портвейна. Она села на единственный стул, притопывая короткими сапожками-«румынками», и сказала, что до смерти

замерзла, разыскивая меня. Я тут же сбегал на камбуз, принес чайник с кипятком, всыпал заварку прямо в алюминиевую кружку, выложил из запаса начатую пачку печенья и несколько кусочков пиленого сахара.

Учительница с удовольствием пила чай маленькими глотками и, посмеиваясь, рассказывала о своем путешествии. А путешествие свое начала от моста Лейтенанта Шмидта. Подходила к вахтенному каждого корабля и спрашивала, не здесь ли служит ее ученик. Набережная длиннющая, кораблей – многие десятки, никто не знает какого-то Друяна. Морозец с ветерком донимает, но сдаваться не хочется. Так и дошла, окоченев, до самого конца набережной.

Все в классе уже знали, что ее терзает туберкулез. Это же надо, из-за меня, болвана, проделать путь, который не каждый здоровый человек может осилить! У меня не находилось слов. Сара Ионовна стала рассказывать, как в детстве любила зиму, катание на лыжах, как в студенчестве переходили по протоптанной тропинке заснеженную Неву от университета до Адмиралтейства. А университетские годы – самые счастливые, мне это еще предстоит узнать.

А я лишь мог повторить то, что говорил раньше о трудности учебы: математику, физику, химию нахрапом не возьмешь. Она заметила, что для филологии эти дисциплины не пригодятся, а в школе педагоги все же входят в положение рабочих людей, не бывают слишком уж строгими. Целых полтора года отучился, остается еще каких-то полтора года. Надо заставить себя учиться. В школу надо обязательно возвращаться.

Отогревшуюся учительницу я посадил в трамвай около Горного института и уже в хорошем расположении духа вернулся на буксир. В понедельник знакомой дорогой пришел на завод «Электроаппарат», где проходили занятия нашей школы. Костя Герасимец, с которым я всегда на уроках сидел рядом, обрадовался моему внезапному появлению. Сара Ионовна, как всегда стоя у печки и кутаясь в теплый платок, вела урок. О ее визите на мой буксир я не захотел никому говорить. А она наверняка рассказала своей подруге – учительнице английского языка Анжелике Пименовне. Эта необыкновенной, аристократической красоты молодая женщина стала особенно внимательна ко мне, старалась хоть как-то подтянуть мой чудовищный английский.

По Неве сплошным потоком неслись маленькие льдинки и ледяное сало. Большой лед уже прошел. Прошли благополучно на буксире и плановые испытания на стоянке. И вот теперь мы

направились в устье Невы на ходовые испытания. На мостике рядом с капитаном находился проверяющий. За штурвалом стоял мой сменщик, а я был готов по приказу прыгнуть с металлическим тросом в руках на стоящую на якоре бочку, продеть его в рым – толстое кольцо бочки, – мгновенно вернуться на борт и укрепить трос за кнехт. Дело нехитрое, но требующее сноровки и расчетливости в движениях. Было зябко, сильный ветер гнал низкие тучи. Но я был защищен от холода добротной телогрейкой, ватными брюками, на ногах были надеты кирзачи с портянками, на руках – теплые рукавицы.

Я не знал, что по приказу проверяющего капитан был объявлен условно убитым, а вместо него командование буксиром принял его помощник.

Раздалась ожидаемая команда: «Встать на бочку!» Окрашенная в красный цвет бочка стремительно приближалась. Вот она уже около борта. Прыгаю на нее, но трос не успеваю продеть в рым: бочка мгновенно уходит под корпус судна, а я остаюсь на плаву, выпустив трос из рук. Как потом оказалось, помощник капитана грубо ошибся: подошел к бочке не с подветренной стороны, а с наветренной. Вот я и попал в неожиданный переплет. Сильным течением меня отбросило от буксира.

Сначала воздух в ватной одежде поддерживал мою «плавучесть». Но очень скоро меня ощутимо потянуло вниз. Безуспешно попытался освободиться от ватника, стянуть сапоги. В отчаянии хватался за проносящиеся маленькие льдинки, старался двигать отяжелевшими ногами. Внезапно над собою увидел низкую корму родного РБ 122. Это капитан взял командование на себя, приказал спустить шлюпку, но что-то там заело, да и времени на эту операцию было в обрез. И тогда, маневрируя двигателями, он осторожно приблизил буксир ко мне. Из последних сил ухватился я за точно сброшенный спасательный круг. Не помню, как оказался на палубе.

С меня сразу сорвали одежду, но, конечно же, в аптечке не оказалось ни капли спирта для растирания. Тогда опытный боцман затолкал меня в душ. Сначала пустил ледяную воду. Потом чуть разбавил горячей водой, потом вода становилась теплее, еще теплее, потом пошла совсем горячая. Распаренный, улегся на койку и очень быстро под двумя одеялами заснул. Проснулся совершенно здоровым, даже ни разу не кашлянул. И только тогда испугался: все могло окончиться очень даже скверно.

Девятый класс остался позади. Годовые отметки оказались

вполне приличными. Как хорошо, что Сара Ионовна выдернула меня зимой обратно в школу! Кто-то радовался за меня, удивлялся моей настырности, кто-то по-хорошему завидовал. А были и такие, кто с ехидной усмешкой говорил: «Учись, учись, все равно дураком помрешь, ученый!»

Узнав, что мне осталось учиться год, капитан поинтересовался, куда я собираюсь поступать после десятилетки. Я откровенно ответил, что хочу учиться в университете. Мы были вдвоем в рубке, но Илья Семенович, как бы призывая свидетелей, направил на меня указательный палец и, ухмыляясь, возмущенно произнес: «Видали? Университет! Моя дочка два раз поступала в институт водного транспорта, а он – в у-ни-вер-си-тет! Ха-ха-ха!»

Больше я никому никогда не обмолвился о своей мечте, отделывался общими словами, если спрашивали о моих планах на будущее.

У нас появился новый боцман – высокий симпатичный человек Михаил Гусев. Приехал он из Ессентуков поступать в ЛГУ на отделение журналистики, но потерпел неудачу и, решив все же оформиться на заочное обучение, устроился на короткое время на наш буксир. Говорил, что у него уже есть практика работы в газете, но обязательно нужен диплом об окончании высшего учебного заведения. Лишний раз я понял, что поступить в университет мне будет неимоверно трудно. Надо готовиться заранее, уже сейчас. Начал снова штудировать учебники русского языка и литературы, читал и перечитывал классиков по школьной программе. Лишь изредка позволял себе сходить с приятелями в кино, на танцы, навещал брата, но чаще – семейство тети Лизы.

Приходилось бок о бок жить на буксире с самыми разными людьми. Одни оставили в памяти теплые воспоминания: Валя Ларионов, Ляпыч, Миша Мершин, Валентин Соловьев, Дина Алексеенко, Миша Гусев, второй помощник капитана Семен Лукич, который делал вид, будто не замечает, что я читаю на дежурстве у трапа, а то и дремлю, привалившись к переборке. Но были и типы вроде Бориса Аблова. Их я сторонился, даже побаивался.

Однажды летом на стоянке меня вместе с матросом лет тридцати отправили очищать стены танка – вместительной емкости для хранения питьевой воды. Через узкую горловину мы влезли внутрь и принялись за дело. Но работал в основном я. Напарник сначала лишь изображал деятельность, вяло орудуя скребком, а потом присел в уголок, сообщив, что от работы кони дохнут, а он еще хочет хорошо пожить. Затем во все горло, благо никто не слышит, начал распевать блатные песни о ворах, бандитах, дешевках-шалашовках. А когда перешел на частушки, я

даже работать перестал. Похабных частушек еще в деревенском детстве наслушался, но тут мужик распевал не о дролях, изменах, колхозных делах, а о лагерных порядках, о сволочах Берии, Молотове, Ворошилове и о самом Сталине! Я понял, что человек этот долго хлебал баланду в местах суровых и дальних.

«Что пасть разинул? – прервал пение напарник. – Не слыхал такого? Слушай, пока я жив, внимай, фраерок. И не вздумай стукнуть кому-нибудь. Понял? Да и кто докажет, чего я тебе пел, мы же тут вдвоем, верно?»

Я ошарашенно молчал. А потом снова принялся за дело.

При ежедневных встречах он или хмурил брови, или весело ухмылялся.

С моим ровесником Мишей Мершиным мы, как тогда говорили, покорешевались. Он недавно приехал из Москвы и устроился к нам матросом. Мне нравились его надежность, деликатность, улыбчивость, готовность при любых обстоятельствах прийти на помощь. А бросил он столицу и школу… из-за любви. Так случилось, что он всей душой полюбил свою учительницу. Чувство оказалось взаимным. Их резко осудили и педагоги, и родители. Об этой драматичной истории он мне как-то поведал взволнованно и со слезами на глазах. Помню, что звали ее Клава Нудьга. Он часто писал ей письма и очень скучал. Иногда я с ним или с Валей Ларионовым гулял по городу, как когда-то со Стасиком Федониным. Мы с интересом осматривали первые станции ленинградского метро. Всего десять лет прошло после войны, а уже появилась такая подземная красотища!

Первого сентября 1955 года пришел в школу уверенным, что непременно – кровь из носу! – окончу десятый класс. Как и раньше, моим соседом по парте был Костя Герасимец. К месту и не к месту он не забывал с гордостью утверждать, что в нем течет польская кровь. В доказательство даже подарил мне свою фотокарточку с надписью на непонятном языке. Парень он был добродушный, хорошо учился. Однажды я был у него в гостях. Жил он с мамой на Разъезжей улице.

В середине октября в Ленинград с визитом вежливости прибыл английский авианосец «Триумф». Размеры этого монстра впечатляли. Ни до, ни после я не видывал ничего подобного. Мы вместе с другими мощными буксирами осторожно и медленно провели его знакомым маршрутом, поставили на бочки посреди Невы, ниже моста Лейтенанта Шмидта. Задача РБ 122 была точно такой же, как и год назад, когда на этом месте стоял шведский

крейсер. Стоянка нашего буксира была напротив авианосца – у дебаркадера, на стороне Васильевского острова. У меня сохранилась фотография, сделанная кем-то с моста. На ней внушительный «Триумф», а справа, у берега – РБ 122. Спокойная Нева, мирная, тихая картинка, которую, казалось, ничто не может нарушить.

…Вечером зловеще завыл ветер с залива, низкие тучи, словно грязный брезент, заволокли еще недавно светлое небо, нагонная волна препятствует свободному течению Невы, она на глазах необыкновенно быстро разбухает. Вот уже затоплены спуски к воде, гранитная набережная становится ниже и ниже. Вместе с дебаркадером мы уже возвышаемся над берегом. Люди быстро бегут от берега, Нева уже выплеснулась на набережную, захлестнула трамвайные пути.

За всем этим я наблюдал с левого крыла капитанского мостика. Капитан только что поднялся по трапу и тревожно окликнул меня. Я оглянулся и обомлел: совсем недалеко увидел огромнейший корпус авианосца. Сильным ветром его сорвало с бочек и медленно понесло к берегу, прямо на нас. Эта махина могла раздавить буксир, как скорлупку. И в эти короткие минуты свое веское слово сказал старший механик Коровяченко. Для запуска вспомогательного и двух главных двигателей необходимо время, а его-то как раз в запасе не было. Медленно, с натугой шли минуты, неуклонно надвигался «Триумф», вот он уже нависает над нами, выступом борта ломает, как спичку, нашу мачту. И – слава стармеху! – двигатели взревели, левым даем полный вперед, штурвал – до упора вправо, и мы умудряемся выскользнуть из смертельной ловушки. Кроме сломанной мачты, оказалось здорово помятым правое крыло мостика и на нем вдребезги разбит прожектор. За нами всей своей массой авианосец навалился на дебаркадер.

Развернулись перед самым мостом, маневрируя, со второго раза аккуратненько подошли кормой к англичанину и, приплясывая на волне, долго заводили буксирный трос. На полную мощь заработали двигатели, и… наш солидного диаметра трос лопнул, издав короткий, противный звук. Повторили маневр, но все окончилось с тем же результатом: не выдержал и запасной буксирный трос.

Нам что-то кричали с авианосца и размахивали своим тросом. Мы снова подошли к ним, приняли их трос. Он оказался настолько толстым, что пришлось немало повозиться, чтобы завести его в гак – специальный крюк буксирного устройства. Вот этот трос выдержал нагрузку. Мы с неимоверным трудом медленно принялись оттаскивать авианосец от берега. Подошли

еще буксиры, и соединенными усилиями «Триумф» удалось поставить на его место посредине Невы.

Ранним утром мы швартовались к причалу у набережной Красного флота. Вид у буксира был воинственный, как после боевого сражения. Мы сделали все, что могли, отбуксировали авианосец и чудом сохранили родной РБ 122.

По прошествии многих лет бессменный редактор «Седьмой тетради» журнала «Нева» Анатолий Петров с журналистским блеском написал о том наводнении. За нашей работой он с приятелями наблюдал с моста Лейтенанта Шмидта. («Нева», 1999, № 4).

Навигация завершилась благополучно. Однажды вечером на стоянке капитан пригласил меня в свою каюту. Был Илья Семенович в хорошем расположении духа, расспрашивал об учебе, что я думаю делать после окончания школы. Помня наш предыдущий разговор на эту тему, отвечал уклончиво, что еще не определился, время покажет.

Неожиданно капитан спросил:

«Красные штаны о тебе интересовался у нашего начальства. Уж не родственник ли он тебе?»

«Какие красные штаны?» – в полном недоумении спросил я.

«Обыкновенные генеральские штаны – с красными лампасами, – улыбнулся Илья Семенович. – Уж не в родстве ли ты с ним состоишь?»

Я сообразил, что владелец «красных штанов» – Федор Алексеевич Остапенко и в тон капитану дипломатично ответил:

«Он точно такой же мне родственник, как и Вы, только с Вами я вот уже почти три года каждый день общаюсь».

«Ладно, иди себе… А я дал о тебе хороший отзыв», – на прощанье сказал капитан.

Все острее стал ощущать, что мое зрение ухудшается. Выручал приобретенный опыт, район плавания досконально изучен, я хорошо усвоил, где располагались буи, створы, вехи. Вот только в ночные ходовые вахты было сложнее. Приходилось особенно напрягаться, всматриваясь вдаль, чтобы не прозевать появление ходовых огней встречных кораблей, проблесковых буев, маяков. Хорошо, что левый глаз работал и за себя, и за правый. Зато при чтении он бастовал, перекладывая обязанности на правый глаз. Идти в поликлинику к офтальмологу мне и в голову не приходило. А если бы и пошел, от него узнал бы то, что и сам хорошо знал. Оставалось пережить зиму, постараться окончить школу и поступить в университет.

Мысленно я был уже готов проститься со ставшим моим домом РБ 122. Но произошло это несколько раньше, чем ожидал.

В середине мая 1956 года я простудился и несколько дней отлеживался у Шуваловых. Выздоровев, приехал на набережную Красного флота, но там не обнаружил своего РБ 122. На дебаркадере диспетчер сказал, чтобы я явился в район яхтенного клуба в устье Малой Невки, где определена временная стоянка буксира. По приказу командования он передан в распоряжение спортивного комитета: в эти дни проходит парусная регата, и РБ 122 с застекленной на все четыре стороны рулевой рубкой идеально подходит для спортивных судей.

Вот это сюрприз! Яхты соревнуются, судьи судят, а команда, отдыхает целыми днями. Недурно! Такая курортная жизнь мне на руку: буду продолжать усиленно готовиться к экзаменам.

Утром заступил на вахту. Вскоре на борт прибыла группа судей, и мы взяли курс на Финский залив. Справа проплывал величественный стадион имени Кирова.

В этих местах наш буксир ни разу не был. Дежуривший второй помощник капитана Семен Лукич мне полностью доверился и по каким-то своим делам спустился с мостика.

Ярко светило солнце, играло ослепительными зайчиками на водной глади, мешало глазам сориентироваться. Вешку ограждения фарватера я не разглядел, оставил ее справа по борту. На полном ходу буксир взлетел на намытую рекой песчаную косу. Судьи от неожиданности не смогли удержаться на ногах. Прибежал на мостик перепуганный Семен Лукич. Дали задний ход, но буксир даже не пошевелился: сели мы капитально. Хорошо, что под нами была песчаная коса и корпус не получил пробоины.

Мимо проходил небольшой буксирчик. Мы его позвали на помощь, но, как он ни старался, сдернуть нас с мели не сумел.

Случилось то, что когда-то должно было случиться: дало себя знать мое зрение. Жаль, что подвел под монастырь хорошего человека – помощника капитана. Он был уверен, что виною всему просто-напросто моя невнимательность. Я, само собой, получу по заслугам. А вот его ждут крупные неприятности.

Вечером прибыл мощный буксир, вытащил нас на фарватер, и мы своим ходом пришли на свое законное место у набережной Красного флота.

Эту ночь от пережитых волнений почти не спал. Ранним утром вышел на берег и побрел куда глаза глядят. Очнулся на Московском проспекте, недалеко от Фрунзенского универмага. Мимо с шипением прошли поливальные машины, прохожих

становилось все больше и больше. Вот уже принялись за дело расклейщики газет. Я подошел к стенду, и мой взгляд остановился на короткой спортивной информации. Репортер сообщал, что очередной день Балтийской парусной регаты начался весьма необычно: судейский корабль… сел на мель.

…Оправдываться перед начальством я и не думал. Да и как оправдаешься, если кругом виноват! Лишь твердо заявил: указание второго помощника капитана оставить злополучную вешку слева не расслышал из-за того, что в рубке было много народу. А был ли Семен Лукич на мостике во время аварии, никто даже не спросил.

Наказали меня с максимальной строгостью: стал я матросом второго класса. Главное – пришлось распрощаться с красавцем РБ 122 и перейти на маленький черномазый буксирчик. Впрочем, грустить мне не пришлось, я сразу же ушел в очередной отпуск. К тому же мне еще полагался и отпуск на период выпускных экзаменов в школе, и отпуск для поступления в университет.

По утрам, едва перекусив, на трамвае доезжал до Московского парка Победы. В те годы он не был столь многолюден, как сейчас. Я облюбовал один из маленьких островков. Добирался туда очень просто: переплывал узкую протоку, держа над головой одежду и пару учебников. Никто мне не мешал, до вечера читал и перечитывал учебники и пособия. От усталости и голода начинала кружиться голова. Снова переплывал протоку и ехал к тете Лизе. По ее настоянию я поселился у нее.

В семье Шуваловых произошли два события: старшая дочь Люба вышла замуж и жила у мужа в Климовом переулке, а с детства обожаемый мною Саша уже давненько развелся с первой женой и теперь в его комнатке поселилась очень милая, приветливая, хозяйственная женщина Валентина Михайловна – полная тезка младшей дочери тети Лизы. Сама же тетя Лиза души не чаяла в новой невестке.

В конце июня я получил вожделенный Аттестат зрелости. Радостное, приподнятое настроение не покидало меня. Предстояло сделать последний рывок. Я уже знал, что для поступления в университет надо сдать пять экзаменов. Русский язык, литературу, историю, географию я должен одолеть, а вот английский, несмотря на старания Анжелики Пименовны, у меня все же здорово хромал.

Вспомнив о том, что мною интересовался генерал Остапенко, пришел на канал Круштейна. Вахтенный доложил обо мне кому-

то по телефону, и я, волнуясь, поднялся по знакомой лестнице на второй этаж круглого здания. Почти сразу меня ввели в кабинет Федора Алексеевича.

Он был такой же, как и прежде: большая голова, мешки под глазами, внимательные, добрые глаза. Генерал вышел из-за стола, обнял за плечи, усадил рядом с собою на диван.

«Помню, как ты когда-то пришел ко мне, маленький, тощенький, с веревочкой вместо ремешка на сандальке. А теперь вон какой – взрослый, серьезный человек, – засмеялся он. – Ну, рассказывай о своих делах».

Я сказал, что пришел лишь доложить о получении Аттестата зрелости, поблагодарить его за все, что он сделал для меня, и что я никогда не забуду его доброту.

Федор Алексеевич был растроган. Он сказал, чтобы и впредь я сообщал ему о своих успехах, а он уверен, что успехи у меня обязательно будут. Теперь же мне надо готовиться к поступлению в любое ленинградское высшее военно-морское училище, при необходимости он постарается мне помочь.

У меня не хватило духу сказать, что военно-морская карьера мне не светит и что я строю совершенно другие планы на будущее…

Прошло несколько дней, и я принес в приемную комиссию ЛГУ заявление с просьбой допустить меня к экзаменам для поступления на отделение журналистики.

Меня пригласил в свой кабинет заместитель декана филологического факультета Петр Андреевич Дмитриев и сказал, что ознакомился с моими документами, что я один из немногих абитуриентов, у кого за плечами жизненный опыт, и что он всей душой за то, чтобы я стал студентом. Однако у журналистов очень уж большой конкурс, и он рекомендует мне перенести документы на отделение русского языка и литературы. А если я успешно сдам вступительные экзамены и буду хорошо учиться, он дает слово, что переведет меня на журналистику после первого семестра. Естественно, я сделал так, как он посоветовал.

Невероятно, но мне удалось «настрелять» 24 из 25 баллов! Четверку получил на последнем экзамене по английскому языку. С радостью нашел я свою фамилию в вывешенном на всеобщее обозрение списке новоиспеченных студентов-русистов.

(Через полгода первую сессию мне удалось сдать на повышенную стипендию. Петр Андреевич был готов перевести меня на отделение журналистики, но я, поблагодарив его, предпочел отказаться: мне было интересно учиться на русском отделении).

Первое, что я сделал, прописался в комнате, где родился, – на Измайловском проспекте. Восторга у брата и особенно у его жены Веры это не вызвало. Но другого варианта не было, и я принес к ним свои вещички.

До начала занятий оставалось еще несколько дней, когда я решился зайти к генералу Остапенко.

Федор Алексеевич вышел мне навстречу и весело произнес:

«Вижу по лицу: новости хорошие – поступил. Ишь, гордец, все сам да сам. Вырос, уже не хочешь, чтобы тебе помогали. Ну, в какое училище поступил?»

В горле моем застряли приготовленные заранее слова.

«Нет, не в училище, – робко начал я и, видя крайнее недоумение в лице генерала, промолвил: – В университет на филологический факультет я поступил».

Долго и сбивчиво говорил я о своем зрении, о проклятой колобоме, о том, что я виновник аварии РБ 122 и меня поделом перевели на другой буксир матросом второго класса, а в университет давно решил поступать, только не решился об этом признаться в прошлый раз.

Неожиданно генерал положил руку на мое плечо и сказал:

«Ну что ж, Боря, я так хотел видеть тебя флотским офицером, но не получилось. Понимаю, тут ничего не поделаешь. У тебя теперь другая, штатская жизнь. А меня не позабывай, хоть изредка звони старику».

Прощаясь, Федор Алексеевич обнял меня и проводил до дверей.

Медленно шел я по набережной канала и как бы со стороны видел на этих гранитных плитах себя тогдашнего, тринадцатилетнего, не ведавшего, что ждет меня встреча с замечательным человеком – генералом Остапенко, который примет отеческое участие в моей судьбе.

Вместе с друзьями

И друзей позову, на любовь свое сердце настрою,
А иначе зачем на земле этой вечной живу.

Булат Окуджава

Вместо первой же лекции нас отправили «на картошку» – в Лужский район, в деревеньку с ласковым названием Замошье. Здесь мы все сразу же перезнакомились, почувствовали себя единой студенческой семьей, дружно работали на колхозных полях. На третий день меня вместе с Игорем Бузиновым послали в лес обрубать сучья со спиленных елей. Неловкое движение – и я слегка разрубил себе ногу. Обратно в деревню Игорь нес меня на закорках.

Руководитель нашего студенческого коллектива, преподаватель кафедры физкультуры Иван Алексеевич, не слушая возражений, привез меня на колхозной машине в Лугу. В местной больнице обработали, перевязали мою рану и отпустили с миром. Машину надо было ждать еще пару часов. После короткого совещания решили попить пива. Иван Алексеевич легко, как ребенка, взгромоздил меня на свою могучую спину профессионального борца, и мы двинулись на поиски вожделенного заведения. Оно оказалось поблизости. По крутой лестнице спустились в полуподвал, где удивленно и восторженно встретили нас любители пенного напитка. В Замошье мы прибыли вечером в самом распрекрасном настроении.

Возвращаться в Ленинград не хотелось: стипендия была впереди, а дома ждали косые взгляды жены моего брата. На общем совете было решено оставить меня, бедолагу, в качестве кашевара в избе, где обитала небольшая команда мальчишек. Пока все работали, я прыгал на одной ноге у плиты, обжигаясь и матерясь. Помогала мне советами старушка-хозяйка. Ребята были вполне довольны моими кулинарными стараниями. Но вот закончились запасы продуктов, выделенных колхозом. Надо было ехать за продовольствием на центральную усадьбу. В помощь я взял Лёню Левинского. Запрягли в телегу смирную лошадь и отправились в путь.

Лёнька был на целых четыре года старше меня. В университет он поступил после службы в частях береговой обороны вполне взрослым, сложившимся человеком, хотя внешне ничем от

остальных не отличался. Роста был невеликого, телосложения явно не спортивного, лицо – обыкновенное лицо, но зато глаза умные, пытливые, живые. В них так и бегали веселые, ироничные чертики. Добрый нрав, врожденная интеллигентность сразу же располагали к нему, магнетически притягивали.

На центральной усадьбе мы получили кроме всего прочего небольшую тушку поросенка и полтора десятка обезглавленных при нас цыплят. В разговоре на обратном пути я обмолвился, что не очень-то жажду готовить свинину. То ли дело курятина: быстро готовится, и вкус – пальчики оближешь. Лёнька это запомнил и вечером шепнул девочкам, что мы привезли вполне здорового поросеночка, а вот цыплятки уже перед насильственной смертью хворали. Конечно же, девчата поголовно проголосовали за то, чтобы им на съедение был передан поросенок.

Здесь, в Замошье, мне исполнилось двадцать лет. Вечером наша изба была переполнена. Долго и шумно рассаживались. Старт веселью неожиданно дали хозяева. Узнав, что у кого-то из нашей братии нарывает палец, бабка спросила лежащего на печи деда Ипата:

– А ежели на пальце надрыв, то что?

– Постять! – без промедления под общий хохот ответствовал дед.

Девочки торжественно водрузили на стол собственноручно испеченный пирог с ягодами. Шутки, веселый гомон, смех, песни, стихи и – ни капли спиртного! Галя Анопченко подарила мне забавное стихотворение от имени подружек, которое заканчивалось:

Поэтому мы тра-та-та, —
Ведь просто-напросто талантов
У нас немножко не хвата!

Лёня Левинский прочитал несколько своих стихотворений, которые понравились всем. В полной же мере я тогда еще не готов был их оценить. Лишь позднее в значительной степени благодаря Лёне я пришел к пониманию поэзии. «Мы больше кожею, чем чувствами, искусства чувствовали власть», – так писал Лёня о нас, тогдашних, молодых, жадных до жизни. Одно из стихотворений, прочитанных им в Замошье, навсегда врезалось в мою память:

Когда-то, в давние года,
В мороз или в теплынь,
Из камня капнула вода:

Тинь-тинь.

И побежала по камням,
Украв у неба синь,
На каждом камешке звеня:
Тинь-тинь.

И дальше вниз, и ниже с гор —
Ласкать лицо долин,
Чертить затейливый узор:
Тинь-тинь.

Все дальше: горизонт увлек.
Но… правда – как полынь:
Она забыла про исток,
А он… забыть ее не смог:
Тинь-тинь.

Эту лирическую миниатюру молодой поэт сумел наполнить глубоким смыслом, соединить в одно целое зрительный и звуковой образы. Через много лет я со слезами прочитал это стихотворение на похоронах своего друга.

Занимались мы с Лёней в разных группах: он – во второй русской, а я – в третьей, но после Замошья не мыслили себя друг без друга, на всех жизненных перепутьях находились друг от друга «на расстоянии вытянутой руки».

На протяжении всего первого курса Лёнька обходился без общежития. Знакомый его родителей Владимир Андриолетти предоставил бедному студенту свою комнату в коммуналке на Пятой Красноармейской улице. Сам же владелец столь роскошной фамилии жил у жены. Зная, как мне неловко стеснять брата с невесткой в родительской комнате, мой друг перетащил меня к себе. Мы с ним жили – нет, скорее обитали! – в огромной комнате с двумя окнами и высокими потолками. Главным ее украшением служил дивной красоты старинный изразцовый камин. За стенкой жил профессор египтолог с женою. Был он маленького росточка, с кругленьким животом и бородой клинышком. Между собой с легкой руки Лёньки мы называли его не иначе как Кит. Для этой неразговорчивой пары самым главным была тишина. Мы в этом смысле для них были идеальными соседями.

После занятий спешили к себе, обменивались впечатлениями о преподавателях, запоем читали газеты – еще бы, на дворе

набирала силу хрущевская оттепель, можно было говорить и публиковать то, что совсем недавно было недопустимо. С каким упоением мы прочитали и тут же перечитали в «Правде» рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека»! А сколько вечерами проглотили стихов самых разных поэтов! До сих пор в памяти остались строки Якова Акима, напечатанные в сборнике «Литературная Москва»:

Разве умирают, как в романах,
Пригласив парторга в кабинет,
Чтоб успеть о графиках и планах
На прощанье высказаться. Нет!

Просто смерть коварную подножку
Нашему товарищу дает.
Просто вызывают неотложку,
И она опаздывает. Вот…

Мы стали посещать занятия Литературного объединения. На одном из заседаний благосклонно обсудили и Ленькины стихи. Некоторые из них были опубликованы в феврале 1957 года в трогательно свернутом из полос газеты «Ленинградский университет» шестнадцатистраничном сборничке «Разведка». А еще через год – в солидном сборнике «Стихи студентов Ленинградского университета».

Руководили ЛИТО доцент (позднее – профессор) кафедры советской литературы Евгений Иванович Наумов и поэт Вадим Сергеевич Шефнер. В те годы все школьники страны осваивали русскую советскую литературу по учебнику, авторами которого были А. Дементьев, Е. Наумов, Л. Плоткин. Естественно, нам с Лёней сразу же захотелось познакомиться с поэзией Вадима Шефнера. Прочитав его только что изданную книгу под непритязательным названием «Стихи», мы навсегда стали верными поклонником творчества этого выдающегося художника слова. Кстати, редактором этой книги был Е. И.Наумов.

В разные годы, еще до нашего поступления в университет, членами ЛИТО были Владимир Алексеев, Василий Бетаки, Александр Крестинский, Вольт Суслов, Владимир Торопыгин, Олег Шестинский, Майя Борисова, Юрий Голубенский, Игорь Масленников, Галина Усова и другие. Все они оставили заметный след в отечественной литературе.

Среди нашей братии выделялся поразительно серьезный Илья Фоняков, чью первую книгу стихов «Именем любви» мы вскоре держали в руках и очень гордились успехами своего старшего

товарища.

Девчонки были готовы носить на руках Валентина Горшкова за его лирические стихи. Он был действительно талантлив, покорял изощренной «бальмонтовской» звукописью:

…И лодка врезалась шурша
Шершавыми боками
В густую стену камыша,
И шла, и шла, покамест
Он не сомкнулся позади,
И, выгнувшись упруго,
Как скакуна, не осадил
Непрошеного друга.
И я всё вижу, как сейчас,
Отчетливо и резко:
Восторг твоих счастливых глаз,
Светящихся до блеска.
Над нами небо – на двоих.
И нас на свете – двое.
И ты – моя, и у твоих,
Обрызганных волною,
Чуть-чуть озябших, без чулок, —
В загаре ли, в пыли ли,
Любимых мною стройных ног —
Головки белых лилий!

Очень жарко обсуждались стихи Арсения Семенова, Валентина Верховского, Бориса Половникова, Виля Петрицкого, Александра Лущика, Якова Гордина…

Ходили мы на многочисленные городские поэтические вечера. На них было шумно, полемично, всегда интересно. Сильные молодые поэты группировались в ЛИТО Горного института – Леонид Агеев, Владимир Британишский, Лидия Гладкая, Глеб Горбовский, Александр Городницкий, Олег Тарутин… С гордостью они именовали себя «ГЛЕБ гвардии СЕМЕНОВским полком». И это вполне закономерно: всех их выпестовал замечательный поэт и педагог Глеб Сергеевич Семенов. Горняки выпустили свой сборник стихов в 1956 году. Трагические венгерские события в октябре – ноябре заставили перепуганных партийных идеологов начать постепенно закручивать гайки, особенно обращая внимание на творческую молодежь. На комсомольском собрании студентка геофизического факультета Лидия Гладкая прочитала стихотворение, которое горячо восприняла аудитория, но которое

не могло не возмутить кураторов от Смольного:

Там красная кровь – на черный асфальт,
там русское «Стой!» – как немецкое «Halt!»
«Каховку» поют на чужом языке,
и *наш* умирает на *нашем* штыке.
А здесь – равнодушье (с тоской пополам)
тащит людей по ничтожным делам,
философы плачут над лужами водки,
на танцы спешат красюки и красотки.
А комсомольцы с унылым задором
фальшиво гнусят фестивальные хоры,
и, если не слышат соседи и теща,
скулят сопляки про Сенатскую площадь.
…«Аврора» устало скрипит у причала:
Мертвою зыбью ее укачало.

В следующем году весь отпечатанный тираж второго сборника горняцкого ЛИТО был сожжен в котельной института.

Через пятьдесят лет в музее Анны Ахматовой на презентации книги Олега Тарутина «Возвратиться к истокам любви» Александр Кушнер вспоминал те давние годы. С гордостью говорил он о «вольных» стихах горняков, называя имена своих товарищей: «Мы… мы… мы…». Сам Кушнер уже тогда писал мастеровито, но по преимуществу «спокойные» стихи – о графине, стакане, готовальне, арбузе, микроскопе, фотокарточке… Поразительно: ни разу не упомянул он о самой главной «грешнице», ее взрывном стихотворении. И это притом, что в зале находилась безоглядно смелая поэтесса, скромнейшая женщина Лидия Дмитриевна Гладкая. В 1957 году, окончив институт, она вместе с мужем Глебом Горбовским уехала работать на Сахалин.

В нашем ЛИТО обстановка была куда спокойнее благодаря Евгению Ивановичу Наумову, человеку мудрому, осторожному, твердому в своих убеждениях. Кроме преподавания в университете, он занимал пост главного редактора издательства «Советский писатель», прекрасно знал не только историю советской литературы, но и все, что происходило в литературе в данный момент. На занятиях ЛИТО он умело гасил излишние «всплески» в подчас накаленной атмосфере наших споров, несколькими ироничными фразами мог разрядить высокий градус аргументаций непримиримых сторон. Чутко улавливая процессы, происходящие в обществе, Евгений Иванович поощрял наш интерес к творчеству современных писателей и даже тех, имена

которых еще совсем недавно были под запретом. Не случайно многие из нас оказались в его семинаре.

Хорошо помню, что Лёня Левинский написал курсовую работу о творчестве Ильи Эренбурга, который первым в стране произнес знаменательное слово «оттепель». Дипломную работу Лёня защищал о поэзии Владимира Луговского. Юра Мунтянов увлекся поэзией Николая Заболоцкого. Саша Лущик был покорен поэзией Михаила Дудина. А я буквально потерял голову, прочитав изданные в 1957 году поэтические однотомники Дмитрия Кедрина и сгинувшего в лагерях ГУЛАГа Бориса Корнилова. О Кедрине сделал на семинаре доклад, а о творчестве Корнилова написал по-юношески восторженную курсовую работу. Руководителем моего дипломного сочинения о поэзии Вадима Шефнера был Евгений Иванович Наумов.

Лекции наш руководитель читал очень интересно, привлекал множество любопытнейших фактов, подробностей из жизни классиков советской литературы, не скрывая своих пристрастий и антипатий. Любимым его поэтом был Владимир Маяковский. Я не знаю, кто бы так страстно, как Наумов, мог читать стихи поэта революции. Позднее он с головой погрузился в изучение творчества Есенина.

А вот Пастернака, Цветаеву он никак не мог принять. О Цветаевой мы в то время почти ничего не знали. А Пастернака с удовольствием читали. Евгений Иванович не упускал случая цитировать строку: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» При этом интонационно подчеркивал, что вот, мол, поэт демонстративно не желает понять, где и в какое время он живет. Вот тут мы расходились с нашим наставником.

После публикации за рубежом романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» автор подвергся ожесточенным нападкам в газетах и толстых литературных журналах. Критики как бы соревновались в хлесткости обвинений. В «Правде» один из лучших советских поэтов был назван литературным сорняком.

В знаменитой тогда стенной газете «Филолог» мы все с восторгом прочитали стихотворение нашего товарища Яши Гордина, посвященное Пастернаку. Особенно впечатляли заключительные строки:

Ушел человек, но осталась дорога
Сквозь горы, леса и года.
И только лишь ветру дозволено трогать
Следы, уходящие вдаль.
Я выйду из дому не рано, не поздно,
Пойду сквозь дурманящий лес,

И будут дробить диковатые сосны
Прозрачную твердость небес.
Увидев следы, я помедлю немного,
Поправлю заплечный мешок.
Ушел человек, но осталась дорога,
Дорога, которой он шел.

Факультетское руководство всполошилось и рассердилось не на шутку. Яша был на грани исключения из университета. Мы узнали, что инициатором этой показательной акции был почитаемый нами Евгений Иванович Наумов. Решено было в неофициальной обстановке попробовать убедить его не делать этого позорного шага. Не откладывая, мы напросились к нашему руководителю в гости. В назначенный час Лёня Левинский, Саша Лущик, Юра Мунтянов и я позвонили в квартиру на улице Халтурина.

Хозяин встретил нас радушно, но взгляд его был непривычно оценивающим, настороженным. Мы расположились за большим обеденным столом. Домработница Валентина наполнила чашки ароматным чаем и сразу же внесла большое блюдо горячих жареных пирожков. Я был по обыкновению голоден и немедля затолкал в рот половину пирожка. Он оказался настолько раскаленным, что прожевать его было немыслимо. Немыслимо было и выплюнуть жуткий комок в такой полуофициальной обстановке. Чтобы как-то потушить пожар во рту, сделал глоток из чашки. Но чай оказался столь же горячим, что и пирожок. И все же я заставил себя судорожно проглотить адскую смесь. Друзья потом рассказывали, что глаза мои при этом бешено вращались. Кончилось тем, что все дружно рассмеялись, видя мое мученье. Это разрядило атмосферу неловкости. Евгений Иванович хвалил Валентину за пирожки и вообще за все, что она делала в его доме, рассказал, что она родом из деревни на Псковщине, в семье Наумовых она давно уже стала своей, родной, знает великое множество деревенских частушек, присловий, прибауток.

Саша Лущик был тоже из деревенских. Он тут же вступил в разговор. Постепенно наладилась общая беседа. Об учебе, о стихах, о времени. Неизбежно перешли к тому, за чем появились в этом доме. Лишь только произнесли фамилию Яши, Евгений Иванович превратился из ласкового хозяина в жесткого, официального человека, стал, как за кафедрой, излагать мысли о необходимости соблюдать непоколебимые принципы социалистического реализма, основанного на принципах марксизма-ленинизма. Мы же стояли на своем, горячо защищали

товарища, право каждого говорить и писать то, что он думает в наше быстро меняющееся время.

Пирожки были съедены, чай выпит, позиции четко определены. Мы гуськом направились в прихожую. Евгений Иванович снова превратился в доброго, радушного хозяина. Улыбаясь, он сказал, что одобряет наше коллективное заступничество, хорошо понимает нас, еще раз подумает и тогда решит этот больной вопрос.

Прошло несколько дней тревожного ожидания. Мы решили, скрепя сердце, покинуть семинар Наумова, если расправа с Яшей все-таки состоится. Наш мудрый руководитель, видимо, это предугадал: такой исход дела ему самому был, безусловно, не нужен. Яшу Гордина оставили в покое.

Сформированный как личность советской эпохой, Евгений Иванович с трудом, но неуклонно менялся, принимал новое, непривычное, ощущая все, что несли в жизнь ветры перемен. Он был в самой гуще студенческой жизни, ежедневно общался с молодежью, все теснее сближался с нами, прислушивался к нашему мнению. Бывало, мы «всем гамузом» приезжали к нему на дачу в Комарово, засиживались до последней электрички. Было весело и интересно. Евгений Иванович был не только прекрасным лектором, но и замечательным рассказчиком. Иногда я помогал ему что-либо перенести, прибить, починить, а то и извлечь из колодца холодную бутылку водки.

Домработница Валя всех людей делила на самостоятельных и на несамостоятельных. Я у нее числился в самостоятельных. А вот, например, Лёню Левинского к этой почетной категории не причисляла. Говорила, что он веселый и умный, но все же несамостоятельный.

Запомнился домашний банкет, устроенный Евгением Ивановичем по случаю нашего окончания университета. В Комарово мы приехали вместе с несколькими девчонками. Была извлечена бутылочка из колодца, звучали тосты, стихи, обменивались шутками с обычно строгой и ироничной хозяйкой Нелей Наумовной и улыбчивой Валентиной, играли с большим добрым псом Томом. Был ясный тихий вечер. Шумной гурьбой отправились купаться на Щучье озеро, затем вернулись на дачу. Пора было дать отдых хозяевам, возвращаться в Ленинград. Но тут появился любимый всей студенческой братией, феерически талантливый лектор Георгий Пантелеймонович Макогоненко.

Мы встретили профессора восторженными криками. Для начала он извлек из бокового кармана пиджака бутылку армянского коньяка и водрузил на стол. Дождавшись окончания аплодисментов, вытащил из другого бокового кармана еще такую

же бутылку. Мы стоя устроили овацию. И уже когда все заняли свои места, Георгий Пантелеймонович картинно достал уже из заднего кармана брюк стеклянную фляжку божественной жидкости.

Нет, все нам осилить было не под силу, но домой, в общежитие, мы заявились очень поздно и навеселе.

К Евгению Ивановичу Наумову мы навсегда сохранили уважение и благодарность. Уважал он и нас – и зеленых первокурсников, и дипломников, живо интересовался, кто и как устроился в жизни после окончания университета. Как он порадовался за меня, когда узнал, что я стал работать в редакции художественной литературы «Лениздата»!

Не могу забыть случай, характеризующий Наумова. По его представлению наше издательство приняло к рассмотрению рукопись статей сотрудников кафедры советской литературы. Редактором назначили меня. И я, и рецензент Юрий Андреев высказались против включения в сборник откровенно слабых статей двух кафедральных дам. Евгений Иванович попросил меня и Андреева принять участие в заседании кафедры, посвященной подготовке к изданию коллективного труда. Мы хорошо подготовились и аргументированно доказали, что злополучные две статьи публиковать невозможно. Обиженные преподавательницы яростно кричали: как смеют судить нас эти мальчишки, ведь еще совсем недавно они учились на нашем факультете!

Евгений Иванович подчеркнуто спокойно сказал, что приглашенные молодые люди – одни из лучших учеников присутствующих. Кафедра вправе гордиться ими, но вместо слов благодарности за профессиональную работу редактор и рецензент услышали оскорбительные высказывания двух педагогов. Самому ему стыдно, и он от имени кафедры просит Юрия Андреевича и Бориса Григорьевича принять извинение. Нашу работу одобрили все, кроме двух рассерженных дам.

В 1969 году в «Лениздате» вышла капитальная книга Е. И.Наумова «Сергей Есенин. Личность, Творчество. Эпоха». Мне, редактору, работать с автором было очень легко. Сам в прошлом издатель, Евгений Иванович внимательно и уважительно относился ко всем моим соображениям, замечаниям, даже мелким придиркам, вносил в рукопись необходимую правку.

Помню один забавный случай. На полях против фразы «Скифы были варвары» я не удержался и язвительно заметил: «Неужели?» При очередной встрече в редакции мой учитель, прочитав вслух «резолюцию», снял очки и озадаченно посмотрел

на меня.

Я сказал, что отчетливо слышу, как эти три короткие слова произносит ученик пятого класса, но моя натура неисправимого придиры отказывается эту фразу воспринимать в серьезном исследовании почтенного доктора филологических наук, профессора. Евгений Иванович расхохотался и картинно поднял руки вверх. И тут же по-мальчишески заметил: «А сам-то, сам-то, помнишь, как в дипломной работе написал, что творческий путь Вадима Шефнера не был усеян розами? Фу, какая пошлость!» Пришлось поднять руки мне.

Летом 1957 года студенты Университета отправились на уборку целинного урожая в Кокчетавской области Казахстана. Сначала был митинг на Менделеевской линии, а затем длинной колонной под университетским знаменем мы прошествовали по Невскому проспекту до Московского вокзала. Расположились в обыкновенных теплушках. Точно в таких в начале войны отправлялись из Ленинграда в эвакуацию, только сейчас вагоны были оборудованы еще и высокими нарами. Я занял место на «втором этаже» рядом с Леней Левинским, Сашей Лущиком и Юрой Мунтяновым. Под звуки духового оркестра поезд тронулся. Дорога была долгая, на крупных станциях нас хорошо кормили в специальных пунктах питания. В дороге мы не скучали, рассказывали анекдоты, были и небылицы, распевали студенческие песни, чаще всего – «Фонарики», еще не зная, что их автор – Глеб Горбовский, широко отодвигали в сторону тяжелую дверь, садились на пол, болтали ногами «за бортом» вагона и любовались проплывающими мимо пейзажами.

У меня появился новый друг – Вальдемар Пырсиков, который не расставался с фотоаппаратом. Он беспрерывно щелкал затвором, делая профессиональные снимки «для истории». Однажды я спрыгнул с «верхотуры» и ногой ударился о его коленку. От резкой боли охнул и закрутился на месте. А Володя со спокойной улыбкой глядел на меня. В Свердловске по обыкновению наш эшелон загнали на запасной путь. Стоянка была довольно долгой, и наша компания решила хоть коротко осмотреть город. Мы быстрой трусцой бежали по эстакаде над переплетением рельсов. В какой-то момент я заметил, что Володя отстал, подождал его и схватил за руку, думая, что он просто устал. Но он дышал ровно и лишь сказал, что у него побаливает «лапа» и он лучше вернется в вагон.

На маленькой казахской станции Таинча нас встретил духовой оркестр, приветственные транспаранты. После короткого

митинга колонна грузовиков по ровной степи домчала нас до центральной усадьбы совхоза имени Менжинского Ленинградского района. После сытной трапезы мы сразу же начали устраиваться, принялись изготавливать матрацы – набивать сухим сеном большие мешки, шумно спорили за самые удобные места в помещении. Весь день осваивали небольшое совхозное пространство, навещали девочек. Володя Пырсиков без устали нацеливал на нас объектив фотоаппарата. Вечером долго устраивались на ночлег. Утром надо было вставать рано.

Сначала мы, парни, занимались тяжелой земляной работой, затем стали изготавливать саманные кирпичи. Вот это нам очень понравилось. Широкую яму заполняли водой, соломой, глиной и песком. И тут начиналось самое интересное: с восторженным ревом залезали в яму и, положив руки друг другу на плечи, долго подпрыгивали, приплясывали, перемешивая тяжелую вязкую саманную массу. Потом ее загружали в деревянные ящики, а когда под жарким в тех местах солнцем кирпичи подсыхали, мы их аккуратно изымали из ящиков и раскладывали на земле для окончательной просушки. Со стороны нас можно было принять за детей, увлеченно играющих «в куличики».

Вечерами собирались вместе, развлекались как могли, горланили песни. Озорные тексты сочинял Саша Лущик на популярные мотивы «Ах, шарабан мой, американка, а я девчонка, я шарлатанка». Вот только два безобидных припева к множеству куплетов:

Ах, Казахстан мой, ты край целинный,
Хочу найти я вдову с периной!
– —
Ах, Казахстан мой, ты край богатый,
Здесь скот разводят крупнорогатый.

Неважно, что край этот был не такой уж богатый, да и крупнорогатым скотом он не славился, зато хулиганскую песню эту мы задорно распевали и в Казахстане, и потом в университетских общежитиях.

Уже в темноте гуляли с девочками под луной. Иногда нас зазывал в гости местный парень Саша Крейн. Был он из семьи поволжских немцев, их в начале войны переселили сюда, в казахскую степь. Поскольку на период уборки урожая был объявлен и строго соблюдался «сухой закон», наш общий приятель выставлял большую банку чемергеса – местной браги белого цвета, настоянного на диких степных травах. Для крепости использовался, как уверял хозяин, даже табак. Так это или не так,

утверждать не берусь. Надо было выпить порядочное количество этой сладковатой жидкости, чтобы она «забрала», стукнула в голову. Помнится, почин сделал Володя Пырсиков. «Нормальная бражка», – резюмировал мой друг. Его не замедлил поддержать я. С тех пор Володю стали именовать Бражкиным старшим, а меня Бражкиным младшим. Так на всю жизнь мы стали названными братьями.

Вскоре у меня прибавился еще один приятель из местных – молоденький бычок Мишка. Завидев меня издалека, он со всех четырех ножек мчался навстречу и всем своим видом показывал свое расположение: терся об меня упругой головой, лизал руки. Я вставал на коленки, и мы с ним бодались. Всегда побеждал он и очень этому радовался. К восторгу присутствующих Мишка самым натуральным образом улыбался. Вот и на фотографии видно, как он мне улыбается. Так грустно с ним было расставаться осенью…

Наконец-то на совхозный ток с полей стали прибывать потоки машин, груженные пшеницей. Длиннющие бурты с зерном необходимо было при помощи зернопогрузчиков беспрерывно сушить, провеивать и загружать на машины, которые тут же отправлялись в дальний путь на элеватор. Зернопогрузчики-то были новенькие, только что с завода, а вот мотористов не было. Пришлось нам с Володей Пырсиковым взвалить на себя эти обязанности, хотя до этого ни он, ни я понятия не имели, как обращаться с техникой.

Все оказалось не так уж и сложно. Для начала я расстелил на земле брезент, разобрал ЗиФовский мотор, все детали аккуратно разложил. Полюбовавшись на дело рук своих, собрал мотор и озадаченно почесал затылок: на брезенте лежали «лишние» детали. После повторных мучений почти все детали оказались на своем месте, а после третьей разборки-сборки никаких «лишних» деталей уже не было. Залил бак бензином, крутанул заводную ручку – и мотор с ходу радостно взревел. В помощники мне выделили Галю Гнатченко, Володю Чигиринова и Женю Печникова. Под движущиеся лопасти транспортера мы с Галей и Володей широкими деревянными лопатами подгребали зерно, которое золотым плотным дождем сыпалось в высокий кузов грузовика, вслед за буртом подтаскивали свой агрегат за новой порцией пшеницы. На машине в это время орудовал лопатой Женя Печников. В честь нашего агрегата Галю Гнатченко мы стали именовать Агрегатченко.

В это время на совхозных полях надсадно ревели гусеничные трактора, волоча за собою несамоходные комбайны «Сталинец».

Началась уборочная страда. Наши ребята освоили специальность помощников комбайнеров, а девочки распоряжались специальными приспособлениями для сбора соломы – копнителями. Все шабашили поздно вечером, а вот нам с Володей Пырсиковым приходилось очень туго: машины с зерном шли на элеватор круглые сутки. Шоферам платили с каждой ездки, мы едва успевали слегка прикорнуть, как прибывала очередная машина, ее надо было без промедления загружать.

Особенно тяжело было Бражкину старшему. Высокий, статный, добрейший Володя легко и свободно вошел в нашу компанию. Ходил он по-флотски – вразвалочку, гордо носил свою лысину. И только здесь, на целине, мы узнали, что у него ниже правого колена был… протез. Вот о него-то я в поезде и ударился ногой, спрыгнув с нар.

Прошло несколько утомительных дней работы. Утром, заметно прихрамывая, Володя отвел меня в безлюдное место и взял с меня слово, что я никому не заикнусь о том, что он скажет по секрету. Я клятвенно пообещал хранить тайну. Володя сказал, что у него не все в порядке с «лапой», поднял брючину и отстегнул протез. На культе не было живого места, кожа стерта до крови. Оказывается, Володя потерял ключ, которым протез надежно крепился к ноге. Вчера он весь вечер безуспешно ползал по току, а теперь просит меня заняться поиском. Я резонно ответил, что занятие это подстать поиску иголки в стогу сена, наверняка ключик вместе с зерном мы погрузили в одну из машин, и он уже на элеваторе. А опрометчиво данное мною слово хранить тайну я забираю обратно.

Не откладывая, рассказал ребятам о Володиной беде. Было решено отправить Пырсикова в Кокчетав. Пусть в больнице подлечится, а потом отправляется в Ленинград. Сказано – сделано. Вскоре подвернулся грузовик, который направлялся в областной центр. Мы посадили Бражкина старшего в кабину и тепло попрощались с ним. Думали – надолго. Но прошло дней десять, и Володя, к нашему удивлению и восторгу, объявился собственной персоной, радостно улыбаясь и сверкая лысиной. В Кокчетаве на улице он увидел занятого работой сапожника и наметанным глазом определил, что тот тоже пользуется протезом. После краткой беседы сапожник подарил Володе запасной ключ от протеза. Слегка подлечившись, наш друг и не подумал возвращаться в Ленинград, а на попутках добрался до нас. Вскоре он пришел в норму и включился в работу, отвлекаясь лишь на то, чтобы пощелкать затвором фотоаппарата. У меня сохранилось множество фотографий целинного цикла. Они напоминают далекое время, когда мы, студенты, совершенно

добровольно участвовали в освоении целинных земель Казахстана. В миллионах тонн зерна для страны была и частица нашего труда.

Здесь мне посчастливилось подружиться еще с одним замечательным человеком – Василием Васильевичем Гербачом. В университете он преподавал марксизм-ленинизм, читал лекции очень свободно, никогда не ставил студентом отрицательных оценок, говоря, что каждый, рожденный при Советской власти, заслуживает как минимум твердой троечки. А в узком кругу не стеснялся аргументированно критиковать самого Ленина. На целине он руководил всеми студенческими отрядами, объезжал на мотоцикле разбросанные в степи совхозы, был хорошо знаком не только с начальством, но и знал, казалось, всех нас, наши успехи и нужды, быстро решал все вопросы. Удивительной простоты, щедрости и обаяния был этот человек. Люди, знавшие его, не могли сдержать доброй улыбки, едва услышав фамилию Гербач. Так выпали карты судьбы, что мы с ним дружили многие годы. После университета Василий Васильевич возглавлял кафедру в Ленинградском Северо-Западном политехническом институте, а затем был приглашен в Московский университет, где работал до самой своей кончины. Иногда он приезжал в родной город вместе с любимой огромной собакой-водолазом Вегой, а мы с женой гостили у него в Москве.

За работу на целине я впервые в жизни получил много денег, предвкушая, какой костюм, пальто и ботинки вскоре надену вместо обветшавшего флотского одеяния. Обратно в Ленинград мы ехали в комфортабельных плацкартных вагонах: видимо, заслужили такое к себе внимание! Мой чемодан был забит книгами. Их я купил в совхозном магазинчике. Таких книг в Ленинграде днем с огнем не сыщешь. Чего только стоили, к примеру, двухтомник полузапрещенного Сергея Есенина, однотомник произведений Исаака Бабеля с предисловием Ильи Эренбурга, роман Ремарка «Три товарища», четырехтомник Маршака!

Довольно продолжительной была остановка в Петропавловске Казахстанском. Здесь мы успели запастись продуктами. У меня в карманах шуршали крупные купюры. Подобно купчику, возвращающемуся с золотых приисков, я притащил в вагон для угощения друзей целый ящик водки и шампанского, а также несколько консервированных банок ананасов. Дело в том, что даже мы, начинающие филологи, уже знали роскошные строки Игоря Северянина:

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!

Удивительно вкусно, искристо, остро!
Весь я в чем-то норвежском! Весь я в чем-то испанском!
Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо!

Мне до смерти захотелось попробовать ананасы в шампанском. Для начала мы решили выпить не какого-то чемергеса, а нормальной водочки и поесть, а потом «отлакировать» божественным напитком. Мальчишеская затея удалась плохо: вкус ананасов в шампанском полностью выветрился из похмельной головы.

Василий Васильевич знал о моей жилищной проблеме и по возвращении в Ленинград очень быстро добился, чтобы меня поселили в общежитии. Но для этого надо было сняться с прописки в родной комнате. Добрейшая паспортистка тетя Лена долго меня уговаривала не делать опрометчивого шага. Она хорошо помнила моих родителей и то, как собственноручно вписывала меня, новорожденного, в домовую книгу, пугала возможными последствиями. Однако иного выхода не было, я ежедневно ощущал, что мешаю нормально жить брату и его жене. Тетя Лена с горестным причитанием выполнила мою просьбу.

Поселился я в общежитии на набережной Мойки, невдалеке от Поцелуева моста. Большая комната на втором этаже была густо заселена студентами. Многие имена выветрились из памяти. Был среди нас серьезный парень по имени Индустрий. Разве позабудешь такое имя! Наверняка родители назвали его в честь эпохи индустриализации в стране Советов. Приятной неожиданностью оказалось то, что на соседней койке расположился Саша Лущик. Мы все любили этого высокого русоволосого парня за дружелюбие, скромность, широту натуры и главное – за его поэтический талант. Он писал светлые стихи о родном деревенском крае, о солдатской службе и, конечно же, о первой юношеской любви. Раскрываю сборник «Стихи студентов Ленинградского университета» на странице с его стихами. Над первым стихотворением старательным почерком выведено: «Боре Друяну мои первые стихи моему первому другу. А. Лущик».

Родник

Он под горой, среди травы,
Найдешь не без труда.
Лежит кусочек синевы
На дне его всегда.
Июльским, жарким днем не раз,
Злой жаждою томим,
Мальчишкой в полуденный час
Склонялся я над ним.
Смотрел, как в роднике живом
Вскипают пузырьки,
И воду пил, сложив ковшом
Две собственных руки.
Июльский полдень, летний зной
Забыты мной давно.
И, может, тот родник живой
Не вспомнил бы я, но…
В глаза ты посмотрела мне —
И в памяти возник
С кусочком синевы на дне
Тот маленький родник.

Саша, Леня Левинский, Юра Мунтянов и я по-прежнему держались вместе. Вместе гуляли по городу, ходили на танцы, посещали ЛИТО, читали стихи, спорили. К моему мнению друзья относились с вниманием, делали построчные исправления, радовались, когда в результате работы над словом стихи становились лучше. Мне и в голову не приходило, что пройдет несколько лет, и я стану профессиональным редактором, помогу многим молодым талантливым поэтам войти в литературу. А тогда мы с друзьями и на лекциях садились рядом. С гордостью вспоминаю, что нам посчастливилось учиться у П. Н. Беркова, Г. А. Бялого, И. П. Еремина, А. И. Доватура, В. М. Жирмунского, Г. П. Макогоненко, В. А Мануйлова, Е. И. Наумова, З. И. Плавскина, В. Я. Проппа, М. А. Соколовой…

Студенческая братия обожала ректора Александра Даниловича Александрова. О нем ходили легенды. Например, о том, как он на спор, подобно озорному мальчишке, прокатился на «колбасе» трамвая. Или о том, как на Большом Ученом Совете, проверяя наличие присутствующих, изумился: почему скот считают по головам, а членов-корреспондентов – по членам, чем

вызвал неприязнь некоторых ученых и особенно – влиятельного академика Фока.

Одно время я обитал в общежитии на Мытнинской набережной. Там студенты рассказывали друг другу байку, как комендант нашел на чердаке матрац – подумать только для каких надобностей!!! Возмущенный комендант поставил об этом в известность свое прямое начальство. Доложили ректору. Александр Данилович не только приказал «не поднимать пыль», но и посоветовал принести на чердак еще один матрац, заметив, что все когда-то были молодыми, молодых надобно понимать и по возможности помогать им.

Запомнился темный осенний вечер. На улице сильный дождь, а в 31-ой аудитории филфака – шумный, яркий, веселый студенческий бал в честь 7 ноября. Вместе с друзьями-первокурсниками спускаемся в холл первого этажа покурить. Между входными дверями стоит дежурный по фамилии Гуч. Его задача – охранять от посторонних наше веселье. Посторонним очень нравились наши девчонки-филологини. Еще бы, ведь они самые красивые в университете! И вдруг мы видим появившегося в дверях человека в темном пальто с поднятым воротником. Видим, как бдительный Гуч пихает его в грудь. «Братцы, да это же ректор!» – завопил кто-то из курильщиков, и мы мгновенно оттащили сокурсника от Александра Даниловича. Наперебой начали извиняться перед ним, а он, отряхивая руками мокрое пальто, добродушно говорил, что не стоит ругать своего товарища, ведь он все делал как надо, и вовсе необязательно всем студентам, тем более – первокурсникам, знать в лицо ректора.

Но было видно, что он доволен нашим горячим заступничеством. «А руки у тебя крепкие!» – улыбнулся он растерянному Гучу. Затем разделся в гардеробе, поднялся на второй этаж, понаблюдал за танцующими студентами и двинулся к выходу. Мы почтительно проводили его до дверей. Всей нашей компании он на прощанье пожал руки.

Интересно и весело жили мы в те годы. Плохо, что стипендия была, что называется, «с гулькин нос»: 290 рублей на первом курсе, 360 – на пятом. Все время хотелось есть, приходилось подрабатывать – разгружать вагоны с овощами, с песком, а в булочных – машины с хлебом. Из-за усталости утром не хватало сил ехать на занятия, неизбежно появлялись «хвосты». Ликвидировать их было не так-то просто. Но молодая бесшабашность, энергия били через край. Иногда – что скрывать! – «сходили с рельс». Зимним днем мы с Володей Пырсиковым пошли на Невский проспект покупать со стипендии мыло. Все бы хорошо, но купленное мыло решено было «обмыть».

В результате в полном соответствии со статусом братьев Бражкиных мы остались без стипендий. Что было – то было…

Иногда соученики, дети состоятельных родителей, приглашали нас в гости. Однажды Лена Ященко, девочка из моей группы, сказала, что ее родители будут рады, если я приду к ним домой на обед. Ну разве я мог отказаться! У Лены была роскошная грива рыжих волос. Она начала учиться в нашей группе со второго курса. До этого с родителями жила в Узбекистане. Сергей Диомидович и Антонина Михайловна встретили меня радушно, усадили за красиво сервированный стол, расспрашивали о моей жизни, о родителях, об учебе. Наконец хозяйка внесла вкусно пахнущее блюдо. На моей тарелке оказалась гора риса, мяса и еще чего-то, о чем я не имел ни малейшего понятия. Со всей этой божественной вкуснотищей я без труда справился, вежливо, но с сожалением отказавшись от добавки. В конце обеда Антонина Михайловна спросила: «Ну, как, Боря, тебе понравилось?» – «Отличная каша!» – от души похвалил я ее кулинарное чудо. Эх, знал бы, как я обидел своей похвалой добрую женщину! Как потом мне объяснила Лена, вкушал я тогда вовсе не кашу, а самый настоящий узбекский плов. Назвать плов кашей мог только полный невежда. В этот дом меня пригласили еще всего один раз – на свадьбу Лены с нашим сокурсником Олегом Шарковым. Прошло более пятидесяти лет. Встречаясь по праздникам у кого-нибудь из нас, ветеранов 3-ей русской группы, мы с Еленой Сергеевной непременно вспоминаем о том, как я назвал кашей плов, приготовленный ее мамой.

К девочкам на факультете я относился легко, по-дружески, но внутренне был скован, потому что из-за безденежья не мог позволить себе кого-либо из них пригласить в кино или в музей. В общежитии нравы были значительно проще, там можно было на вечеринке выбрать любую красавицу на танец, а когда провозглашали «белый танец», подпирать стенку не приходилось: количество филологинь значительно превышало мужское «поголовье». Иногда девчата старших курсов просили помочь в написании диплома. Я никогда не отказывался, рассказывал все, что знал. Но помочь было просто, когда дело касалось русской классической или советской литературы. С зарубежной было значительно сложнее, и я наотрез отказывался. Но однажды не устоял перед напором настойчивой студентки с английского отделения. Перед тем, как сесть за написание сочинения о не переведенном еще на русский язык романе Германа Мелвилла «Моби Дик», дотошно выспросил ее об авторе, времени, когда он жил, литературном окружении и, естественно, заставил подробнейше пересказать сюжет книги. Когда узнал, что писатель

в ранней молодости был юнгой, всерьез увлекся темой и за две ночи легко написал то, что было нужно. А трудился я в девичьей комнате под настольной лампой, покрытой плотным халатиком. Иногда сбивался с мысли. Да и как не сбиться, когда рядышком – руку протяни – посапывают четыре девицы!

Крайне редко, но случалось, когда я всерьез увлекался соученицами. Но они об этом и не догадывались. К примеру, вряд ли замечала очаровательная Лада мои робкие, обожающие взгляды. Для меня она была недосягаемой богиней.

На факультете появился журналист из Москвы по фамилии Мурзин. Ему было поручено создать новую молодежную газету в далеком Сыктывкаре. Он сумел завербовать моего друга Володю Пырсикова, которому стала невмоготу вечно полуголодная студенческая жизнь. Бражкин старший перевелся на заочное отделение и укатил в столицу Коми. Его приезды на экзаменационные сессии сопровождались веселыми застольями в общежитии. Тут уж он лично принимал «хмельные зачеты» у своих друзей. Неудивительно, что у Володи возникали «хвосты». Но он и не думал унывать, рассчитывая в следующий приезд отделаться от них.

Однажды во время зимней сессии мы шли с ним по коридору филфака. Навстречу шествовала группа ученых, принимавших участие в международной встрече по проблемам изучения классической филологии. Возглавлял шествие Аристид Иванович Доватур, руководивший на нашем факультете кафедрой классической филологии. Был он очень хорошим, добрым человеком, но одиноким, неухоженным. Мы знали, что в 1937 году он был арестован и пробыл в лагерях целых десять лет. Мы почтительно прижались к стенке, но Доватур заметил нас, остановился, взял за руку рослого, представительного Володю и подвел его к коллегам. «Прошу внимания. Хочу представить вам замечательного человека, – серьезно начал он. – Это Вальдемар Пырсиков». Ученые почтительно склонили головы. «Этот человек замечателен тем, что совершенно не знает латыни!» – с улыбкой закончил Аристид Иванович под общий громкий смех. Володя был в крайнем смущении, его лицо и лысина здорово порозовели. Ученые наконец медленно удалились, а мы с другом поспешили по своим неотложным делам.

В 1981 году Володя приехал в очередной раз ко мне в гости. Мы хорошо посидели, а ближе к вечеру неожиданно решили повидаться с Аристидом Ивановичем. Быстро навели справки. Оказалось, он живет в переулке Гривцова, около Сенной площади. На такси быстро домчались до его дома. Жил, вернее доживал,

крупный ученый в коммунальной квартире. Неожиданных, незваных гостей принял с искренним удовольствием: «Надо же, не забыли старика, а Вас, Вальдемар, я никогда не забывал, Вы, смею думать, так и не освоили латынь». Вся комната одинокого человека была завалена книгами. Хозяин принес из кухни чайник. Мы извлекли из авоськи большой торт к чаю и не меньше часа провели за разговорами с Аристидом Ивановичем. В следующем году он умер.

Проводы Володи к месту работы всегда были шумными, веселыми. На перроне в ожидании отправления поезда мы слегка прикладывались по очереди к бутылочке, пели песни. И непременно – «По тундре, по широкой по дороге, где мчится скорый “Воркута – Ленинград”…» и «Я не знаю, где встретиться нам придется с тобой. Глобус крутится-вертится, словно шар голубой…» Однажды морозной зимой буквально за минуту до отхода состава Бражкин старший стащил с меня тонкое демисезонное пальтишко, надел на меня свое теплое зимнее пальто и уже из тамбура крикнул, чтобы я ни в коем случае не замерзал. Поезд ушел, а я остался в большущем, не по росту одеянии. Лишь роскошный меховой воротник был в самый раз. Пришлось на следующий день сдать Володино пальто в комиссионный магазин. Выручки еле-еле хватило на покупку зимнего полупальто.

Володя регулярно присылал мне письма. Как-то я получил от него фоторепортаж о моем торжественном приеме в «Партию убежденных холостяков». Несколько лет я состоял действительным членом этой почтенной организации, но не вытерпел – нарушил устав, женился, а удостоверение, на красной корочке которого значились три крупные буквы «ПУХ», до сих пор храню как важную реликвию. Многие годы мой друг отдал Северу, работая сначала в газете Сыктывкара, а затем на телевидении Магадана. Там он познакомился с выдающимся эстрадным певцом Вадимом Козиным. Узнав от Володи об изданной в 1976 году в Лениздате книге стихов и прозы Анны Ахматовой, Вадим Алексеевич очень захотел ее приобрести. Я немедленно выполнил его желание, а он прислал мне с трогательной надписью свою пластинку старинных романсов и песен.

Отдав щедрую дань Заполярью, Володя перебрался на материк – в родную Пермь, работал на радио, в областной газете «Звезда», с отрядом пермского ОМОНа не раз принимал участие в боевых действиях в Чечне. Об этом свидетельствуют государственные награды. Для меня Володя Пырсиков, мой

дорогой Бражкин старший, – один из самых лучших, мужественных людей, с которыми мне посчастливилось повстречаться в жизни. Мы и сейчас с ним перезваниваемся, переписываемся по электронной почте. Но уже давненько ни он, ни я, к великому сожалению, фамилии Бражкин, не соответствуем.

После второго курса мы снова уехали в Северный Казахстан на уборку урожая. Работали в тех же местах, но не в Ленинградском, а в Чкаловском районе, на полевых станах зерносовхоза имени Ильича. Как и в прошлом году, сначала нас использовали на самых разных работах.

…Мы загружали двукрылый самолет большими мешками с каким-то вонючим веществом, которое пилот распылял над полями. Чтобы не отравиться, нам выдали респираторы. Пока самолет был в воздухе, мы пластом лежали на земле. Но вот он приземляется, и мы опять впрягаемся в тяжелую работу. Вечером с трудом добрались до совхозной столовой. Руки, ноги, плечи, спина, поясница налились непривычной тяжестью, требовали отдыха.

На следующий день самолет с раннего утра отправился на поиски Юры Максимова. Он учился в нашей третьей русской группе. Найден он был на степной дороге полуживым. Как потом выяснилось, накануне поздним вечером Юра гулял с девушкой Лидой. Они оказались далеко от центральной усадьбы совхоза. Сзади раздался шум мотора. Ехал грузовик. Толстые жерди, закрепленные перпендикулярно бортам для размещения большего груза сена, в непроглядной темноте были не видны. В последнее мгновение Юра успел оттолкнуть девушку в сторону, а сам попал под страшный удар жердины. Шофер лишь прибавил газ, и грузовик умчался вдаль…

Вдвоем с Валерой Новиковым внесли Юру на носилках в санитарный самолет. Открыв глаза, он лишь слабо улыбнулся нам на прощанье. Самолет взял курс на Кокчетав. В областном центре наш товарищ скончался. Травмы оказались, как говорили врачи, несовместимы с жизнью…

На полевом стане возле длиннющего зернового тока под открытым небом наша бригада поселилась в двух небольших вагончиках. Девочки – в дощатом, а парни – в хлипком фанерном. Снова я работал и мотористом, и рабочим на току. Физически сильные Саша Лущик, Валера Новиков, Володя Чигиринов, Федя Флягин, Игорь Бузинов не знали усталости, подбадривали друг друга шуткой, трогательно опекали девчонок. Когда изредка

выдавалась свободная минута, Саша скрывался за буртом пшеницы, доставал блокнот и писал стихи. Писал он и поздно ночью при свете коптилки или карманного фонарика. В такие минуты мы старались ему не мешать: рождались стихи и песни о нас, о нашей работе, о целинном братстве, о бескрайней казахской степи.

Вечер бьет голубым копытом
О дорожную черную стынь.
Горьковатым, далеким, забытым
Пряно пахнет степная полынь.

Месяц – тоже степняк полудикий,
Узкоглаз, кососкул, смуглолиц,
Слышит битвы победные крики,
Ржанье диких степных кобылиц.

В бой выходят ковыльные рати,
Ветер звездные строит полки,
И плывут облака на закате,
Как забытых кочевий дымки.

Кружит коршун над степью несмело,
Унося в безъязыкой тоске
То, что степь рассказать мне хотела
На гортанном своем языке.

Жаль, рядом с нами не было Леньки Левинского. Он попал в другую студенческую бригаду, которую возглавлял наш новый товарищ Яша Гордин. Иногда на полевой стан приезжал на мотоцикле с коляской Василий Васильевич Гербач. Он опять руководил всеми бригадами Ленинградского университета.

Невдалеке от наших вагончиков стоял еще один, в котором находилась «резиденция» бригадира 2-й тракторно-полеводческой бригады дяди Саши Ломанова. Вместе с ним жила и его жена, тихая незаметная женщина. Она исполняла обязанности нашей поварихи. Дядя Саша, необыкновенно подвижный человек небольшого роста, из бывших зэков, виртуозно ругался матом к делу и не к делу. У него был старенький мотоцикл. Он возился с ним целыми днями. Как правило, дряхлая машина заводилась с большим трудом. Воздух содрогался от противного рева. Наездник делал несколько кругов, затем мотоцикл недовольно чихал и вовсе замолкал. Дядя Саша, озабоченно матерился, что-то подкручивал и безуспешно пытался его реанимировать.

Продолжалось это довольно долго. Наконец с громкими матерными воплями бригадир поднимал мотоцикл над головой и швырял его на землю. От бедной машины отлетали какие-то детали, а дядя Саша отправлялся в свой вагончик. Приведя нервы в порядок, он принимался за разборку-сборку своего железного коня. К нам он относился уважительно, видел, что мы работаем от зари до зари. Меня он отличал особо. И не только за работу, но и за то, что однажды я его убедительно изощренным флотским матерком попросил не пользоваться при девочках ненормативной лексикой. Изо всех сил он старался выполнять мою просьбу, но не всегда это ему удавалось.

В сентябре, накануне моего дня рождения, Саша Лущик, Валера Новиков и я на совхозном грузовике укатили по ровной степи в недалекую РСФСР за водкой, поскольку в Казахстане свирепствовал во время уборочной кампании сухой закон. В каком-то поселке мы купили несколько бутылок водки, «сняли пробу» и собрались в обратный путь. Однако шофер где-то умудрился так нализаться, что пришлось его загрузить в кузов под присмотр Новикова. Мне пришлось сесть за руль.

Едва выехали в степь, как сидящего рядом со мною в кабине Лущика развезло, он стал отнимать у меня рулевое колесо. С трудом убедил я его заняться переключением скорости. Кончилось тем, что мотор заглох. Решили, что дело в свечах. Я нажимал на стартер, а Саша проверял по очереди все свечи. Каждый раз его ощутимо дергало током. Мотор молчал. Был поздний вечер. На наше счастье невдалеке проезжал случайный грузовик. Мы дружно замахали руками. Водитель посоветовал подождать, пока наш шофер придет в себя, но мы упросили его сейчас же помочь нам. Машина завелась, в полночь мы приехали на центральную усадьбу совхоза, занесли шофера в его дом и с песнями отправились на свой полевой стан.

Самым ярким воспоминанием о дне рождения в памяти осталась песня, которую сочинил Саша Лущик на мотив «Фонариков». В этом тексте-шарже мой друг зарифмовал всю тогда еще не длинную мою биографию:

Когда Друян на этом свете появился
И первый раз свои пеленки замочил,
Он не ходил в кабак, и не курил табак,
И никого он, кроме мамы, не любил.

Когда под стол ходить пешком он научился,
То в моряки на Балтику попал.
Он был лихой матрос и службу славно нес,

Когда на камбузе в компоте штормовал.

Он важно клешами утюжил мостовые, —
Мол, деньги есть, а мне на прочих наплевать.
А вечерком Борис на три ступеньки вниз
Катился с женщинами юность пропивать.

Но жизнь подобная наскучила Друяну,
О тихой гавани наш Боря затужил.
И, позабыв кабак, он поступил на фак
И филологию, как женщин, полюбил.

И вот уже Борис Друян второе лето
На целине работает как черт.
Он как припомнит флот – так весь аванс пропьет,
Но не побил еще он Лущика рекорд!

Было форменным мальчишеством казаться забубенными любителями спиртного или просто походить на героев Ремарка, которые запросто опрокидывали двойной кальвадос. Мы и не знали тогда, что двойной кальвадос – мизерная для русского человека порция.

По правде говоря, сам Саша Лущик был большим любителем спиртного. Мне было действительно куда как далеко до его «рекорда»! Спустя несколько лет после окончания университета до нас с Леней Левинским дошли слухи, что наш друг по распределению работал в школе в дальнем ауле где-то в Средней Азии. Его жена Тоня с маленьким сынишкой осталась в Ленинграде. Школьники его обожали, но из-за пристрастия к алкоголю он был вынужден покинуть мусульманское селение. Поселился Саша в Севастополе, работал в заводской многотиражной газете. Однажды собрал все написанные стихи и «навалом» представил рукопись в Симферопольское книжное издательство. Там скорее всего не придерживались принципа: «Талантам надо помогать, бездарные пробьются сами». Стихи Саше завернули. Состояние его можно только представить. Вскоре на территории завода он оказался под колесами маневрового паровоза…

На первом курсе Саша Лущик написал поистине пророческое стихотворение и посвятил его мне. Автограф сохранился в моем архиве:

Боре Д.
Ночи, ночи – с черной гривой кони.

Только знает сердца жаркий кнут,
Как грустят по мне твои ладони
И глаза отчаянно зовут.

Может, так вот где-то на рассвете
Талых вод холодная рука
Обожжет тоской о знойном лете
Голые колени лозняка.

Ночи, ночи – с черной гривой кони,
Жизни вы не сбросите узду,
Если я на трудном перегоне
Под копыта мертвым упаду.
3 апр. 57 г.

В 1979 году мы с Леней Левинским в Ленинградской газете «Ленинские искры» опубликовали три целинных стихотворения Саши Лущика, предпослав им небольшую заметку о нашем друге. Затем была солидная публикация стихов Саши в журнале «Аврора». Номер с Сашиными стихами мы принесли Тоне. Мальчик уже вырос и очень был похож на своего талантливого отца.

…Внезапно наступили холода, пошли дожди. Наш фанерный вагончик продувался насквозь, мы здорово замерзали, чихали, кашляли. И совхозники, и студенты работали на пределе сил, надо было спасать урожай. Особенно тяжко приходилось девочкам. Наравне с парнями трудились Рая Демина, Рита Климова, Ада Мартынюк, две Ирочки – Плестакова и Санькова, Таня Силаева…

Незадолго до нашего отъезда бригадир дядя Саша Ломанов подошел ко мне и сказал, что он написал на меня характеристику. Я не мог сдержать улыбки, мол, зачем она мне? Но дядя Саша все же вручил мне написанную от руки характеристику. Она была заверена совхозной печатью. Храню этот трогательный документ, написанный от всего сердца рукою полуграмотного человека как дорогую реликвию. Горжусь сочинением дяди Саши не меньше чем медалью «За освоение целинных и залежных земель».

Характеристика.

Дана студенту Друяну Борису Григоровичу втом что он действительно роботал во 2-й тракторной полевоческой бригади мотористом карбюраторных и

дизельных моторох. тов. Друянов Б. Г. довольно освоил технику всех марок двигателей выше указаных. За яго перебувание во 2-й тракторной полевоческой бригаде з 3-го августа по 13 октября 1958 г. ни одной аварий небило, соблюдал правила тенического ухода за моторами. Он оказал большую помочь ни только бригаде и в целом совхозе. Нищитаясь з большой трудностю непогоды тов. Друян Б. Г. стоял на своем посту твердо и уверено чесно и справедливо дело чести и славы. где за его роботу оценил бригадир 2-й тракторной полевоческой бригады тов. Ломанов вынос перед бригадой за достигнутую роботу благодарность

13/X-58 г. бригадир Ломанов

…На Васильевском острове построили новенькое общежитие для студентов. Туда поселились и мы с Леней Левинским. Жили мы с ним в разных комнатах. Во многих комнатах жили иностранцы, и советские студенты должны были им помогать осваивать русский язык. В первый же день я зашел в свою комнату и увидел маленького худенького китайца, который почтительно встал и с улыбкой произнес: «Здластуйте!». Я поздоровался, протянул руку, назвал себя и спросил, как его зовут. Имя его оказалось из трех частей, средняя состояла из одной буквы «Ю». Я сказал, что отныне буду его звать просто Ю. Он радостно закивал головой. Кто-то меня вызвал в коридор, вернулся я через несколько минут. Мой новый сосед снова встал и, так же, улыбаясь, произнес: «Здластуйте!» «Может, он меня с первого раза не запомнил?» – подумал я и четко назвал свое имя. Однако все повторилось и в следующий раз, когда мне надо было ненадолго выйти из комнаты. Пришлось дать ему первый урок. С тех пор я стал для него терпеливым учителем, непререкаемым авторитетом. В то время обострились отношения между СССР и Китаем, чуть не каждую ночь проходили в общежитии собрания китайских студентов. В комнате нас было четыре человека. Лишь только мы укладывались на ночь, как раздавался осторожный стук в дверь: вызывали нашего Ю. В конце концов мне это надоело. Услышав стук, я швырял в дверь ботинок и приказывал Ю не вставать с кровати. Но китайская дисциплина брала верх над уважением ко мне: Ю быстренько одевался и выскальзывал из комнаты.

Одно время жил с нами и албанец по имени Кемаль. Был он улыбчив и доброжелателен. К сожалению, в результате резкого обострения отношений между нашими странами всех албанских студентов режим Энвера Ходжи отозвал на родину. Доходили

скупые сведения, что их участь была трагичной. Со слезами прощаясь со мной, Кемаль настойчиво просил принять от него на память подарок – новый пиджак.

Жил в нашей комнате и студент отделения журналистики монгол Цэрэндаш Намсрай. Был он развитым, ироничным человеком, прекрасно говорил по-русски. Когда ко мне заглядывали однокурсницы, он протягивал руку, склонял свою большую голову, коротко и многозначительно произносил: «Намсрай». Девочки в растерянности глядели на меня, не понимая, как им надлежит реагировать. Я успокаивал их, уверяя, что это вполне приличное монгольское имя. Но он-то отлично все понимал и с удовольствием раз за разом повторял обряд представления девочкам. Однажды во время такого спектакля присутствовал Леня Левинский. Его реакция была мгновенна: «Ты Намсрай-то Намсрай, но не срай на нам!»

К монголу часто приходили письма с родины. На конвертах были наклеены большие красивые марки и значилось слово «Шуудан». Намсрай мне объяснил, что слово это в русском переводе – почта. Слово мне понравилось, и я часто повторял: «Шуудан, шуудан!» Тогда Намсрай написал на листе бумаги несколько слов. Я их расставил в определенном порядке, они приобрели какое-то особое звучание, и я заучил их, как стихотворную строку. Мой монгольский приятель восхитился моими способностями и попросил произнести эти слова, когда его навестит однокурсница-землячка. Не ожидая подвоха, я так и сделал. Девушка пулей выскочила из комнаты. Как оказалось, среди этого словесного набора единственным приличным словом было слово «шуудан». Монгол смеялся. Ну не драться же было с ним! Впрочем, однажды я едва избежал его крепких кулаков. В каникулы Намсрай съездил на родину, а когда вернулся, в комнате стало чем-то неприятно попахивать. Не помогала вечно открытая форточка. Когда мои соседи куда-то ушли, я пригласил Леню Левинского, и мы тщательно обследовали комнату. В шкафчике Намсрая обнаружили подозрительное мясо, нарезанное длинными тонкими ломтиками. Мы его тут же выкинули в помойное ведро на кухне, а комнату проветрили.

Намсраю я, конечно же, рассказал о нашем поступке. Он был взбешен, что-то кричал по-монгольски и потрясал кулаками. Я не на шутку испугался его гнева. Для нас злосчастное мясо давно потеряло свою свежесть, а для Намсрая, как оказалось, вяленая строганина – самое настоящее национальное лакомство. Гнев Намсрая быстро прошел, я был прощен.

После окончания Университета мой монгольский приятель сделал головокружительную карьеру: был собственным

корреспондентом главной газеты страны «Унэн» в Москве, затем переведен в ЦК Монгольской Народной Революционной партии, работал заведующим отделом, а вскоре стал членом Политбюро, секретарем ЦК. К каждому советскому празднику он присылал мне поздравления на больших красивых открытках. Начались перестроечные времена, и Намсрай пропал из виду…

На моей прикроватной тумбочке, под подушкой всегда лежали пачки листов со стихами тех, кто занимался поэтическим творчеством. Я исправно читал и выносил свой «приговор». Далеко не всегда мое мнение совпадало с мнением авторов, рождало высказанные и молчаливые обиды. Но я уже тогда знал: честные, нелицеприятные суждения идут лишь на пользу молодым стихотворцам, пытающимся оседлать Пегаса. Зато какое удовольствие было слушать и читать вполне профессиональные стихи Саши Лущика, Лени Левинского, Юры Мунтянова, Яши Гордина!

Яша поступил на филфак после службы в армии на Дальнем Востоке. Не в пример многим из нас он прекрасно знал литературу. Еще бы, рос Яша в интеллигентнейшей семье, получил прекрасное домашнее образование: отец его был известным литературоведом и пушкинистом, мать – писательницей. Небольшого роста, суховатый, крепкий, он и стихи писал крепкие, мужественные:

Я помню, как солдаты били вора
У автобата, между двух машин.
Без суеты, без лишних разговоров,
Спокойно и добротно – от души.
Среди других неписаных законов
Есть и такой: увидишь вора – бей!
Он не кричал, он лишь хрипел суконно
И хлюпал под ударами ремней.
Я помню, как солдаты били вора.
Песок под ним был тяжело багров.
И он хрипел. И вязко, и нескоро,
С песком мешаясь, застывала кровь.

Довольно часто мои друзья собирались в моей комнате, читали стихи, потребляли водочку, а бутылки складывали под мою кровать. Когда они стали позвякивать под грузом моего совсем не тяжелого тела, мы их отнесли в пункт приема стеклянной тары. На вырученные деньги купили мне зимние суконные ботинки. Их тогда называли «прощай молодость».

Китаец Ю пришел в восторг и вслух выстраивал логическую цепочку событий, которых был свидетелем: поэты пишут стихи – приходят к Боре – читают стихи – пьют водку – прячут бутылки под кровать – сдают бутылки – у Бори новые ботинки!

Нет, не случайно на титульном листе книги стихотворений «Пространство», изданной в 1972 году, Яша Гордин начертал: «Милому Боре – собутыльнику и союзнику в той и этой жизни. Твой Я. Г.» Частенько он навещал меня вместе с потрясающе талантливым Витей Соснорой, который в те годы работал слесарем на заводе. Никогда не забывали они вместе с бутылочкой принести какой-нибудь еды, чтобы я не оголодал. Уже тогда Виктор писал такие стихи, что каждую букву, каждый звук хотелось «пробовать на вкус».

И для Яши, и для Вити всегда была гостеприимно открыта дверь в комнату, расположенную напротив моей. Там обитали филологини, по уши влюбленные в их стихи. Девичью комнату мы называли курятником, а девочек соответственно ласково – курицами. Они на это совсем не обижались, устраивали у себя веселые посиделки. Соснора, запрокинув голову, нараспев читал новые стихи из древнерусского цикла.

В белоцерковном Киеве
такие
скоморохи —
поигрывают
гирями,
что калачами-крохами,
окручивают лентами
округлых дунек…

И даже девы бледные
уходят хохотуньями
от скоморохов,
охают
в пуховиках ночью,
ведь ночью очень плохо
девам-одиночкам.
Одним,
как ни старайся,
тоска, морока…
И девы пробираются
к ско —
морохам.
Зубами девы лязгают

от стужи.
Ночи мглисты.

А скоморохи ласковы
и мускулисты,
и дозволяют вольности…

А утром,
утром
у дев уже не волосы
на лбу,
а кудри
окутывают клубом
чело девам,
у дев уже не губы —
уста рдеют!

Дождь сыплется…
Счастливые,
растрепанные,
мокрые,
смеются девы:
«В Киеве
такие
скоморохи!»

Яша читал то эпиграмму на своего друга, то смешной стишок о нем, в котором были такие строчки:

Очень обижен Соснора,
Сморщенной мордой грустит:
«Что же, проклятие, снова
Нечего нам закусить?!»

А Леня Левинский адресовал Яше двустишие, переиначив строку из «Василия Теркина»: «Нет, ребята, я не Гордин, / Я согласен на медаль».

Никто ни на кого не обижался за дружеские пародии, подначки. Было шумно, весело, хмельно, звучали стихи, песни – и широко известные, и собственного сочинения. Как же нам было обойтись, к примеру, без песни Яши Гордина, уже много повидавшего и испытавшего?

Лишь в выигрыш веря, а так ни во что,
Один другого угарней,
При свете огарка рубились в очко
Четыре обугленных парня.

Играли на всё – на обман, на авось, —
Палатку слегка трепало, —
Играли на деньги, играли «на гвоздь»[1],
Играли на что попало.

И ночь уходила – бочком, бочком,
Чуть дергались крылья палатки,
А уголовники дулись в очко
На столике низком и шатком.

Память моя, ты прямее багра!
Я тоже из тех, кто играет.
Нас всех на заре поджидает игра,
Но масть у меня – другая.

Не было в те времена никаких магнитофонов. Были мы молоды, еще во многом наивны, безоглядно доверчивы, что называется – душа нараспашку. А душа требует песен, «потому что мир без песен тесен». Вот мы и пели.

Особой популярностью пользовалась сочиненная Витей Соснорой песня, сегодня, к сожалению, подзабытая:

Летел Литейный в сторону вокзала.
Я шел без шляпы и без башмаков.
Она, моя любимая, сказала,
Что я окончусь в дебрях кабаков.
Ушел я круто – пока, пока!
Прямым маршрутом
По ка-ба-кам.
Сижу и пиво желтое солю.
Официант! Сто пятьдесят! Салют!
Она была труслива, как лягушка,
И холодна, как в стужу винегрет,
Она хотела для постели мужа,
А днем меня хотела для бесед.
Ушел я круто – пока, пока!
Прямым маршрутом
По ка-ба-кам.
Сижу и пиво горькое солю.

Официант! По маленькой! Салют!
Кабак гудит, как зала ожиданья,
Хоть ожидать мне нечего давно.
Все, что болит, конечно, перестанет,
Все промелькнет, как кадр из кино.
Ушел я круто – пока, пока!
Прямым маршрутом
По ка-ба-кам.
Сижу и пиво желтое солю.
Официант! Четыреста! Салют!
Шатаясь, как устои государства,
Я выхожу один из кабака.
Я пропил всё – и бобочку, и галстук,
А память о любви – наверняка.
Ушел я круто – пока, пока!
Прямым маршрутом
По ка-ба-кам.
Сижу и пиво горькое солю.
Официант! Полбанки! Салют!

Эта лихая, озорная песня нам всем очень нравилась. Особенно небезопасные в те годы слова: «Шатаясь, как устои государства». Вкусно пели, со смаком!

Первая книга стихотворений Виктора «Январский ливень» вышла в 1962 году с предисловием Николая Асеева. На ней – дорогая для меня надпись: «Боре Друяну книгу, созданную в его 99 комнате. Соснора. 10.XII.62»

О судьбе одной из обитательниц курятника стоит рассказать хотя бы вкратце. Рита Климова училась на болгарском отделении. Была она маленького роста, рыжеволосая, веснушчатая. После окончания университета работала в одном из НИИ в отделе переводов. В застойные годы Рита не только читала запрещенные книги Солженицына, Авторханова. Даниэля, Зиновьева, Максимова, но и распространяла их среди знакомых. КГБ не составило труда вычислить источник распространения крамолы. Риту арестовали поздней осенью 1982 года, допрашивали, устраивали очные ставки, она целых полгода просидела во внутренней тюрьме КГБ на улице Воинова. Там Рита особенно страдала от обострившейся тяжелой болезни почек, но получить с воли необходимые лекарства не разрешалось. Состоялся суд. Приговор гласил: 8 месяцев лишения свободы и 4 года ссылки. Ее отправили на поселение в Сибирь, за Нерчинск – на далекий

Казаковский промысел, куда можно было добраться только на двукрылом самолетике. На месте ее встречали вооруженные солдаты с овчаркой, ведь они были предупреждены, что прибывает к ним государственный преступник. Когда увидели маленькую Риту, с хохотом повалились на землю. В поселке ее определили работать на механическом складе. Вскоре она дала знать о себе. Друзья отправляли Рите деньги. На обороте квитанций я коротко писал: «Курице на пшено».

После освобождения она не имела права жить в Ленинграде. С трудом ей удалось обосноваться в Луге, где жили ее родители и сестра. В стране началась перестройка. Наша одногруппница Галя Анопченко, работавшая тогда на телевидении в знаменитой программе «Пятое колесо», организовала сюжет о Рите. С микрофоном в руке она буквально ползала за Ритой по грядкам клубники. Интервью получилось не только необычным по форме, но и очень интересным. Вскоре Рите разрешили вернуться в Ленинград. С большим трудом ей удалось получить комнату в коммуналке.

На очередном дне рождения старосты нашей студенческой группы Саши Ходорова была и Рита Климова. В приветственном стихотворении я в шутливой форме упомянул всех наших девочек, не забыв и дорогую всем нам Курицу:

С Ритой Климовой, ребята,
Чокнуться приятно мне.
Жаль, что Курицу когда-то
Упустил на целине…

Как горько, как печально, что Рита рано ушла из жизни. Безусловно, на это повлияло и ее заточение. Всякий раз, когда мы собираемся вместе, обязательно вспоминаем добрыми словами тех, кто уже никогда не будет с нами, еще живущими. И среди них – при жизни одинокую, добрую, улыбчивую Риту, чья судьба была так безжалостно изломана…

Незаметно подкрались государственные экзамены. Мы с Леней Левинским готовились к ним вместе. Опасались лишь экзамена по русскому языку. А он уже на носу. Помнится, сидим в моей комнате, перед нами веером – экзаменационные билеты. Многое нам непонятно, особенно по истории языка, невыразимо скучно, тоскливо. Делаем перерыв. Я выхожу из комнаты и вижу третьекурсницу Дину Шулаеву. Она живет в комнате вместе с Адой Мартынюк, которая как-то обмолвилась, что Дина по всем предметам имеет лишь пятерки. Останавливаю ее, прошу на

минуточку зайти к нам. Лишь только за ней закрывается дверь, поворачиваю в замке ключ, прячу в карман и ласково говорю, что выпущу ее лишь после того, как она даст нам с Леней консультации по всем вопросам в билетах по русскому языку. Дине ничего не остается, как принять «ультиматум». Она действительно прекрасно знала предмет и к тому же обладала прирожденным педагогическим даром. Конечно же, за один «сеанс» нечего было и думать обучить нас всем премудростям истории языка, пришлось ей еще пару раз вплотную заняться устранением пробелов в наших головах. Благодаря ее усилиям мы успешно сдали этот экзамен.

Через два года, в начале сентября, по делам я зашел на родной филфак и увидел Дину. Она как раз окончила учебу в университете и поступала в аспирантуру. Она не смогла и на этот раз отказаться от приглашения посетить мое скромное жилище в коммунальной квартире. И вот уже пятьдесят лет я ее не отпускаю от себя.

На пятом курсе зимою 1961 года меня и Лёню Левинского пригласил на работу в Михайловское директор Пушкинского заповедника Семен Степанович Гейченко. За нас порадовались преподаватели кафедры советской литературы, особенно руководитель наших дипломных работ Евгений Иванович Наумов. Мы съездили в заснеженное Михайловское, побродили по местам своей будущей работы, где все дышало Пушкиным, почаевничали с Гейченко у него дома, даже приглядели избу, где намеревались жить, и вернулись в Ленинград в счастливой уверенности, что нас ждет увлекательнейшая работа. Планы строили, конечно же, грандиозные. Госэкзамены сдали успешно, на «отлично» защитили дипломные работы: мой друг – по творчеству Владимира Луговского, я – по поэзии Вадима Шефнера.

Злой рок ударил нас неожиданно и наотмашь. Оказалось, путь в Михайловское нам категорически заказан. Непреодолимой стеной встали на нашем пути межведомственные барьеры: Пушкинский заповедник находится в ведении Министерства культуры, а нас, грешных, распределяют по ведомству Министерства просвещения. Все это строго и немногословно изложил нам заведующий отделом кадров ЛГУ Катькало. Мы были обескуражены. Как же так? Ведь мы не дезертиры какие-нибудь, нас пригласили на хорошую работу, родная кафедра радуется за нас. Где же справедливость?

Вот за этой справедливостью мы и кинулись к ректору Александру Даниловичу Александрову. Мы с Лёней верили, что Александр Данилович заступится за нас. Подкараулили его около

входа в главное здание университета. Ректор внимательно нас выслушал и с ироничной улыбкой произнес убийственную фразу: мол, негоже замечательным специалистам сдувать пыль с томов Пушкина, надо ехать туда, куда определит Катькало.

Увидев наши несчастные лица, Александр Данилович уже серьезно сказал, что этот межминистерский вопрос не может решить даже он, ректор, и посоветовал съездить в Москву и попытаться самим в двух инстанциях уладить проблему.

Долго стояли мы с другом на гранитной набережной и прикидывали все «за» и «против». Мимо нас несла свои воды равнодушная к нашим заботам Нева. В конце концов, решили: дело наше правое, оно непременно должно «выгореть», ведь во главе Министерства культуры стоит член Политбюро ЦК КПСС Екатерина Фурцева, уж она-то нас, таких ценных кадров, не упустит! Взяли для меня у Яши Гордина «в долг без отдачи» деньжат на билет и отправились в столицу нашей Родины.

Как же мы были разочарованы, когда узнали, что наша главная надежда – Фурцева – находится в зарубежной поездке! Нам ничего не оставалось, как направить свои стопы в Министерство просвещения, где нас тут же (в это трудно сегодня поверить!) принял сам министр. Разговор был долгий, трудный и неформальный. Наконец, министр твердо подвел черту: мы ему очень понравились, таких в его ведомстве не так уж много, и он сделал бы несусветную глупость, отпустив нас в чужое министерство. И – всё. Точка! Дружески пожал нам руки и проводил по ковровой дорожке до дверей кабинета.

Растерянные и мрачные вернулись мы в Ленинград. На факультете нам искренне сочувствовали. Но оказались и недоброжелатели. В университетской многотиражке появился едкий материал под заголовком «Мы были у министра», где досталось и нам с Лёней, и другим таким же горемыкам-неудачникам.

А между тем распределение уже закончилось. Пока мы с другом боролись за право работать в Михайловском, все приличные места уже оказались занятыми, и нам достался лишь далекий Сахалин. Об этом с видимым удовольствием сообщил всесильный кадровик. И все же в нашем случае он оказался не таким уж всесильным. О нас помнил ректор. Он вызвал Катькало и настоятельно попросил подыскать для нас что-нибудь поближе. В результате нас с другом направили в Новосибирск.

Перед отъездом мне пришлось срочно прописаться в родную комнату на Измайловском проспекте. Для этого необходимо было получить письменное согласие брата невестки. С братом проблем не было, а вот Вера не сразу решилась на этот шаг, а решившись,

потом многие годы не уставала напоминать о своем благородстве. Старая паспортистка тетя Лена привела меня к начальнику районного паспортного стола, объяснила ситуацию, рассказала о моих родителях, которых хорошо помнила. Строгий начальник внимательно выслушал ее и поставил свою разрешительную подпись.

В Новосибирске мы прямо с вокзала направились в областной отдел народного образования. Там нас какой-то чиновник встретил доброжелательно, сказал, что ленинградцев в Сибири очень любят, он предлагает нам работу в красивейших местах, где есть хорошие школы, рыбалка, леса, охота. Однако выяснилось, что должны мы отправиться в разные районы, а для нас расставание было немыслимо. Чиновник нахмурился, но пообещал подыскать приемлемый вариант и попросил зайти к нему через два-три дня. Он тут же кому-то позвонил и сказал нам, что переночевать мы можем в Институте усовершенствования учителей.

Медленно шли мы по центральной магистрали города – Красному проспекту. Настроение было ниже среднего: сможет ли чиновник направить нас вместе на работу? Справа на большом здании увидели вывеску, свидетельствующую, что здесь находится Обком КПСС. Не раздумывая, вошли в вестибюль, попросили дежурного направить нас в отдел печати.

Хозяин кабинета по фамилии Рукин встретил нас словами, которые мы слышали не более часа назад: «Это хорошо, что вы из Ленинграда, мы, сибиряки, ленинградцев любим». После получасовой беседы он сказал, что если мы согласимся, он отправит нас в районный центр – город Чулым в редакцию местной газеты «За коммунизм!». Выехать туда можно в любой удобный для нас день, там как раз нужны два журналиста, а он позвонит редактору газеты. Конечно же, мы были согласны. То, что мы направлены по распределению в областной отдел народного образования, не имеет значения: Областной комитет партии вправе направить нас на работу туда, куда считает нужным.

Весело переговариваясь, мы разыскивали местонахождение Института усовершенствования учителей, где нам предстояло переночевать. По пути заходили в продовольственные магазины. Увы, полки были пусты, вернее, на них стояли банки с маринованной свеклой и еще что-то малосъедобное. Хорошо, что в булочной сумели затовариться.

В институте у какого-то начальника на двух противоположных стенах висели большие портреты Маркса,

Энгельса, Ленина и… Пушкина. Александр Сергеевич, по всей видимости, занял место развенчанного Сталина. В самом деле, нельзя же было оставлять в одиночестве Владимира Ильича, на которого с противоположной стены смотрели Маркс и Энгельс! Вот исключительно для симметрии и определили к нему в компанию Пушкина: он тоже при роскошной растительности на лице, да к тому же его образ как никакой другой уместен в храме учителей.

В нашем распоряжении оказался спортивный зал с толстыми пыльными матами и больше ничего. Ну что ж, нам не привыкать, поди, не из графьев.

Утром решили, что никогда не простим себе, если не побываем в Академгородке. На каком-то автобусе довольно быстро туда добрались. Удивительно, но слово «ленинградцы» тогда действовало магически. Совершенно незнакомые люди приглашали к себе домой, показывали все, что тогда было уже построено и еще строилось, рассказывали, что благодаря академику Лаврентьеву в первую очередь возводятся корпуса для научных исследований и добротные жилые дома для сотрудников. Мы были поражены, что партийная и советская власть размещены в обыкновенном бараке. Пригласили нас и в Институт, где математическими методами расшифровывали язык майя. Усталые, вернулись в город, снова переночевали в гостеприимном Институте усовершенствования учителей и дневным поездом отбыли в Чулым.

Без раскачки пришлось включиться в работу. Лёню, как члена партии, назначили заведующим отделом писем, меня – корреспондентом. Газетная поденщина не знает отдыха, беспрерывно необходимы материалы – и серьезные статьи, очерки, и крохотные информационные материалы о жизни города и района. На попутных машинах, а то и на впряженных в розвальни лошадях мотались в командировки в ближние и дальние совхозы – Иткульский, Кабинетный, Ужанихинский, Чикманский, Серебрянский… Писали о людях деревни, труде полеводов, механизаторов, животноводов, врачей, учителей… Перед тем как придти в правление совхоза для беседы с начальством, взял за правило встречаться в поле или на ферме с рядовыми людьми. Не стеснялся спрашивать о том, в чем мало или совсем не понимал. И люди в ответ «раскрывались», откровенно рассказывали все, что знали. Блокнот распухал от живых фактов, в правлении меня уже нельзя было при помощи цифири ввести в заблуждение. Сибиряки – народ хороший, душевный. Наперебой приглашали на ночевку. В избе выставляли

на стол все, что могли: картошку, капусту, яичницу с салом, кашу, молоко. Если не было водки – самогон. Но я сказывался больным печенью и от мутноватого напитка отказывался. На ночь, не слушая возражений, укладывали на хозяйскую кровать, а вся семья располагалась на печи и на широких лавках.

Однажды зимой приехал в совхоз «Кабинетный». Я уже знал, что в середине тридцатых годов здесь работал начальником политотдела Дмитрий Шепилов – тот самый, «примкнувший» к «антипартийной группе Молотова, Кагановича и Маленкова». Вся четверка пять лет тому назад была изгнана со всех высоких государственных постов.

На конюшне центральной усадьбы мне запрягли в сани лошадь, и я отправился за несколько километров на молочную ферму. Слева и справа наезженой дороги лежали искрящиеся под солнцем ровные белые снега. Внезапно увидел невдалеке огненно-рыжую лису. Она, видимо, пребывала в отличном расположении духа и бежала параллельно с санями, иногда подпрыгивала, зарывалась с размаху в лебяжий пух снега и снова мчалась вперед, как бы говоря мне: «Вот я какая, полюбуйся, посмотри!» Зрелище действительно было потрясающее. Никогда после мне не приходилось видеть, как безбоязненно, весело и осмысленно ведет себя дикий зверь на воле вблизи человека.

На ферме меня приветливо встретили. Для начала поинтересовались, кто я, откуда, а узнав, что я ленинградец, обрадовались как родственнику, напоили молоком и повели показывать свое хозяйство. Я сразу заметил, насколько хорошо немногочисленные скотники содержат коров. На ферме был лишь один мужчина – бригадир, остальные – женщины. Было видно, что они живут очень дружно, работают на совесть.

Стемнело, когда после плотного ужина я отправился в обратную дорогу. Настроение было прекрасное, в голове уже складывался очерк под названием «Дядя Коля и его семья», я любовался чистым ночным небом, густо усеянным крупными звездами. В тулупе конюха можно было ехать хоть сто верст без опасения закоченеть. Уже все ближе и ближе редкие огни центральной усадьбы совхоза. И в этот момент замечаю, что лошадь, почуяв стойло, припустила ходу, ее хвост удаляется от передка розвальней, а я не могу удержать вожжи и выскакиваю на дорогу. Оказалось, савраску запрягли небрежно, и она, освободившись от оглоблей, понеслась вскачь, не слушая моих громких «Стой! Тпр-ру! Стой!!!» Лошади прекрасно понимают, кто хозяин, а кто случайный извозчик. Пришлось посреди дороги бросить сани, тяжелый тулуп и по морозу быстрым шагом идти вслед за убежавшей лошадью. Уже показались избы, а на окраине

поселка меня уже встретил конюх с лошадью в поводу. При виде появившейся в конюшне лошади без саней он все сразу понял и поспешил мне на выручку.

Газета, подобно мощному пылесосу, требовала все больше и больше материалов. Мы с Лёней вынуждены были подписываться под ними разными псевдонимами. Несколько раз я использовал свой озорной целинный псевдоним: Мл. Бражкин. Редактор Большаков пригласил меня в кабинет и официально заявил, что Райком партии резко против моего псевдонима. Ну что тут возразишь: Райком есть Райком – главная, направляющая сила. Я собрался уходить, но редактор поинтересовался, как расшифровать странное Мл.? Я ответил, что это всего лишь слово «младший», есть Старший Бражкин, который работает в газете на Крайнем Севере, а Старший – потому что может значительно больше, чем я, выпить. Большакова мое объяснение вполне удовлетворило, он даже развеселился, что случалось с ним редко, но употреблять такой замечательный псевдоним он, хотя и со смешком, но категорически запретил.

Редактор наш всегда становился начальственно-официальным, когда мы с Лёней на летучках пытались хоть как-то разрядить скучную атмосферу пустых разглагольствований, нотаций, указаний. Однажды он справедливо заметил, что необходимо придумывать запоминающиеся, хлесткие заголовки. В то время многие газеты публиковали материалы об искусственном осеменении крупного рогатого скота. На этот раз Лёня с серьезным видом предложил: «Искусственное осеменение – в массы!» Большаков недовольно поморщился и потребовал от нас быть более серьезными. И тогда я выпалил: «Если есть избыток спермы, – приноси ее на ферму!» Официальный, деловой разговор сразу же снизился до предела, даже редактор не мог не рассмеяться.

Зарплата наша была очень маленькая, а гонорары мизерные. Денег нам едва хватало на еду и оплату жилья, которое нам, как молодым специалистам, должны были предоставить бесплатно, но мы стеснялись об этом даже заикаться. Жили мы у очень добрых стариков, больших денег с нас не требовали, кажется, даже гордились, что к нам домой, бывало, приходили люди за помощью, с жалобами на то, что их притесняют на работе, не хотят выслушать чиновники, у кого-то незаконно «отрезали огород по саму стайку». Приходилось без промедления разбираться, способствовать восстановлению справедливости. Если редактор противился ставить в номер острый материал, мы предупреждали, что отправим его в «Известия» или «Правду».

Было приятно, когда люди приходили со словами благодарности, если нам удавалось им помочь. Вместе с нами радовались и хозяева дома, ведь городок маленький, люди в большинстве своем знают друг друга.

Тётя Дуся, настоящая сибирячка, плотная, краснощекая – хоть в кино снимай! – иногда угощала нас домашними пельменями, одобрительно наблюдая, как я быстро уминаю содержимое глубокой миски. Лёню она жалела, считала, что он больной, раз не может справиться с такой же, как у меня порцией. Я не бросал друга в беде и дочищал его миску до последнего пельменя. Улыбающаяся тётя Дуся стояла посреди комнаты. Обе ее ноги крепко обнимали трехлетние карапузы – внук и внучка. Бабуля таяла от удовольствия, гладила детские головенки и с нежностью нараспев произносила: «Бля-а-а-ди… Ну, и бля-а-а-ди…». Слово это нисколько не резало слух, оно выражало безмерную радость, любовь, невыразимое счастье.

В редакции мы задерживались до темноты, затем по телефону звонили в пристанционный буфет, где нас уже хорошо знали, и просили оставить для нас что-нибудь пожевать. В один из вечеров официантка как обычно принесла нам котлеты с гарниром и чай. Из-за соседнего столика поднялся хорошо одетый человек, явно командированный чиновник, и потребовал у официантки «Жалобную книгу», раздраженно говоря, что он еще до нашего появления просил порцию котлет, но ему не дали, а вот нам принесли, сразу видно, по блату. Официантка пыталась оправдаться, а мы почувствовали себя, что называется, «не в своей тарелке». Отдать рассерженному гражданину свою котлету было поздно, на ней, как писал Михаил Зощенко, уже был «надкус сделан».

Неожиданно из-за другого стола подошел явно выпивший коренастый мужичок и, ткнув гражданина крепкой пятерней в грудь, прохрипел: «Ты кто такой, чего разорался-то? Ты знаешь, кто он? – и, указав на меня, повысил голос: – Он под моим трактором в грязи валялся, помогал мне, а ты хоть знаешь, что такое разводной ключ?!».

Скандала не получилось, любитель котлет поспешил рассчитаться и благоразумно покинул помещение. Мы поблагодарили заступника и с удовольствием доели свой ужин. Нет, все же не зря мотаемся мы по району, встречаемся с самыми разными людьми, стараемся помочь им и честно пишем о них на страницах своей маленькой газеты.

Неожиданно – всего на один день – навестила нас однокурсница Лада. Она работала тоже в одном из районов

Новосибирской области. Не помню, как она умудрилась нас отыскать. Другое дело – Валя Богатов. Он трудился в газете в соседнем районе. В порядке обмена туда доставлялась наша газета. Он увидел в ней наши материалы и стал частенько звонить по телефону. Нас все-таки было двое, а он в одиночестве очень тосковал.

Иногда мне приходили короткие письма от Вадима Сергеевича Шефнера. Это было большим для нас с Лёней праздником. В Чулыме я получил от поэта и бандероль с бесценным подарком – новой книгой стихотворений «Знаки земли».

Однажды вечером мы пришли в новый широкоэкранный кинотеатр посмотреть фильм «Собор Парижской Богоматери». Купили билеты в первый ряд. Перед сеансом демонстрировался киножурнал о белых ночах Ленинграда. Когда он закончился, мы переглянулись, разом встали и вышли из кинотеатра. На сердце навалилась тяжесть: когда еще придется увидеть наш прекрасный город? Оказалось, ждать осталось не так уж и долго. В апреле я получил письмо от брата. Он писал, что наш дом расселяют и мне надо срочно возвращаться в Ленинград, если я не хочу потерять жилплощадь. Редактор газеты подписал мое заявление об увольнении по собственному желанию. У Лёни возникли серьезные проблемы. В Ленинграде у него не было прописки. Мама его жила в Баку, но и там он давно был выписан. Получалось, что он стал не имеющим собственного дома постоянным жителем Чулыма. Я его убедил, что ему надо ехать со мной, а в Ленинграде обязательно что-нибудь придумаем. Но тут выяснилось, что наш редактор не имеет права уволить коммуниста Лёню, поскольку на это нужна санкция первого секретаря райкома партии.

Ну, что ж, нам не привыкать посещать хозяев высоких кабинетов. Первый секретарь Рассказов принял нас сразу, выслушал и сказал, что с нашим появлением газета в короткий срок стала более содержательной и острой и он ни за что нас не отпустит. Узнав, что редактор уже уволил меня по собственному желанию, рассерженно пророкотал, что Большакова обязательно строго накажет, а вот Левинскому в дальнейшем придется работать за двоих. Беседа затянулась и, казалось, ничто уже не может поколебать хозяина кабинета. Непроизвольно мне удалось привести самый действенный аргумент: «Вы же прошли войну, у вас наверняка на фронте был товарищ, с которым делили последний сухарь. Разве вы смогли бы легко, даже по приказу расстаться? У нас такая же история, мы много лет вместе, в Ленинграде мы планируем поступать в аспирантуру, нам надо

налаживать свою жизнь». Сопротивление было сломлено, Рассказов поставил подпись на заготовленном нами заявлении. По-мальчишески весело скатились мы со ступеней райкома партии.

В Ленинграде в новых районах невиданными темпами шло строительство новых жилых домов, которые чуть не сразу же люди стали называть «хрущобами». Брат с женой и ребенком получили однокомнатную квартиру в Московском районе, а я поселился в Невском районе, на правом берегу Невы, недалеко от Володарского моста. Наш дом торцом выходил на труднопроходимую из-за грязи улицу, которая называлась Дорога на станцию Нева. Это потом она стала Народной улицей. А пока мы с Леней шутили: «Дороги на станцию нема!»

Мне – и только мне! – принадлежала комната в коммуналке площадью 11,66 квадратных метров. В квартире жила еще одна семья. Ко мне, естественно, поселился и Лёня Левинский. Через мою давнюю знакомую, у которой был знакомый милиционер, удалось прописать друга к каким-то очень дальним родственникам его матери. А с пропиской уже можно было искать работу. Вскоре Леня стал работать на заводе «Скороход», сперва на радио, а затем в многотиражной газете, женился на коренной ленинградке, у них родилась девочка.

Чтобы оглядеться, я устроился референтом в Международную молодежную туристическую базу «Дружба», да так в ней и застрял на два года. Случайно на отдыхе в Сочи познакомился с одним из самых интересных людей Ленинграда – директором телевидения Борисом Максимовичем Фирсовым. Он пригласил меня в команду создателей учебной программы, обещая в будущем место в литературной редакции. Так я стал редактором, в чьем ведении была подготовка телевизионных лекций по высшей математике. И это притом, что я в элементарной-то арифметике разбирался с трудом!

И снова мне пришел на помощь Его Величество Случай. В конце 1964 года на квартире телевизионного режиссера я оказался за столом рядом с редактором отдела художественной литературы Лениздата Ниной Чечулиной. Она упомянула имя Вадима Сергеевича Шефнера. Весь вечер мы в основном говорили об этом замечательном поэте. Однажды Нина Александровна позвонила мне на работу и попросила, если у меня будет свободное время, заглянуть в редакцию художественной литературы Лениздата. Думая, что она просто хочет продолжить литературные разговоры, я не очень-то торопился. Лишь через неделю вспомнил о звонке и пришел в здание издательства на

Фонтанке. За круглым редакционным столом шел общий неторопливый разговор, пили крепко заваренный чай, ко мне обращались с обычными вопросами о работе, о книгах, которые я читаю. Заведующий редакцией Петр Федорович Копытин предложил мне написать рецензию на только что поступившую рукопись некоего Башканова. Я был вовсе не против подработать, зарплата у меня была небогатая. На том и расстались.

Рукопись мне показалась интересной, но требующей серьезной доработки. Свои соображения я подробно изложил на бумаге. Во время следующего визита в Лениздат Петр Федорович прочитал рецензию и неожиданно предложил работу в редакции. Наша предыдущая встреча за круглым столом была, как он заметил, смотринами. Я и мечтать об этом не мог и, конечно же, согласился.

Утром следующего дня пожилая секретарша ввела меня в кабинет директора Лениздата Леонида Васильевича Попова. За широким письменным столом восседал громадный седой человек с мясистым лицом, на котором было все большое, увесистое – нос, щеки, подбородок. Он хмуро подписывал какие-то документы, хрипло дышал и не смотрел в мою сторону. А я нерешительно стоял у дверей. Наконец он поднял голову, жестом пригласил сесть в кресло и сказал, что Копытин просит определить меня в его редакцию. Но мнения Копытина мало, сейчас выяснится, как я показал себя на прежней работе. Директор снял трубку «вертушки» Смольнинской АТС и стал разговаривать с директором телевидения Фирсовым. Тот, видимо, отозвался обо мне хорошо. Леонид Васильевич положил на рычаг трубку, широко улыбнулся и сказал, что прикажет зачислить меня на работу в Лениздат переводом, чтобы не пропадал непрерывный стаж, что очень важно для будущей пенсии, которая пока еще за высокими горами. Так с середины января 1965 года я стал заниматься любимой работой.

С Леней Левинским мы не теряли друг друга из виду. Со временем мы стали работать в одном здании: он занял пост заместителя главного редактора городской газеты «Ленинградский рабочий». В 1977 году главный редактор журнала «Аврора» Глеб Горышин настойчиво просил меня возглавить отдел поэзии журнала. Но я тогда не был готов расстаться со своей издательской работой и «сосватал» ему своего друга. Работе в журнале Леня отдал многие годы, публиковал известных поэтов, искал и находил молодые таланты. Сам продолжал писать стихи, но не хотел их печатать, отшучивался: «В первой десятке мне не бывать, а сто восемьдесят восьмым ты и

сам не захочешь меня видеть».

В 1994 году исполнилось двадцать пять лет журналу «Аврора». Леня сдался на уговоры сослуживцев, и в июньском номере появилась большая подборка его стихотворений.

Трудно представить, но это так: мы отпраздновали пятидесятилетие со времени окончания Ленинградского университета. Мы – это 3-я русская – преимущественно девчоночья – группа филологического факультета. До сих пор встречаемся то в Доме журналиста, то по случаю дня рождения или юбилея каждого из нас. С одной из фотографий 1996 года на меня, вернее в объектив моего фотоаппарата, весело глядят те, кто остался от нашей славной 3-ей русской. Все сидят за праздничным столом, лишь один – наш неизменный староста Саша Ходоров стоит сбоку. Как всегда он неулыбчив, серьезен. Еще в те уже немыслимо далекие пятидесятые годы минувшего века Саша заметно отличался от всей нашей разудалой студенческой братии. Отличался сверхсерьезностью, фантастическим прилежанием, легкостью, с которой «щелкал» экзамены и зачеты. Его знания выходили далеко за рамки учебной программы. Да и внешне Саша обращал на себя внимание своей нестандартностью: движения его были порывисты, лицо время от времени искажала мимическая гримаса, глаза лихорадочно блестели и становились спокойными и сосредоточенными лишь на лекциях и семинарах.

С рожденья его преследовала какая-то неведомая для нас болезнь. К тому же у него был речевой изъян – шепелявость. Врачи запретили ему ездить с нами на студенческие стройки, на уборку целинного урожая. И все-таки мы все очень хорошо относились к Саше. Был он самым юным в группе, однако это не помешало ему стать нашим лидером – старостой. С большим старанием тащил он эту общественную нагрузку, сам никогда не пропускал лекции и практические занятия и того же требовал от других, безжалостно отмечал прогульщиков в кондуите, который сдавал в деканат.

Такая участь не миновала и меня, грешного. В деканате две добрейшие сотрудницы Екатерина Алексеевна Васильева и Мария Семеновна Лев строго поинтересовались, почему это я пропускаю занятия. Узнав, что по ночам иногда становлюсь грузчиком для пополнения тощей стипендии, оттаяли и неофициально посоветовали переговорить с Ходоровым, дабы он не отмечал меня в кондуитах.

Наши с ним дружеские переговоры, как потом оказалось, ни к чему не привели, меня снова вызвали в деканат и снова

настоятельно порекомендовали побеседовать с Ходоровым. И тогда я, вчерашний флотский крепкий паренек, пару раз слегка «прислонил» Сашу к стенке. На сей раз мои аргументы оказались столь убедительны, что отныне во всех представляемых в деканат сведениях прогульщиком я не числился. Тот давний «разговор» tet-a-tet вспоминаю с чувством стыда, ведь Саша был так слаб и беспомощен…

В любую сессию перед экзаменом по любому разделу литературы мы собирались в пустой аудитории вокруг Саши, и он давал мастер-класс. Тут он был в своей стихии: держась за спинку стула, высоко вздернув подбородок, неторопливо и четко излагал сюжеты непрочитанных некоторыми из нас произведений, не забывая анализировать их, словно профессиональный лектор-литературовед. Литературу он знал великолепно, легко ориентировался в сложнейшей проблематике. Вне всякого сомнения, он стал бы блистательным лектором, если бы не досаднейший неисправимый изъян речи. Неудивительно, что университет Саша Ходоров окончил с красным дипломом, а затем столь же успешно аспирантуру Пушкинского Дома, защитил кандидатскую диссертацию.

Шли годы, мы, осевшие в Ленинграде одногруппники, встречались в доме своего старосты. Было шумно, весело, говорили, перебивая друг друга, подтрунивая друг над другом, любуясь и гордясь друг другом, разыгрывали призы. (Однажды мне достался необычный приз – живая черепаха Клёпа, которая прожила у меня много лет). Неизменно на большом столе – вкусная еда, приготовленная добрейшей Сашиной мамой Мариной Михайловной, и разного рода бутылки и бутылочки. Саша никогда не курил, выпивал очень мало – алкоголь ему был решительно противопоказан. Но, как говорится, из компании не выпадал, из общего веселья не выключался. Я же был в те годы отъявленным курильщиком, частенько выходил из-за стола на кухню. Как-то на этой небольшой ходоровской кухне мы беседовали с отцом Саши. Я признался Евгению Иосифовичу, что в Университете отличником мне быть не довелось, водились у меня даже довольно неприятные «хвосты», с которыми боролся изо всех сил. И тут отец Саши меня изумил, сказав, что сын и в школе учился всегда только на пятерки и что он, отец, был бы просто-напросто счастлив, если бы Саша хоть когда-нибудь притащил домой «трояк». Изумление мое, помноженное на только что принятый за столом на грудь сорокоградусный увеселитель, немедленно переросло в твердую убежденность: те немногие мои «хвосты» не так уж позорно-мерзопакостны…

У каждого из нас была своя работа, каждый занимался своим делом. Саша Ходоров – своим, главным в жизни: литературой, точнее – литературной критикой. В периодике Ленинграда регулярно публиковались его статьи, рецензии. Особое внимание уделял он литературе молодых. Известная поэтесса и прозаик Татьяна Алферова с благодарностью вспоминает Александра Евгеньевича Ходорова. Именно он заметил ее самый первый маленький сборник стихотворений «Станция Горелово». Не могу не вспомнить его рецензию, напечатанную в «Вечернем Ленинграде» в октябре 1978 года на поэтическую книгу Светланы Молевой «Ожидание встречи». Тонко и точно проанализировав стихи талантливой поэтессы, он нашел добрые слова и в адрес редактора книги – своего старого товарища, когда-то «прислонившего» его к стене университетской аудитории.

В конце 1980 года я перешел из Лениздата в журнал «Нева», где Саша Ходоров уже был авторитетным сотрудником отдела критики. Через некоторое время он стал во главе этого отдела, вступил в Союз писателей. Работал много и с удовольствием, привлекал к сотрудничеству маститых и немаститых, но непременно талантливых авторов.

Да и сам никогда не находился в творческом простое – многие десятки статей и рецензий опубликовал он в журнале. Сотрудничал и с разделом «Седьмая тетрадь», где царствовал Анатолий Петров. Здесь под рубрикой «Из жизни мордохвостых» появлялись небольшие заметки страстного котофила Александра Ходорова.

Саша и его мама Марина Михайловна трепетно относились к животным. Бездомных они кормили, а некоторые собаки и кошки оставались жить в их квартире. Как-то Саша, узнав, что у нас на даче какой-то негодяй убил нашего любимого кота Гаврика, попросил приехать к ним и посмотреть котенка. Жалобный писк на чердаке услышала Марина Михайловна. Саша полез туда и вернулся с крошечным существом. «Голова и хвост» – вот и все, из чего, по выражению Саши, состоял этот котенок. Мы тяжело переживали смерть Гаврика и решили никогда не заводить животных. Но тут не выдержали – взяли котенка. Назвали Шуриком в честь Саши. Окруженный любовью, он прожил у нас восемнадцать лет.

Когда меня особенно донимал через Обком КПСС какой-нибудь воинствующий графоман-стихотворец, я прибегал к помощи Саши Ходорова. Он писал подробный аргументированный отзыв, который отрезвляюще действовал на нахрапистого сочинителя. В редакции Ходорова называли ходячей энциклопедией. Он действительно знал и помнил то, что

мы или уже подзабыли, или вовсе не знали. Стоило задать ему любой вопрос, касающийся литературы, как он, находящийся в непрерывном движении, резко останавливался и, как в студенческой юности, вздернув подбородок, подробнейше объяснял суть проблемы. Мозг его хранил бездну сведений, фактов, дат, имен и фамилий, номеров телефонов…

«Нева» для нас была родным домом особенно в годы, когда у руля журнала стоял Дмитрий Терентьевич Хренков. И когда уже во времена перестройки новый главный редактор Борис Никольский из-за финансовых проблем распорядился приходить на службу лишь два раза в неделю редакторам, то есть тем, кто делает журнал, урезав при этом зарплату вдвое, нам стало довольно кисло. Особенно болезненно воспринял новшество Саша Ходоров. Он не мыслил себя «приходящим» сотрудником, он должен был ежедневно работать в редакции. До самой своей кончины в 1998 году он так и не мог привыкнуть к унизительному положению, остро переживал и мучился. Болел он тяжело. Как-то в разговоре Михаил Александрович Дудин сказал: «Рак – это болезнь печали». Думается, горькая печаль способствовала возникновению убийственной хвори нашего Саши.

Третья русская, увы, здорово поредевшая, по-прежнему вместе: Ира Алешкова (Санькова), Женя Морякова – она всегда приезжает на встречи из Волгограда, Галя Нечаева (Анопченко), Ира Плестакова, Кира Ульянова (Кострыкина), Лена Шаркова (Ященко).

Вновь и вновь вглядываемся в старые снимки, вспоминаем родной университет, нашего старосту Сашу Ходорова.

Увы, давно уже нет многих моих дорогих друзей. Я их всех помню. И буду помнить до последнего часа.

«Тинь-тинь… Тинь-тинь…» Еле слышный магический звук прощанья, звук из космоса: «Тинь-тинь…».

«Мама, это я…»

Церковь полуразрушенная,
А над нею – стрижи.
Чьими-то древними душами
Стая птичья кружи́т.

Милое, полузабытое,
Что я в душе таю? —
Знаю, стоять мне ракитою
В этом глухом краю…

Елена Балашова

Мне было тридцать три года, когда я впервые после войны приехал в костромскую деревню Федоровское, чтобы отыскать могилу мамы. Приютившая меня Анна Васильевна Смирнова рассказала, что родственники моей мамы старики Шараповы уже умерли, их сыновья далеко от дома, а дочери Катя и Тоня живут в другом конце района, в совхозе Серапиха. Тоня вышла замуж за моего школьного товарища Павла Гусева, а он теперь большой в районе человек – директор откормочного совхоза-миллионера. Им уже по телефону сообщили обо мне, и они вот-вот приедут за мною.

Утром прикатил зеленый УАЗик. Из него выбрались Павел и Тоня. Ну, разве можно было узнать в солидной молодой женщине маленькую девчонку военной поры. Тем более первоклассника Павлушку Гусева! Меня сжимал в медвежьих объятиях грузный, лобастый человек. Да и я, конечно, изменился до неузнаваемости. Через час мы уже были в Серапихе. Навстречу нам выскочили из дома детишки – Валерка и Володька. Катерина еще трудилась в поле, вернулась домой вечером. Сухонькая, жилистая, она была в совхозе разнорабочей.

Вместо запланированных нескольких дней я провел на чухломской земле весь отпуск. Павел не давал мне скучать. Мы быстро с ним подружились. С утра я уже сидел рядом с ним в УАЗике, объезжали его обширное хозяйство – поля, животноводческие фермы, маслозавод, мастерские, мчались по неотложным делам в Чухлому. Он познакомил меня со своими друзьями, а их у него оказалось очень много, заруливали в Туруково, где до сих пор жили его мать и сестра.

Несколько раз, не ожидая с моей стороны просьбы, Павел

гнал машину в Понизье, место упокоения моей мамы и бабушки. Однажды он предложил обозначить разрушенную могилу мамы цементной плитой, мол, её доставит сюда трактор. Однако, поразмыслив, мы от этой затеи отказались. Как и многое другое в те времена, плиты были дефицитом, и не факт, что местные жители не соблазнятся при помощи трактора умыкнуть ее для своих хозяйственных нужд. И тогда окончательно пострадали бы и могила мамы, и могила бабушки, через крест которой проросло дерево. Можно было бы перенести их прах на кладбище в Чухлому. Но я решил, что нет смысла тревожить родные косточки через четверть века после захоронения: в конце концов, я не вечен, а после меня вряд ли кто посетит их могилы даже на районном кладбище. А здесь, рядышком со стеной пусть и разрушенного собора, – земля святая…

Незабываемой оказалась ночная рыбалка на Чухломском озере. Правда, мы с Павлом лишь наблюдали с борта катера, как бригада рыбаков сетями вылавливала знаменитых золотых карасей и щук. Местные жители называют карасей «лаптями». Еще бы, их вес доходит до полутора килограммов. Потом на берегу, невдалеке от Авраамиева монастыря, под водочку деревянными ложками хлебали тройную уху с добавлением «для скуса» щурят. Мужики говорили, что до революции здешних карасей поставляли к царскому двору, а в наше время будто бы за живыми карасями из Москвы для самых главных начальников приезжают специальные машины вроде поливочных.

Уже под утро на катере мы доставили пожилого бригадира рыбаков в Андреевское, где он жил. Еще на берегу он приглядывался ко мне, видимо, где-то услышал о моем приезде в соседнее Федоровское. На катере подсел ко мне и начал вспоминать военные годы, работу в колхозе, а потом самыми последними словами начал костерить Мумрина и Прасковью Полякову. Я молчал, мне стыдно было признаться, что я племянник ненавидимой им женщины.

Вставало солнышко, когда мы пришвартовались в Чухломе к причалу. Выгрузили улов. Мне вручили большой мешок отборных карасей, чья чешуя, без преувеличения, подобна блестящим пятакам! Вкуснее рыбы, чем зажаренные Тонею в русской печке караси в сметане, я никогда не ел.

Август следующего года мы провели у гостеприимных Гусевых вместе с Диной. В очередной раз по пути в Понизье мы остановились в Федоровском. Подошел молодой парень и сказал, что меня хочет видеть Анна Гавриловна Крошкина. У нее больные ноги и потому не может выйти из дома.

В горнице на широкой, старой, как и сам дом, лавке сидела чистенькая старая женщина в белоснежном платке. У нее были поразительно молодые голубые глаза. Мы почтительно поздоровались. Улыбаясь, Анна Гавриловна попросила сесть напротив нее за выскобленный стол, внимательно на меня посмотрела и вдруг сказала:

«Борь, духонь, а ведь я хорошо знала твою маму. Подружками были. Мы с ней одногодки, вместе росли, вместе женихались, в один год замуж вышли, в один год выкатили я – Мишку, а Раечка – твоего брата Лешку».

Эти слова были так неожиданны для меня! Передо мною сидела мамина подруга. Чтобы скрыть волнение, я встал, наклонился к ней и спросил:

«А что, Гавриловна, похож я на свою маму?».

«Да полно, духонь, – ласково, нараспев произнесла она. – Мамка-то твоя красавица была!»

От восторга я готов был в тот момент вскарабкаться на русскую печь.

Заметив, что Дина вплотную подошла в красном углу к большой иконе и стала ее разглядывать, Анна Гавриловна рассказала, что, когда после войны разоряли храм в Понизье, с окрестных деревень съехались люди и стали разбирать все, что могли. Приехал туда на лошади и ее Миша, увидел валяющуюся на полу уже без богатого оклада икону «Святцы», положил ее на телегу и привез домой. В хозяйстве отыскался старый киот со стеклом, но икона в него чуток не помещалась. Тогда сын отпилил ее снизу, и вот уже давно она висит здесь, оберегает дом, помнит людскую доброту.

История с иконой на том не закончилась. Весной следующего года нас в Ленинграде разыскал младший сын Анны Гавриловны, артиллерийский офицер. Он сказал, что его мать умерла, а перед смертью отказала, то есть, завещала мне икону в память о моей маме.

Летом мы с Павлом приехали в Федоровское. Там меня ждала икона, бережно завернутая в чистую простыню и одеяло. Не без труда я привез ее в Ленинград. Более сорока лет она в нашем доме. Придет время, и я передам поистине бесценную реликвию в Троицкий Измайловский собор, где меня крестили.

Шли годы. Мы по-прежнему летом приезжали отдохнуть на древней Чухломской земле, а Павлуша с Тоней после летней страды навещали нас. В 1981 году Павел прямо за рулем своего УАЗика умер от разрыва сердца. Я стал реже бывать в тех краях. Наступила горбачевская перестройка. Некогда богатейший совхоз-миллионер вконец обнищал. Постаревшие Катя и Тоня

рассказывали, что дошло до того, что людишки подворовывают друг у друга картошку в огородах, мужики спиваются, молодые уезжают, становятся «питершиками», старики помирают. А потом не стало и Кати с Тоней…

Давно я не был на родине мамы. Последний раз я шел привычной разъезженной дорогой из Федоровского в Понизье. Вдали показалась маковка церкви. Прошлый раз она была еще покрыта болтающимися кое-где на ветру проржавевшими металлическими листами, а теперь лишь безжалостный ветер сквозил сквозь голые ребра купола.

На погосте как всегда – тишина и покой. Лишь лениво каркают на деревьях вороны. Над головой небо без единого облачка. В который раз огораживаю могилу старыми досками, поправляю крест. Присаживаюсь с краю. «Мама, мама, это я… Не знаю, придется ли еще приехать к тебе. Ты уж прости. Я тебя всегда помню, милая моя мама… Мы с тобой встретимся, обязательно встретимся…»

Тишина. Я знаю, мама меня слышит. Она долго, очень долго меня ждет. Так хочется верить, что души наши обязательно встретятся…

Люди и книги

Открытие

В один из пасмурных осенних дней 1965 года в редакции художественной литературы Лениздата появился молодой человек с тощей канцелярской папкой в руке. Можно было со стопроцентной вероятностью догадаться, что в ней – стихи. Он был явно смущен и, не зная к кому обратиться, – а в комнате сидели три редактора, – нерешительно топтался у двери.

– Если у вас стихи, то я тот, кто вам нужен, – сказал я.

Молодой человек сел на предложенный стул и протянул папку, на которой значилось: Виктор Максимов. «Яблоко».

– Вы что, не знаете, что сборник под названием «Яблоко» выпустил Евгений Евтушенко? – строго спросил я.

Парень совсем смешался и только беспомощно развел руками. Ну что тут скажешь… Папку я положил в шкаф, где покоилось множество рукописей так называемого «самотека», и мы распрощались. За окном резко, по-ленинградски, потемнело, пора было ехать домой – в даль далекую, за Володарский мост. Но что-то меня удерживало, я перебирал на столе бумаги, положил в портфель пачку свежих газет…

И тут вспомнил открытое, смущенное лицо недавнего посетителя. Что-то в нем было такое, что отличало его от вереницы собратьев начинающих – как правило, самоуверенных, а то и самовлюбленных, убежденных в своей исключительности. А он был так беззащитно нерешителен, застенчив. Впереди был целый выходной день, и я… взял с собою его стихи.

Вечером достал из портфеля папку, лениво развязал тесемки, наугад из середины рукописи извлек небольшое стихотворение, пробежал его глазами и – снова, уже внимательно, перечитал:

Дымился рассвет у донской переправы.
Был дорог предутренний час на Руси.
И сгорбило за ночь усталые травы
Татаро-монгольское иго росы.
И встал я. И медлить нельзя было боле.
Я вышел и травам ударил челом,
И тронул рукой Куликовское поле,
И медное солнце надел, как шелом.

Очнулся, когда прочитал все стихотворения: настолько был оглушен, ошеломлен, заворожен. Это были самобытные, зрелые, яркие стихи, запоминающиеся с первого прочтения, – стихи о

Родине, о былинных временах Земли русской, о волшебных истоках родной речи, о поколении мальчишек, родившихся в военное лихолетье, о несладкой армейской службе, о природе, о любимом Ленинграде, о жизни и смерти. И рядом – стихи шутливые, озорные, мальчишеские. В рукописи – неожиданные и такие естественные, важные открытия: открытие Человека, открытие России, открытие Поэзии.

В понедельник о своем открытии поэта я взволнованно рассказывал главному редактору Дмитрию Терентьевичу Хренкову, читал наизусть особо понравившиеся стихи и горячо убеждал его как можно скорее выпустить сборник стихов Виктора Максимова. Долго убеждать Дмитрия Терентьевича не пришлось: он прекрасно знал и понимал поэзию. В нарушение всех устоявшихся правил рукопись была включена в план выпуска следующего года, минуя план так называемой редакционной подготовки.

Началась напряженная, интересная работа с автором. Виктор работал механиком по ремонту лифтов, а по вечерам учился на первом курсе филологического факультета ЛГУ. Конечно же, иногда сказывался недостаток знаний. Это касалось стихов о далеком прошлом Руси – досадные неточности, неверное словоупотребление… Молодой поэт схватывал всё буквально на лету, поразительно быстро исправлял строки, строфы, иногда – полностью пересочинял целое стихотворение.

Однажды в самый разгар рабочего дня в редакцию зашли Сергей Орлов (его книгу избранной лирики я в это же время готовил к печати) и балкарский поэт Кайсын Кулиев. Узнав, что я «колдую» над стихами «первокнижника», Орлов проявил профессиональное любопытство: он тогда возглавлял отдел поэзии журнала «Нева». Не без опаски я протянул фронтовику, горевшему в танке человеку, большое стихотворение о солдатской службе – «Цветы в солярке». И произошло то же, что недавно случилось со мной, с той лишь разницей, что читателей оказалось двое, и они вслух читали, перебивая друг друга, протягивая друг другу листки:

Ночной бросок. И отдыха ни часу.
И я солдат, – плохой, видать, солдат, —
Я не хотел быть маршалом ни разу.
Не надо ни ранений, ни наград,
Ни этой тяги к маршальскому званью, —
Не верю я в военных по призванью.
Я верю только в призванных солдат.
……

Над полигоном, как мишень, луна.
Рассвет… И звезды без вести пропали.
… А мы тебя не видели, война,
Сороковых годов рожденья парни.
…….
И виснет жизнь на русом волоске.
Так для чего ж нас матери растили?
Набухла жилка на моем виске,
Как Волга на крутом виске России.
…….
Сгофрированы траками поля,
Забрызганы соляркой маки,
Но ты прекрасна даже в час атаки
И в час солдатской гибели, Земля…

– Послушай, Кайсын, нет, ты послушай! – взволнованно гудел в прикрывающую страшные ожоги рыжую бороду Орлов. – Совсем ведь пацан, а как пишет, как пишет! Никак не поверишь, что пареньку двадцать два года!

– Подожди, подожди, Сережка, – прерывает друга Кайсын. – А сколько было тебе, когда ты написал «Его зарыли в шар земной…»?

– Дай сообразить… Мне было… Двадцать три мне было. Да и причем тут я! – досадливо махнул рукой Орлов.

– А притом, что для поэзии возраст – дело десятое, главное, чтоб талант был. Верно, Боря? – лукаво улыбнулся мне мудрый Кайсын.

Через несколько дней в редакцию заглянул Федор Абрамов. Я не упустил случая показать ему стихи Виктора Максимова.

– Хорошо. Талантливый парень, – сказал, прочитав несколько стихотворений, Федор Александрович. Особенно по душе пришлось ему стихотворение «Слова». Уж кто-кто, а Федор Абрамов, выдающийся художник слова, знал цену родной русской речи.

Умирают древние слова,
К времени попавшие в немилость…
Голова моя,
а не глава,
На ладонь,
а не на длань склонилась.
А глазам едва смежиться дашь —
Видишь, как, протягивая руки,

Бородатый пахарь —
предок наш —
С ладой говорит по-древнерусски.
Мир иной,
иные времена:
Не «любимый» скажут здесь,
а «любый».
У него не плечи —
рамена,
И уста у лады,
а не губы.
И поймет их говор не любой —
Те слова ушли навечно в сказку.
Потому-то, уходя на бой,
Не шелом надену я,
а каску.
Потому-то, если встречу смерть,
Вспомнит друг традицию былую —
И простится, словно древний смерд,
Не в чело,
а в лоб меня целуя.
Но векам и смерти вопреки
Через десять лет
и через двадцать
Будет кем-то парень у реки
Так же, как и пахарь, любоваться.
И о том далеком далеке
Над речным,
над древним-древним руслом
Скажет он
на новом языке,
Но таком же,
как и прежде,
русском.

– Помогайте парню, не давайте расхолаживаться, и сам пусть к себе строже относится, – на прощанье говорит Федор Александрович.

– Да мы-то готовы, вот только ваша жена Людмила Владимировна не хочет помочь: не ставит Вите зачет! – говорю я, рискуя получить резкую отповедь.

– Ух, хитрюга! – в голосе Абрамова сама доброта. – В таких делах я жене не командир. Да уж ладно, поговорю с ней, авось,

поможет. Парень этого стоит.

Не обошлось без маленькой ложечки дегтя. Дала о себе знать цензура в самое неподходящее время, когда автор был где-то далеко от Ленинграда, а корректуру нетерпеливо ожидала типография: производственный график не терпел задержек. Цензор категорически потребовал изменить первую строфу стихотворения «Ночные учения» о маневрах советских войск в Германской Демократической Республике. Вот как звучала строфа:

В войну играли офицеры в Галле,
Всю ночь подразделения шагали.
Зачеркивались в штабе города.
Ничто пока не гибло, не стреляло,
И ничего на карте не стояло —
Лишь локти генерала иногда.

«Ну и что тут такого? – скажет кто-то. – Какая здесь может быть крамола?» И ошибется. В недрах цензуры существовал так называемый «Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в открытой печати, передачах по радио и телевидению». Перечень этот запрещал даже упоминать восточногерманский город Галле, поскольку там размещалась советская воинская часть, хотя, конечно же, наши вероятные противники, западные немцы и американцы, отлично знали дислокацию наших войск. В общем, и смех и грех. Типографские машины ждали, а я в отсутствии Виктора никак не мог найти выход их глупого тупика. Не смогли помочь коллеги-редакторы, не могли ничего путного сочинить за автора приходившие в редакцию поэты. Помнится, Надежда Полякова в эти горькие минуты творческих потуг всех развеселила, предложив вариант первой строки:

Всю ночь играли командиры с Галей.

Смех-смехом, но пришлось капитулировать, вместо этого стихотворения дать другое, ранее забракованное мною. А стихотворение «Ночные учения» ждало своего часа еще долгих четыре года. Вот как легко и просто сам автор вышел из положения:

В войну играли офицеры штаба,
В прорыв тысячеверстного масштаба…

Книга стихов Виктора Максимова появилась на прилавках магазинов в начале 1966 года. Назвали мы ее смело и точно – «Открытие».

…Уходили в прошлое годы, события – маленькие, большие, переломные. Для читателей стало привычным имя ленинградского поэта Виктора Максимова. Выходили и получали живой отклик его книги «Встреча», «Жители земли», «Кипрей при дороге», «Доля», «Соколиная забава», «Тавро»… Много и успешно переводил он на русский польских поэтов. С особенным удовольствием – своего большого друга с давних юношеских времен – Марека Вавжкевича, ставшего руководителем писательской организации Польши. Было время, когда Виктор пробовал себя и в прозе. Но главным всегда оставалась Поэзия – его жизнь и судьба.

На долгие годы связало нас с Виктором то давнее «Открытие». Мы дружили семьями, встречались не только в редакции, мне доводилось вести его творческие вечера, вместе бывали в писательских командировках (последний раз – в близкой его сердцу Варшаве «у Марека»). Вторая его книга «Встреча» (1970 г.) также вышла в Лениздате под моей редакцией, а когда я перешел работать в «Неву», на ее страницах регулярно появлялись большие подборки стихотворений Виктора. Я радовался его успехам, переживал случавшиеся с ним срывы, он знал это и ценил мое искреннее, дружеское, требовательное отношение.

Последние годы он особенно много работал, готовил солидную книгу новых стихов. Ушел он на самом взлете своего талантливого служения родной литературе. Мы навсегда с ним простились в апреле 2005 года. Незадолго до кончины он посвятил мне свое стихотворение «Вечереет». Опубликовано оно было в июньском номере «Невы» в том же году.

Вечереет, понемногу вечереет.
Вечереет, знаю, раз и навсегда…
Разудалая головушка смиреет,
как смиреет предвечерняя вода.

И, тишайшею овеянный сиренью,
и уже издалека лишь – молодой,
потихоньку привыкаю к вечеренью
и засиживаюсь дольше над водой.

Вечереет. Но до осени далече.
И судьба, спасибо, силится помочь:
подарила вот карельский долгий вечер
и мгновенную, почти без боли ночь,

долгий день с давно привычной сердцу болью,
давний сад, что не хочу я покидать,
и глаза с такою давнею любовью,
что уже конца и края не видать…

Вечереющее солнышко не греет.
дай ладони мне – дыханием согреть.
Вечереет… Понемногу вечереет.
Догорает… И не может догореть.

Догорел… Большой русский поэт, он ушел, оставив нам свои прекрасные стихи. Столько лет прошло, а я до сих пор наизусть помню почти все стихотворения его самой первой, самой памятной для нас обоих книги «Открытие».

Неостывшая память

Эту книгу знают многие ценители поэзии. Для меня она особенно дорога, я часто снимаю ее с полки, перечитываю, хотя почти все стихи помню наизусть. Судьба ее когда-то жестко коснулась меня.

…Я уже год работал редактором отдела художественной литературы Лениздата, когда в самом начале 1966 года мне предложили вести книгу новых стихотворений Глеба Горбовского. Конечно же, я с радостью согласился: еще бы – с недавних студенческих лет он был моим (да что там моим – нашим всеобщим) любимым поэтом. А его легендарные «Фонарики» мы «раскачивали» в родных университетских общежитиях, в летних строительных бригадах, на целинных землях Казахстана, на праздничных демонстрациях.

Вскоре Глеб принес пухлую папку стихов. Сборник еще не имел названия, стихи были, что называется, «навалом» – предстояло как следует подумать об их последовательности, конструкции книги, ее цельности. А для начала по заведенному порядку рукопись следовало дать на внутренние рецензии двум авторитетным писателям. После некоторых раздумий я попросил дать отзывы поэта Вадима Шефнера и критика Алексея Павловского.

Вот что написал в своей рецензии в октябре 1966 года В. Шефнер:

«Глеб Горбовский – на мой взгляд – один из самых интересных поэтов, причем я имею в виду масштаб не ленинградский, а всесоюзный. За последние годы в нашей поэзии появилось много талантливых молодых поэтов, но и среди них Горбовский выделяется естественностью своей речи и подкупающей простотой (но отнюдь не простоватостью) интонации. У него не просто талант, а то, что характеризуется старым русским словом, – дар… В каждом стихотворении Горбовского отражен миг жизни поэта – то грустный, то веселый, то торопливый, то задумчивый. И ощущение этого мига передается читателю. Вот это умение передавать настроение, ощущение и есть самая важная и самая ценная черта в работе Горбовского…»

Оценка рукописи А. Павловским была столь же впечатляюще положительной:

«Г. Горбовский – настоящий поэт. Это видно не только по хорошему уровню т. н. мастерства, но и по тому, что по сравнению с предшествующими сборниками он, оставаясь

знакомым по голосу, предстает перед читателем в ином ракурсе своего душевного развития. Я бы не удивился, если бы эта книга называлась, скажем, «Тишина» или каким-то другим сходным словом. В ней есть задумчивая, не претендующая на напряженный и метафорический «интеллектуализм» душевная сосредоточенность. Эта сосредоточенность лишена малейшей позы, очень искренна, что, по-видимому, и придает ей характер лирической исповедальности, трогающей каждого. В нашем иногда чрезмерно шумном веке эта тихая задумчивость, желание без громких слов и широких жестов задуматься о пролегающей через Век и лично тебе выпавшей жизненной тропе очень важно. Здесь – нерв, своеобразие и сила этого сборника…»

Хочу обратить внимание: название «Тишина» появилось с подачи А. Павловского. Кстати, слово «тишина» разного эмоционального наполнения всплывает в разных стихотворениях книги:

Хорошо, что есть мгновенья —
К тишине прикосновенья…

Какие дни, какие ночи!
Какая в сердце тишина.

И тишина все ширилась в груди.
И улетали птицы.
Не иначе —
Им что-то явно брезжит впереди.

Мне тишина необходима.
С меня довольно пьяных рож,
собраний, призрачных от дыма,
и славы мизерной дележ.
Кричать, стонать, мяукать,
визжать и выть пилой,
трещать по швам от звуков,
но тишину – долой!

Время летело быстро, я с удовольствием работал над «Тишиной». Параллельно редактировал и несколько других книг стихов и прозы. Здорово отвлекало чтение графоманских рукописей. Здесь я вынужден сделать небольшое отступление. Оно имеет, к сожалению, самое прямое отношение к книге Горбовского.

В один далеко не прекрасный день в редакции появился поэт-

сатирик Бронислав Кежун с предложением переиздать свои стихотворные произведения о В. И. Ленине. Там были потрясающие перлы типа:

А Ленин стоял на трибуне,
Глядел на бушующий зал,
просил тишины и чего-то
в кармане жилетки искал.

При следующей встрече в редакции я прилюдно стал настойчиво выпытывать у автора: что же такое Ленин искал в кармане жилетки? Кежун побагровел и, положив на стол блокнот и вооружившись авторучкой, зловеще спросил: «Вам что, не нравится тема Ленина, тема революции?» – «Нравится, – как можно спокойнее сказал я. – Но должен заметить: стихи, подобные вашим, дискредитируют тему вождя мирового пролетариата».

Присутствующие при разговоре замерли: всем известен был склочный характер сатирика. Кежун молча взял со стола свою рукопись и направился в кабинет главного редактора Д. Т. Хренкова. Дмитрий Терентьевич быстро просмотрел стихи и решительно встал на сторону редактора. С тех пор Кежун в Лениздат не заходил.

В редакции Глеб появлялся редко, не всегда свежим, но всегда с новыми стихами, которые читал по нашей просьбе. Наконец появилась долгожданная первая корректура, за нею – вторая. От цензуры отделались малой кровью: снятыми оказались всего три стихотворения: «Распята сухая дорога…», «Торчат сараи по обочинам…» и «Жена». Типография сработала оперативно, пятидесятитысячный тираж «Тишины» был готов уже в конце января 1968 года. Об удачной книге говорили все, кто успел приобрести ее в магазинах. Глеб был доволен. Я, естественно, тоже.

Однако эйфория длилась совсем недолго. На дворе стояло время, когда хрущевскую оттепель заметно сковали стабильные заморозки. Многие из нас считали, что это ненадолго, что все терпимо, все по-прежнему тихо-спокойно. Хрупкое затишье оказалось обманчивым. Так случилось, что его взорвала именно «Тишина» Глеба Горбовского. А поводом послужил «сигнал», оперативно поступивший в ЦК КПСС: книга Горбовского, выпущенная в партийном издательстве Лениздат, – вредная, идейно порочная.

«Сигнал» пришелся как нельзя кстати: только что было

принято очередное постановление ЦК об усилении идейно-воспитательной работы и т. д. То, что здорово пахнет «жареным», мы почувствовали сразу же. «Тишину» Горбовского срочно изъяли со складов, из бибколлекторов, из магазинов (то немногое, что не успели распродать) и пустили в типографии им. Володарского под нож, «в лапшу». Мне удалось из приговоренного к уничтожению тиража забрать почти сотню экземпляров.

Было приказано руководству издательства и мне готовиться к поездке в Москву на коллегию Комитета по печати при Совмине РСФСР. Тут же провели партийное собрание издательства. Многие из моих коллег искренне сочувствовали мне, но на собрании или молчали, или, мягко покритиковав за «Тишину», твердо выступали за минимальное наказание. Но были и такие, кто столь же искренне клеймил меня за утрату политического чутья. А заодно – по общепринятой тогда схеме – и себя: мол, вовремя не разглядели, не поправили работающего рядом молодого товарища, возомнившего, что ему все можно, все сойдет ему с рук. Естественно, влепили мне выговор. Затем выяснилось, что отложено решение очень болезненного для меня вопроса об улучшении жилья. В общем, все шло как и полагалось по тем временам. Следовало ожидать увольнения с работы.

Мрачную атмосферу разряжал Михаил Дудин. Каждый день он появлялся в Лениздате, обходил многие кабинеты, убеждал начальников, что книга Горбовского – прекрасная, талантливая, что благодаря именно таким книгам Лениздат превращается из весьма заурядного провинциального издательства в настоящее, первоклассное, что шумиха пройдет, что Друяна надо поддержать. В моем экземпляре «Тишины» сохранился прямоугольник плотной бумаги, на котором четким дудинским почерком написано:

Сплетни кончится туман,
И судьбы велением
Будет классиком Друян,
А Горбовский – гением.
М. Д.
28.3.68.

А вот еще один его автограф:

Нет человека без изъяна.
И, свято искренность любя,
Вы не смотрите на Друяна,
А посмотрите на себя.

Настойчиво и весело Михаил Александрович создавал, если можно так сказать, положительное общественное мнение вокруг книги Горбовского.

…В середине мая на «Красной стреле» отправились в Москву «на ковер» директор Лениздата Л. В. Попов, главный редактор Д. Т. Хренков и я. Нас сопровождали большие партийные чиновники из Смольного: заведующий отделом пропаганды и агитации ОК КПСС Е. Я. Зазерский, его коллега из Горкома Ю. П. Смирнов, а также заведующая сектором печати Обкома В. Г. Пронина. Это было очень дурным знаком. Тут даже мой сторонник (а впоследствии многолетний друг) Дмитрий Терентьевич Хренков в коридоре вагона тихо сказал мне, что дело – дрянь и ему вряд ли удастся защитить меня и, значит, сохранить в Лениздате. Большие же начальники смотрели на меня как на случайного попутчика. Признаюсь, настроение было хуже некуда, ночью почти не сомкнул глаз.

Утром в Комитете по печати заместитель председателя В. К. Грудинин за час до заседания пригласил в свой кабинет Л. В. Попова, Д. Т. Хренкова и меня. Он сказал, что ситуация серьезная, «сигнал» из Ленинграда попал на стол секретаря ЦК, который приказал Комитету по печати разобраться и примерно наказать виновных. «Однако, – улыбнулся Василий Константинович, – считайте, что вам сильно повезло: коллегию сегодня буду вести я, а не председатель комитета. Я как-никак старый ленинградец, в блокаду был начальником военного отдела «Ленинградской правды». Может, удастся хоть немного спустить дело на тормозах. А вы, – обратился он ко мне строго, – на коллегии сидите тихо, не возмущайтесь и ни в коем случае не возражайте никому, даже если услышите такое, что никогда досель не слыхивали!»

В просторном красивом лепном зале, куда мы вошли, за длиннющим столом сидели члены коллегии. Мне они почти все показались на одно лицо: благообразные сытые физиономии, одинаковые розовые лысины и – глаза, недоброжелательные, уставленные на меня глаза. Долго зачитывали справку «О сборнике стихов «Тишина» Глеба Горбовского» (копию этой шестистраничной справки я сохранил в своем архиве). Не могу не процитировать кое-что из этого жуткого по тем временам документа:

«Все содержание этой книги находится в вопиющем

противоречии с идейными, моральными и художественными критериями нашего общества.

Лирический герой Горбовского, живущий «особняком», дни которого идут «мимо жизни», озлоблен на все на свете…

Оторванность от жизни, одиночество сочетаются в лирическом герое Горбовского не только со злостью, но и с мистикой и предельно циничным нигилизмом…

Этот «злой, вечерний и одинокий человек» охотно делится с читателем своими «помрачениями», а редактор книги Б. Г. Друян млеет от восторга при виде мрачно-мистических строк…

Лирическому герою видятся ходячие, бродячие покойники…

Герою книги видятся гигантские пожары, которыми объята вся планета…

Картины сплошного ужаса изображены в стихотворении «Я тоже падал глазами в землю», причем не понять – то ли война описывается в нем, то ли 1937 год…

В лирические «помрачения» в связи с этим врываются мотивы, которые представляют интерес лишь для психиатров. Вот стихотворение, в котором законченно выражена мания преследования:

Человек за моею спиною.
Он идет уже долго за мною.
Я меняю маршруты,
плутаю,
в магазины и в бани
влетаю;
серой мышью ныряю
в метро я,
а за мной уже топают
трое.
Покупаю в киоске газету,
не курю, а жую сигарету,
из вчера выбегаю в сегодня,
а за мной уже – целая сотня.
Я стараюсь от них отвертеться.
Я решаюсь на пляже
Раздеться.
Накрываюсь газетой…
И что же?
Их такое количество – боже! —
что, сутуля покорные плечи,
я тихонько иду им навстречу.

Такова, по Горбовскому, обобщенная картина нашего общества. Всякая мысль о жизни в этом обществе лирическому герою книги кажется несносной…

Он повсюду ощущает всеобщий холод…

Впрочем, в неприятии жизни лирический герой винит не себя, а эпоху: «Тарахтит за окнами эпоха, и не мне, а нужно ей помочь…»

К какому бы явлению советской действительности ни обращался поэт, все вызывает в нем крайний скепсис, глухое раздражение, злую ухмылку…

В стихах, посвященных любви, немало цинизма (см. стихотворения «Прощается женщина с мужем», «Зал ожидания» и др.).

Книжка засорена всякого рода жаргонными пошловатыми словечками, заумью, стихами без мысли и высоких чувств…

В целом сборник «Тишина» является патологическим явлением в литературе. В нем содержится низкопробная пошлость и клевета на советскую действительность.

Выход в свет данной книги свидетельствует, что редактор тов. Друян Б. Г. утратил чувство элементарной ответственности за качество выпускаемой литературы, а руководители Лениздата ослабили контроль за работой редакционного аппарата и не разглядели серьезных идейных и художественных просчетов данной книги».

Затем началось обсуждение. Злой, хлесткий, безапелляционный хор клеймил книгу, автора, редактора. Строгий, предупреждающий взгляд председательствующего заставлял меня лишь стиснуть зубы и молчать. Апогеем стало выступление поэта Владимира Котова. Я очень хорошо запомнил его обличительные слова: «Гитлер, обращаясь к молодежи Германии, говорил: «Я хочу видеть блеск голодного зверя в ваших глазах». Так вот, книга Горбовского «Тишина», отредактированная коммунистом Друяном, будит блеск голодного зверя в глазах нашей замечательной молодежи, идущей светлой дорогой в коммунизм!»

После упоминания самого Гитлера в контексте «Тишины» впору было выводить меня из зала под вооруженным конвоем. Видимо, уловив избыток «электрических разрядов», В. К. Грудинин встал со своего председательского кресла и обратился к главному редактору Лениздата: «Как в издательстве отреагировали на появление этой книги?» – «На партийном собрании коллектива Друяну единогласно вынесен выговор», – коротко ответил Дмитрий Терентьевич. «Я считаю, – веско произнес Грудинин, – совершенно правильно поступили

ленинградцы. Нет ничего серьезнее для коммуниста, особенно для молодого, чем выговор своих товарищей по партии. Со стороны Комитета по печати предлагается объявить выговор главному редактору Лениздата Хренкову, директору Лениздата Попову рассмотреть вопрос об ответственности редактора Друяна за выпуск антихудожественного сборника «Тишина». Кто за?» – и первый поднял руку. Вслед за председательствующим поднялось несколько рук, потом – больше, больше… Не помню, голосовал ли со всеми поэт Котов.

Объявили перерыв, все потянулись в приемную. Последними вышли мы, лениздатовцы. И тут меня неожиданно окружили те, кто только что бросал злые слова в мой адрес, и стали интересоваться, нельзя ли каким-то образом заполучить «Тишину». А в моем портфеле было экземпляров десять спасенной мною от уничтожения книги, и я с удовольствием их раздал.

Никто: ни мы, издатели, ни обкомовцы – не ожидал такого благополучного исхода. Вечером в ресторане добрыми словами вспоминали В. К. Грудинина, звучали веселые тосты, партийные начальники уже вполне доброжелательно глядели на меня, а заметно охмелевший Зазерский в очередной раз наполнил рюмки и сказал: «Запомни, Друян, еще одна такая «Тишина», – и я лично подведу тебя к Исаакиевскому собору и со всей силы двину громадной дверью по жопе». Зная мою вспыльчивость, Дмитрий Терентьевич больно ткнул меня под столом ногой, чтоб я не возникал. А Зазерский, будущий ректор Института культуры им. Н. К. Крупской, благосклонно похлопал меня по плечу.

23 мая в газете «Советская Россия» появилась разгромная статья (целый подвал!) Василия Коркина «Рыжий зверь во мне сидит», где досталось и автору книги, и мне, и Д. Т. Хренкову. Гневные пассажи этой статьи буквально повторяли процитированный мною выше документ «О сборнике стихов «Тишина» Глеба Горбовского».

Яростный тон статьи Коркина объяснялся довольно просто. Осенью 1966 года я был участником проходившего в Москве семинара редакторов по поэзии. Семинар был организован Комитетом по печати при Совмине РСФСР. На нас, приехавших из областей, хозяева глядели снисходительно. Как-то в перерыве очередного заседания московский стихотворец Василий Коркин раздавал нам свою только что вышедшую книжку. Я ее быстро прочитал и уже в следующем перерыве при всех высказал автору свое мнение. А было это мнение нелестным для него. Он заметно напрягся, покраснел, но промолчал и лишь с явной неприязнью глядел на меня.

Кроме «Советской России», помянули недобрым словом

автора и издателей также «Известия» и «Книжное обозрение».

Самым главным, дорогим для меня в то время, было слышать слова поддержки от множества людей, знакомых и даже вовсе незнакомых. Редактор Пермского издательства Надежда Пермякова (Пермякова из Перми!), участница памятного семинара писала мне:

> «…Читали мы тут, как резвится Вася Коркин. Потом читали приказ по Комитету. Любопытные такие документы. Так и дохнуло от них чем-то зверски знакомым, так и хочется сказать: пардон, все это уже было, было, было… Да, видать, не сплыло.
>
> Надеюсь, Вы не раскаялись. У нас тут тоже (правда, в областном масштабе) охотились за ведьмами. А мы, как назло, выдали сборник десяти молодых поэтесс «Княженика». Ну и дали по этим ведьмочкам из обоих стволов. Спасибо – на костре нынче не жгут – все культурно…
>
> Естественно, хочу иметь сборник «Тишина». У нас в магазинах он не появлялся, а почитать хочется.
>
> Я своих корыстных целей, конечно, не скрываю, однако все же пишу Вам с удовольствием, т. к. наша встреча в Москве оставила добрую память. Потому и считаю должным пожать Вашу руку.
>
> *Н. Пермякова*
>
> P. S. А караван идет…»

В конце концов я все же остался работать в Лениздате. Правда, квартиру получил на два года позже.

Не прошла бесследно вся эта катавасия и для Глеба. Он оказался в нервной клинике на 15-й линии Васильевского острова. Я его навестил, и мы по-дружески обнялись, потолковали «за жизнь» – горькую и прекрасную.

Вскоре меня приняли в Союз журналистов. На заседании секретариата прозвучал вопрос: «Не тот ли это Друян, что выпустил книгу Горбовского?». «Да, это тот», – ответил Д. Т. Хренков, после чего единогласно проголосовали «за».

Какое-то время спустя стало известно, что злополучный «сигнал» в ЦК КПСС подал поэт-сатирик Бронислав Кежун. И тогда незамедлительно появилась на свет одна из самых жестких, уничтожающих эпиграмм Михаила Дудина:

Поэт Кежун в подлунном мире

С позиций собственных высот
То брякнет одою на лире,
То тявкнет шавкою в сатире,
То, как Булгарин, донесет.

На титульном листе «Тишины» краткая надпись: «Борису от Глеба. Вот что-то и получилось у нас… Спасибо. Глеб Горбовский. 2 февраля 68 г.»

Конечно же, получилось, Глеб. Еще как получилось!

Два автографа

Наступило время, когда к каждому слову Даниила Гранина стали прислушиваться не только его верные читатели, но и вертикально-горизонтальная власть. Ещё бы, он и лауреат Государственной премии, и Герой Социалистического труда, участник Великой Отечественной войны, награждён многими орденами и медалями, его имя занесено в золотую книгу Почётных граждан Санкт-Петербурга. А ведь когда-то этот выдающийся писатель был у высокого партийного начальства не в чести: никогда, ни при каких обстоятельствах не отступал он от важнейшего творческого принципа – правды изображения жизни, открыто, прямо и честно писал то, что считал нужным.

…В середине 1965 года, на излёте хрущевской оттепели, на мой редакторский стол в Лениздате легла небольшая очерковая рукопись Даниила Гранина «Месяц вверх ногами». Я тут же буквально её проглотил, читал, отрываясь лишь на то, чтобы какие-то особенно интересные страницы прочитать вслух коллегам. Легко, свободно, с тонким юмором автор рассказывал о своем пребывании в экзотической для советского человека стране-континенте Австралии. Не могу не привести несколько цитат:

«Прежде чем гулять по Канберре, мы отправились в посольство получать свои паспорта.

– А зачем вам паспорта? – спросил консул.

– Странно, – сказали мы, – как же мы можем без документа в чужой стране?

Нам даже диким показался его вопрос и улыбка его.

– Не беспокойтесь, сказал он, – не нужны вам никакие паспорта. Никто их у вас не спросит.

– Ну, Канберра, допустим, но ведь мы поедем дальше по стране.

– И там они вам не пригодятся. Поедете без паспортов, так спокойнее. Не потеряете. Они тут все живут беспаспортные.

Мы осторожно проверили у Гарри – он не имел паспорта.

– Как же вы тут живёте без паспорта?

Он удивился:

– А для чего он мне?

– Ну как же, – мы тоже удивились, – а если приезжаете в гостиницу?

– И что?

– А как вас зарегистрировать?

– Запишут фамилию, и вся регистрация.

– А откуда они узнают фамилию?

– Я скажу.

Мы опять удивились и задумались:

– А для полиции? Если Вы нарушите.

Гарри ещё больше удивился:

– Зачем тогда паспорт, меня и без него приговорят к штрафу.

Мы удивились ещё больше. Мы никак не могли представить себе жизнь без паспорта, а он никак не мог представить себе, зачем человеку может понадобиться паспорт».

Вот ещё:

«Не типично, не отражает, – может быть, оно и так, но тем более, раз это уходит в прошлое, оно должно сохраниться в документах: вот как мы жили, и так жили и этак, по-разному жили. Попробуйте сегодня рассказать о годах первых пятилеток. Где, в какой Истории есть фотографии очередей за хлебом, карточек, торгсинов, но ведь это тоже было бытом. Даже из газет того времени ничего не вычитать об ордерах на рубашку. Так и сегодня из газет ничего не узнать о том, как хоронили Пастернака, и о том, как выглядела в 1965 году служба в церквах».

А вот ещё:

«Австралиец терпеть не может руководства – будь это председатель клуба, полицейский, министр, профсоюзный вождь, власть не бывает хорошей. Во всяком случае, поддерживать её он не намерен, что бы там она ни делала… Ни в одном клубе, ни в одном общественном заведении я не видел портретов главы государства, правительства, министров, английского генерал-губернатора. Почтение к властям – признак дурного тона…»

Моему редакторскому карандашу делать было совершенно нечего. Мне лишь нужно было помочь рукописи в кратчайший срок пройти через весь издательский процесс. Без всяких замечаний она была подписана редакционным руководством к печати, цензура тоже не была против. Уже в мае 1966 года умная, весёлая книга Гранина вышла в свет. Она была иллюстрирована множеством забавных, выразительных рисунков Георгия (Гаги) Ковенчука. Тираж её – 115000 экземпляров – быстро исчез с прилавков магазинов.

Это была моя первая и последняя бесшабашно-безоглядная работа с книгой. Тогда я не мог представить себе, как она аукнется мне четыре года спустя. Здесь стоит ненадолго прерваться и рассказать историю издания, вернее – неиздания другой книги этого же автора.

Через два года главный редактор Лениздата Дмитрий Терентьевич Хренков поручил мне вести новую книгу Даниила

Гранина «Наш комбат». Кроме заглавной повести, помнится, в неё вошли рассказ «На Фонтанке» и очерк «Пленные». Во всех произведениях однотомника – жесткая правда о минувшей войне. Мы сделали всё, чтобы рукописи была дана «зелёная улица». Быстро и удачно нарисовал обложку известный ленинградский художник Василий Кустов, без задержки поработали корректоры издательства, главный редактор подписал рукопись к печати.

И тут меня вызывает директор издательства Леонид Васильевич Попов – грузный 130-килограммовый великан, человек добрый, заботливый, но непримиримый и беспощадный, когда дело доходило до оценок идеологического порядка. А оценки, как правило черные, ставили, кроме цензоров, недремлющие чиновники Обкома и Горкома КПСС, в чьем непосредственном ведении находился Лениздат.

Леонид Васильевич встретил меня хмуро. Всё его большое мясистое лицо выражало крайнюю степень недовольства. Обычно он всячески старался показать мне свое расположение, отмечал в приказах по издательству, премировал, писал ласковые резолюции на мои шутливо написанные деловые заявления, на банкетах сажал рядом с собой, был даже на моей свадьбе. А тут…

– Что это? – строго вопросил директор, показывая на стандартную белую папку с тесёмочками.

На ней моей рукою было выведено: «Даниил Гранин. Наш комбат».

Ну что я мог ответить в этой ситуации? На простой вопрос я и ответил просто:

– Это рукопись книги Гранина… – И в свою очередь спросил: – А что случилось, Леонид Васильевич?

Директор насупился:

– А то случилось, что в Смольном ознакомились с ней и велели самому, понимаешь? – са-мо-му, а не Дмитрию Терентьевичу прочитать Гранина. Я вот тут почитал, ты увидишь… Как же ты такое пропускаешь?! – в голосе Леонида Васильевича появились гневные нотки. – Я считаю, это вредная книжка! И Клавдия Васильевна так считает.

Мнение Смольного, директора и его милой жены было единым. И тем не менее я робко начал:

– Ну как же так, ведь вы же сами были на войне и знаете…

– Печатать не будем! – отрезал Леонид Васильевич и протянул мне папку. – Вернешь это Гранину сам. И учти, ты много себе позволяешь, тебя всегда защищает Хренков. Давно ли ты наделал делов со стихами этого… Горбовского! От вашей «Тишины» у меня до сих пор в голове шум. Почему у других редакторов выходят нормальные книги, а у тебя всё не слава

богу? В другой раз церемониться не буду. Уволю! Понял?

– Понял, – грустно сказал я.

– Вот и хорошо. А теперь иди!

У себя в редакции я раскрыл книгу и обомлел: вся рукопись была разукрашена красным и синим карандашами. Долго мучился, аккуратно стирая следы недружелюбного прочтения: возвращать автору рукопись в этаком непотребном виде было совестно. Признаюсь, её вернул Гранину не я, а по моей просьбе Дмитрий Терентьевич. Ему было сделать это значительно проще, они давно отлично знали друг друга, оба фронтовики, наш Главный высоко ценил творчество Гранина. Зная, с каким скрипом проходят через «инстанции» новые гранинские произведения, Хренков охотно переиздавал большими тиражами романы «Искатели», «Иду на грозу», демонстративно поддерживал писателя. Много позже, к шестидесятилетию Гранина, я послал ему стихотворное поздравление. Здесь уместно воспроизвести это непритязательное сочинение:

Ты прожил уже шесть десятков лет,
И мы, твои други-издатели,
В сотый раз издаем «Обратный билет»,
В тысячный раз «Искатели».

Твоим писаньям Смольный не рад,
И ты, проглотив слезу,
Вновь на закланье в родной Лениздат
Идешь, как идут на грозу.

Пиши и будь счастлив во веки веков,
Впадая в творческий раж.
Переиздаст тебя Дмитрий Хренков
И даст миллионный тираж!

Осенью 1970 года в Лениздате стотысячным тиражом вышла книга Даниила Гранина «Неожиданное утро». В неё автор включил ранее опубликованные путевые очерки о Германии, Капри, Франции, Кубе, Англии и, конечно же, об Австралии. Мы, издатели, были рады появлению этой книги. Радость наша оказалась преждевременной. Мне ли, уже битому-перебитому, было не знать, как изменилось время: то, что на склоне оттепели было можно, теперь – категорически нельзя, идеологическая погода нахмурилась, партийные органы тщательно оберегают советского читателя-строителя коммунистического общества от чуждых с их точки зрения взглядов.

Во всём, что произошло дальше, винить мне некого, кроме самого себя: книга Гранина вышла без аннотации. Если бы я написал, что книга эта является переизданием хорошо и давно известных читателям произведений, всё могло бы обойтись. Но я этого не сделал, подвела меня беспечность, а может, легкомыслие, а скорее – и то, и другое. Извиняет меня лишь то, что я рассчитывал на читателей, знающих творчество Гранина, читателей здравомыслящих…

Лишь много позже я узнал, какие страсти кипели после выхода книги. Какой-то чиновник в ЦК КПСС, стоящий на страже идеологического здоровья советского народа, прочитал книгу и, не подозревая, что это переиздание, от гнева перевозбудился. Особенно возмутил его «Месяц вверх ногами». Он позвонил директору Лениздата Попову, жестко попенял ему за то, что «Неожиданное утро» Гранина пропагандирует буржуазный образ жизни в ущерб нашему, советскому. Редактора же он повелел без промедления уволить.

Добрейший Леонид Васильевич от беседы с цековским чиновником тоже перевозбудился, и по его поручению мгновенно был подготовлен проект приказа о моём увольнении со сверхжесткими формулировками. Первым обо всём этом узнал главный редактор Д. Т. Хренков. Он попытался убедить директора в абсурдности, несправедливости приказа, пообещал лично всё объяснить и уладить в Обкоме, а о проекте приказа должны знать как можно меньше людей.

Я ходил и изумлялся: замы Главного и мой приятель начальник отдела кадров Миша Белов при встрече разговаривают со мной ласково и фальшиво, как с тяжелобольным.

В Обкоме Хренкова выслушали и порекомендовали обратиться к тем, у кого претензии к книге Гранина наличествуют, то есть в ЦК КПСС. Дмитрий Терентьевич позвонил в ЦК. Разгневанный чиновник и слушать ничего не захотел, пообещав неприятности самому Хренкову за политическую близорукость.

Время шло, местное начальство по-прежнему со мной говорило подчёркнуто дружелюбно, интересовалось здоровьем моей вполне здоровой молодой жены. А ситуация накалялась, проект приказа не мог долго оставаться проектом. И тогда Главный поделился возникшей проблемой с Граниным. Даниил Александрович мгновенно отреагировал. Он нашел возможность переговорить с крупным начальником – заместителем заведующего отделом культуры ЦК КПСС И. С. Черноуцаном. Вопрос наконец-то решился в нашу пользу. Начальник отдела кадров показал до сих пор неведомый мне приказ о моём

увольнении и тут же разорвал его. А все, кто знал о существовании злосчастного приказа, снова стали разговаривать со мной без патоки в голосе. На титуле моего экземпляра «Неожиданного утра» надпись: «Боре Друяну – самому жизнелюбивому, беззаботному оптимисту из всех моих любимых редакторов. Д. Гранин».

P. S. Минули годы с момента первого издания книги «Месяц вверх ногами» Наступил новый, двадцать первый век. Я уже давным-давно работал в журнале «Нева» Как-то мы с моим другом Анатолием Петровым, основателем и редактором легендарной «Седьмой тетради», говорили о талантливом художнике Ковенчуке. Я похвастался, что у меня есть оформленная Гагою книга Гранина «Месяц вверх ногами». Толя попросил её показать. И вот мы с удовольствием листаем книжку и улыбаемся давним рисункам художника. Надо же было так случиться, что в этот самый день в редакцию зашел Даниил Александрович. Я показал ему сильно потрепанный экземпляр книги. Он раскрыл её на титуле и, подумав, написал: «Боря, сколько лет, сколько было всего – и хорошо, что Вы сохранили себя. Д. Гранин». И под датой выпуска книги – 1966 – начертил стрелку к дате сегодняшней: 2000.

P. P.S. Нет, все же не австралийцы, а мы жили в те далёкие годы «вверх ногами».

Том агатовый

Попробуйте купить Ахматову.
Вам букинисты объяснят,
Что черный том ее агатовый
Куда дороже, чем агат.

А. Вознесенский, 1977

5 марта 1966 года умерла Анна Андреевна Ахматова. 10 марта в полдень у Никольского Морского собора колышется людское море. Внутрь собора, где идет отпевание Анны Андреевны, пробраться очень трудно. Стрекочут кинокамеры, щелкают фотоаппараты, поет церковный хор. Молодые крепкие парни с трудом сдерживают желающих пробиться поближе к гробу. У меня сохранился снимок профиля Ахматовой в гробу. Подарил его мне фотокорреспондент «Ленинградской правды» Валентин Брязгин.

А через два часа столь же громадная толпа у Дома писателей на улице Воинова. Здесь должна состояться гражданская панихида. Прорвались в здание с бокового входа чуть ли не по головам. С мясом оторваны пуговицы у пальто, шарфы остались где-то сзади, под ногами людей. Но траурный венок от Лениздата в полной сохранности – его с превеликим трудом мы с приятелем сумели удержать над собою. В большом лепном зале плотный людской поток медленно огибает постамент с гробом. Тихо звучит траурная мелодия. Неожиданно ее нарушает высокий голос. Оглядываемся. Это Сергей Михалков что-то говорит своему спутнику. Гневное женское шипение разом оборвало неуместно громкую речь.

Из выступивших на панихиде запомнились Михаил Дудин, Ольга Берггольц и Майя Борисова.

Потом были автобусы до Комаровского кладбища, последнего пристанища Ахматовой. Обо всем этом написано множество воспоминаний свидетелей тех печальных дней.

17 июня в газете «Литературная Россия» было опубликовано стихотворение Ярослава Смелякова «Анна Ахматова»:

Не позабылося покуда
и, надо думать, навсегда,
как мы встречали Вас оттуда
и провожали Вас туда.

Ведь с Вами связаны жестоко
людей ушедших имена:
от императора до Блока,
от Пушкина до Кузмина.

Мы ровно в полдень были в сборе
совсем не в клубе городском,
а в том Большом морском соборе,
построенном еще Петром.

И все стояли виновато
среди хоругвей, вдоль икон —
без полномочий делегаты
от старых питерских сторон.

По завещанью, как по визе,
гудя на весь лампадный зал,
сам протодьякон в светлой ризе
Вам отпущенье возглашал.

Он отпускал Вам перед Богом
все прегрешенья и грехи,
а было их не так уж много —
одни поэмы да стихи.

Через несколько дней после похорон меня вызвал главный редактор Дмитрий Терентьевич Хренков и сказал, что у него есть давняя задумка издать хотя бы небольшой сборник стихов Анны Ахматовой. А чтобы Обком не зарезал идею на корню, стержнем книги должны стать циклы «Ветер войны», «Победа», «Луна в зените» и, возможно, «Поэма без героя». Редактирование он хочет поручить мне, тем более что в ближайшее время будет сдана в набор отредактированная мною же книга Алексея Павловского «Анна Ахматова. Очерк творчества». И, значит, издание самой Ахматовой – шаг вполне естественный и закономерный.

Я с горячностью стал доказывать: теперь, после смерти Анны Андреевны, получившей большой общественный резонанс, выпускать небольшой сборник Ахматовой не резон, тем более после солидного однотомника «Бег времени», изданного «Советским писателем» год назад. Не поставить ли перед партийным начальством вопрос об издании максимально полной Ахматовой? А за основу надо, конечно же, взять «Бег времени». Дмитрий Терентьевич обещал обмозговать это дело, а затем

переговорить в Обкоме, шутливо заметив, что в случае неудачи по шапке получит не только он, но и я.

Вопреки опасениям Обком дал разрешение на издание книги, и она была включена в перспективный план: хрущевская оттепель пока еще была жива. Точнее – еле жива.

Договор на составление однотомника Лениздат заключил с Анной Генриховной Каминской – дочерью Ирины Николаевны Пуниной, падчерицы Ахматовой. Миловидная молодая женщина вызывала у меня чувство симпатии уже тем, что всю жизнь с раннего детства жила рядом с Акумой – так она называла Анну Андреевну. На фотографии 1965 года, где запечатлена Ахматова в Оксфорде после присвоения ей почетного звания Доктора литературы, рядом с нею – Анна Каминская.

К сожалению, ее составительская работа оказалась неудачной. В феврале 1967 года на ее имя было отправлено официальное письмо:

Уважаемая тов. Каминская!

В ходе работы над посмертной книгой А. А. Ахматовой издательство столкнулось с большими трудностями, обусловленными тем, что Вы лишены опыта текстологической подготовки рукописи. Представленный Вами текст нуждается в тщательной научной подготовке. Эту работу может выполнить только опытный специалист, хорошо знающий творчество А. А. Ахматовой. По рекомендации комиссии по литературному наследству А. А. Ахматовой мы расторгаем с Вами договор на составление сборника с тем, чтобы возложить это дело на специалиста, рекомендованного Союзом писателей.

Директор ПОПОВ Л. В.

Гл. редактор ХРЕНКОВ Д. Т.

К подготовке текстов и примечаний к отделу поэзии однотомника была привлечена Лидия Корнеевна Чуковская, а к подготовке текстов и примечаний к отделу прозы – Эмма Григорьевна Герштейн. Предисловие редакция попросила написать Корнея Ивановича Чуковского. У меня сохранилось его письмо от 23 сентября 1967 года:

Дорогая редакция,

Наконец-то я урвал несколько дней, чтобы приняться за работу над статьей об Ахматовой. В основу я положил свою недавнюю статью, но круто перерабатываю и дополняю ее новыми фактами, новыми мыслями.

Дней через десять могу выслать эту статью, но мне ВАЖНО ЗНАТЬ, должен ли я торопиться, то есть уверены ли Вы, что книга выйдет в этом году. Не произойдет ли того, что часто случается в наших издательствах: автора тормошат и торопят, а потом откладывают издание рукописи на полгода, на год – а то и на два года.

Прошу сообщить мне наверняка, уверены ли Вы, что книга тотчас же уйдет в типографию, или ей предстоит подвергнуться обычной волоките.

Мне это очень важно, ибо я откладываю все прочие срочные дела – и вплотную примусь за работу над предисловием – только в том случае, если у Вас есть уверенность, что книга намечена к скорейшему выходу.

Ваш Корней Чуковский

Главный редактор ответил без промедления:

Дорогой Корней Иванович!

Получили Ваше письмо, в котором Вы спрашиваете о сроках выпуска однотомника А. А. Ахматовой. Эту книгу мы сдадим в производство сразу же после того, как получим от Вас новый вариант вступительной статьи.

С уважением

Главный редактор ХРЕНКОВ Д. Т.

Увы, опасения Корнея Ивановича оказались не напрасными. Выход книги затянулся не на полгода, не на год и не на два года, а на долгих девять лет! Но тогда никто не мог этого предвидеть. Очень быстро мы получили от Лидии Корнеевны тексты поэтического отдела. Естественно, в основу легла последняя прижизненная книга Анны Ахматовой «Бег времени», два экземпляра которой я выслал Чуковской для расклейки. Включены были и снятые цензурой стихотворения из «Бега времени», но опубликованные в журналах.

Вот отрывок из письма Лидии Корнеевны Д. Т. Хренкову:

…Из исключаемых Вами трех стихотворений я особенно жалею о «Стансах». Другие два печатались много раз (не помню, о каких стихах шла речь – Б. Д.), а это – ни разу. И там, в последних двух строках такой точный портрет Сталина!

Сообщаю, в каких журналах печатались возвращенные мною в книгу стихи:

«И скупо оно и богато…» «Юность», 1964, № 4
Подвал памяти «Москва», 1966, № 6
Наследница – «– «– «
«Нет, это не я, это кто-то другой страдает…»* – «– «-
Из цикла «Юность» «Р. Т.», 1966, № 13
«Так отлетают темные души…» – «– «-
«Если б все, кто помощи душевной…» – «– «-
Победителям – «– «-
Подражание армянскому * – «– «-
«Привольем пахнет дикий мед…» «Звезда Востока», 1966, № 6
«Где-то ночка молодая…» * – «– «-
«Я над ними склонюсь как над чашей…» – «– «-
«Вот это я тебе взамен могильных роз…» – «– «-
Многим «Литературная Грузия», 1967, № 5
Предсказание – «– «– «-
«О, знала ль я, когда в одежде белой…» – «– «– «-
«И ты ко мне вернулась знаменитой…» – «– «– «-
«И увидел месяц лукавый…» – «– «– «-
«Седой венец достался мне недаром…» – «– «– «-
«За ландышевый май…» – «– «– «-

(В этот список я, разумеется, не включаю те, выкинутые из «Бега времени» и восстановленные мною для Лениздата стихи, которые печатались в старых ахматовских сборниках – «Думали, нищие мы…» *, «Лето (Июль – *Б. Д.*) 1914», «Побег» и мн. др.)

Не печатались до сих пор лишь такие стихи:

Стансы *
«Я всем прощение дарую…» *
«А я иду, где ничего не надо…»
«За такую скоморошину…» *
«В каждом древе распятый Господь…» *

«Сколько б другой мне ни выдумал пыток…» *
«Светает. Это Страшный Суд…» *
«Глаза безумные твои…» *

Жму руку. Привет Борису Григорьевичу.

Л. Чуковская

19 июня 67

В вышеприведенном тексте отмеченные мною звездочками стихотворения были впоследствии сняты цензурой, кроме тех трех, о которых шла речь в письме Д. Т. Хренкова, копии которого в моем архиве, естественно, нет.

Все присланные Чуковской стихи я дотошно, строку за строкой сверял с прижизненными сборниками Анны Андреевны, тщательно исследовал еще не разобранный фонд Ахматовой (1073) в рукописном отделе Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Поскольку в те годы истребовать копии было невозможно, мне приходилось «дедовским способом» – авторучкой и карандашом – переписывать страницу за страницей ахматовские стихи, черновики, разного рода пометки. До сих пор храню эти свои листки, их выносить из Публички не возбранялось.

Мы с Лидией Корнеевной часто перезванивались, переписывались. У нас установились деловые, и – что очень важно – доверительные отношения. Она внимательно прислушивалась к моему мнению, часто со мною соглашалась, советовалась, поскольку я без промедления подключился к подготовке ахматовских текстов к изданию.

К примеру, я сразу же высказал недоумение по поводу странной и неоправданной, с моей точки зрения, перестановки стихов Ахматовой из одной книги в другую.

У меня сохранились семнадцать писем от Чуковской. Привожу лишь самые характерные, существенные письма или выдержки из них. Вот первое же адресованное мне письмо, которое начинается так: «Дорогой Лев Григорьевич». Не смею утверждать, но, видимо, в этот момент она подумала о Льве Николаевиче Гумилеве. Итак:

Дорогой Лев Григорьевич.

Пожалуйста, задавайте мне и впредь любые вопросы. Они очень полезны и для меня и для книги: я еще и еще раз проверяю текст…

Что касается перестановки стихотворения, заключающего «Подорожник» – то разве Вы не думаете, что мы должны в смысле расстановки стихов слушаться автора? Во время работы над «Бегом» я не один, а несколько раз замечала, что АА свободно перемещает стихи из «Четок» в «Белую стаю», или в «Подорожник», или наоборот. Меня это удивляло, спрашивала у нее – почему? Она ни разу мне, к сожалению, не объяснила, почему, но говорила «пусть будет – по-новому».

Однако Ваши доводы я считаю серьезными и ничего кроме ее воли противопоставить им не могу. Действительно, «Подорожник» в «Беге» кончается хорошо, сильно.

М.б. сделаем так: стихотворение «Проводила друга до передней» поставим в «Подорожник», но не последним – а перед стихотворением «Ты мог бы мне сниться и реже», т. е. после «В зеркале»?

Тогда кончаться будет по «Бегу», но воля АА все-таки сохранена: стихотворение окажется передвинутым в «Подорожник».

Будьте здоровы.

Жду новых вопросов!

Привет Дмитрию Терентьевичу.

Жму руку

Л. Чуковская 30/VI 67

Среди прочего изумило и обеспокоило меня тогда одно важное обстоятельство. Дело в том, что все стихотворения, не вошедшие при жизни Ахматовой в ее сборники, Чуковская включила в основной корпус книги, руководствуясь собственной интуицией и датировкой стихов. В академических изданиях, в том числе серии «Библиотека поэта», подобный подход к составлению недопустим. Всюду неопубликованные при жизни автора стихи выносятся в особый, завершающий книгу раздел. Своими соображениями я по телефону поделился с Лидией Корнеевной. Однако она на этот раз была непреклонна, с нескрываемым раздражением сказала, что многолетняя дружба с Анной Андреевной и статус составителя дают ей право не оглядываться на других, а делать так, как она считает нужным. Вступать в полемику я не стал, решив, что уж пусть будет так, как есть, читатели простят явную несуразность, лишь бы том Ахматовой

увидел свет…

Довольно часто я бывал в Москве, встречался и с Лидией Корнеевной, и с Эммой Григорьевной, которая вплотную занималась прозой Ахматовой, даже по приглашению Лениздата приезжала в Ленинград для работы в рукописном отделе Публичной библиотеки.

Однажды в августе я позвонил Чуковской и сказал, что через неделю буду в Москве, чтобы отработать с нею накопившиеся вопросы, а затем улетаю в Саратов к родственникам. Лидия Корнеевна заметила, что приезд мой очень кстати, тем более, что со мною хочет встретиться Корней Иванович в Переделкино.

Незадолго до этого в Лениздате вышла книга А. Павловского о творчестве Анны Ахматовой. Узнав, что я увижу в Москве Чуковских, Алексей Ильич попросил передать свою книгу Корнею Ивановичу, сделав на титульном листе дарственную надпись.

…В назначенное время в квартире на улице Горького, 6 мы долго беседовали с Лидией Корнеевной о «Поэме без героя», которая наконец-то будет напечатана в полном виде. К тому времени цензура становилась все более и более придирчивой, особенно ее раздражала тема сталинских лагерей. Издательские работники почувствовали это раньше всех. Предугадывая цензорские «наезды», я высказал тревогу за строки из «Решки» и из «Эпилога»:

И проходят десятилетья,
Пытки, ссылки и смерти… Петь я
В этом ужасе не могу.
<. . . . . >
А за проволокой колючей,
В самом сердце тайги дремучей
Я не знаю, который год,
Ставший горстью лагерной пыли,
Ставший сказкой из страшной были,
Мой двойник на допрос идет.
А потом он идет с допроса,
Двум посланцам Девки Безносой
Суждено охранять его.
И я слышу даже отсюда —
Неужели это не чудо! —
Звуки голоса своего:
За тебя я заплатила
Чистоганом,

Ровно десять лет ходила
Под наганом,
Ни налево, ни направо
Не глядела,
А за мной худая слава
Шелестела.
…А не ставший моей могилой,
Ты, крамольный, опальный, милый,
Побледнел, помертвел, затих.
Разлучение наше мнимо:
Я с тобою неразлучима,
Тень моя на стенах твоих.

Лидия Корнеевна гневно говорила о тех жутких временах, о своей личной трагедии, когда был арестован и расстрелян ее муж, о трагедии Анны Андреевны: ее муж Николай Николаевич Пунин и сын Лев Гумилев были узниками ГУЛАГа.

Я твердо пообещал сдать в набор полный текст поэмы, а там уж, как говорится, куда кривая вывезет. А вот в относящихся к Ленинграду строках

…А не ставший моей могилой,
Ты, крамольный, опальный, милый,
Побледнел, помертвел, затих —

эпитеты «крамольный, опальный» вполне могут проскочить, поскольку речь идет о старом городе, о временах, можно сказать, «доисторического материализма».

Мое лукавство Лидия Корнеевна приняла за чистую монету и совершенно серьезно заметила, что я ошибаюсь, что Ахматова говорит о нашей новейшей истории. А я снова твердо заявил, что уверен в своей правоте. Чуковская была явно недовольна моей непонятливостью и не захотела продолжать дискуссию. Интересно, что разговор наш она продолжила в следующем письме. Но об этом – позже. На прощанье она сообщила, что Корней Иванович будет ждать меня в Переделкино завтра в полдень.

…В середине дня я приехал в Переделкино. Конечно же, я волновался. В самом начале войны отец ушел на фронт, а меня с братом и мамой эвакуировали из Ленинграда на ее родину – в глухую костромскую деревню Федоровское Чухломского района. Там я пошел в первый класс, там прочитал первую в своей жизни

книжку «Федорино горе». Шагая по тенистой дороге к даче Чуковского, еще издали увидел высокую фигуру в окружении ребятни и сразу понял, что это он. Дети бегали вокруг Корнея Ивановича, смеялись и отнимали друг у друга его палку. Я приблизился к этой счастливой компании, поздоровался, назвал себя. Веселый галдеж тотчас прекратился. Корней Иванович пообещал детишкам продолжить общение в другой раз и повел меня к себе.

Обосновались мы на открытой веранде второго этажа. Был солнечный жаркий день, а Корней Иванович сидел напротив меня в теплом свитере, на колени был наброшен плед.

Наш недолгий разговор в основном касался книги Анны Ахматовой, он снова и снова выражал беспокойство, как бы издание ее не затянулось, а я как мог его успокаивал, уверял, что Лениздат заинтересован в скорейшем выпуске книги. Тут я вспомнил просьбу Павловского – передал книгу об Анне Андреевне, выпущенную нами в сжатые сроки.

Корней Иванович поинтересовался, откуда я родом, где учился, кто мои родители. Я коротко отвечал, рассказал о первой прочитанной во время войны книжке, о том, что родителей тогда же лишился, зато завтра вылетаю в Саратов знакомиться с тещей, которая, надеюсь, заменит мне маму. Корней Иванович рассмеялся и сказал, что мне трудно понять его веселье, поскольку в его время как правило женились после знакомства с будущей тещей, а в нынешнее время – вот такие забавные истории, когда с родителями жены знакомятся после свадьбы.

В конце разговора Корней Иванович спросил, не составит ли мне труда в Саратове передать от него бандероль директору музея Н. Г. Чернышевского – внучке писателя Нине Михайловне Чернышевской. Я, конечно же, с готовностью согласился и через пару дней вручил пакет адресату.

У Корнея Ивановича я был еще дважды, и каждый раз он, улыбаясь, интересовался, как поживает моя теща, передаю ли я ей от него приветы. А вот книга А. Павловского ему не понравилась, поскольку он не усмотрел в ней ничего нового, самостоятельного, все в ней не выходит за рамки давным-давно написанного об Ахматовой самим Чуковским. Мнение Корнея Ивановича я Павловскому не передал, считая его излишне строгим.

Переписка с Лидией Корнеевной продолжалась.

18/IX 67

Дорогой Борис Григорьевич.

…Хотя мы виделись с Вами всего несколько дней назад, но у меня уже накопились дела к Вам. Очень прошу вникнуть и ответить.

…Помните ли наш разговор насчет варианта строки в Эпилоге Поэмы? У нас стоит

Ты, гранитный, кромешный, милый

а надо

Ты, опальный, крамольный, милый.

Вы тогда предположили, что это относится (последнее) к старому времени, а я сомневалась, как и что. Так вот, я пришла к мысли, что Вы правы – и она имеет в виду старый Питер. Поэтому исправьте, пожалуйста, эту строку – или, если хотите, я исправлю в корректуре…

Жму руку.

Саша, Э<мма> Г<ригорьевна> и К. И. кланяются.

Л. Чуковская

По телефону Лидия Корнеевна благодарила меня за неслыханно смелое предположение об ахматовской строке, относящей события к временам «доисторического материализма». При этом она шутливо сокрушалась, как же не смогла сразу понять, что скрывалось тогда за моим упрямством и сверхсерьезным тоном.

Позднее мне удалось убедить цензора, что «опальный, крамольный» город вовсе не Ленинград, а старый дореволюционный Питер.

30/IX 67

Дорогой Борис Григорьевич.

…Насчет цикла стихотворений Б. П. – это надо решать зрительно, а у меня нету перед собой рукописи. Придется решать Вам…

В архив, если можете, пойдите. Гумилев говорит: в Ф<онтанном> Доме АА жила с 27 года. Герштейн сообщает, что выехала она в 52. Очень может быть, это так и есть – но память подводит. Архив точнее. Кроме того, я знаю наверное, что она и до этого (т. е. до того, как переехала к Пунину в кв. 44) жила недолго во флигеле Фонтанного Дома, а когда? Не знаю…

Насчет «Путем всея земли» Вы поступили верно…

К. И. кончает статью. Жму руку.

Л. Чуковская.

5/X 67

Дорогой Борис Григорьевич.

Посылаю примечания.

…Хочу с Вами посоветоваться. Подумайте о том, не снять ли примечание к Царскосельской Статуе? (общеизвестное). Ведь не объясняю строчку из «Наследницы»:

Фелицу, лебедя, мосты

…Напоминаю Вам нашу просьбу – прислать подписи под фотографиями АА.

А какой фотографией будет открываться книга?

Жму руку.

Л. Чуковская

6/X 67

Дорогой Борис Григорьевич!

…Я долго не могла понять Ваших вопросов, но потом поняла, разобралась. Тут есть моя вина, и большая, которая и запутала Вас. Сейчас я на все отвечу и все распутаю.

Нечет – это книга.

Седьмая книга – это книга.

В Седьмую книгу входят циклы:

Тайны ремесла

В сороковом году

Ветер войны (кончается «Справа раскинулись пустыри»)

Победа

Луна в зените

Смерть

С самолета и т. д.

В книгу Нечет входят циклы:

Городу Пушкина

Песенки

Три стихотворения

Античная страничка и т. д. и т. п.

Путаница вызвана тем, что Ветер войны в «Беге» почему-то – и безусловно в редакции, п.ч. в папках моих этого нет – выделен крупнее, наравне с названиями книг, в то время как это всего лишь ц и к л – один из циклов «Седьмой книги».

Это было сделано без меня, уже в Ленинграде – а моя вина в том, что при расклейке я не заметила этой несуразицы и тем ввела в заблуждение Вас и, боюсь, оформителя…

Получили ли Вы примечания?

Жму руку. Отвечаю в минуту получения Вашего письма.

Л. Чуковская

P. S. Статья К. И. у машинистки.

Дорогой Борис Григорьевич.

Сегодня – 3/1 – получила Ваше письмо и фотографии.

Пишу, чтоб сказать, что задачу Вы мне задали очень трудную.

Из присланных Вами 18 фотографий я знаю 4.

Я никогда их не собирала и никогда ими не интересовалась.

У Э. Г. умирает сестра. Она там – у постели. Я говорила с ней по телефону. Кроме того, о снимках она тоже знает мало и приблизительно…

Я попробую сделать, что могу – но на это надо время и время.

Вы прислали мне список тех дат и мест, которые Вам известны. Но Вы не указываете, откуда Вы их взяли. А источник мне знать необходимо…

Затем: фотография в Оксфорде (№ 16) – ужасная. Это какие-то похороны. Я бы ее удалила…

Я попробую привлечь к работе Толю Наймана и Мишу Ардова.

Насчет примечания к «Огромной скале» я, разумеется, не забыла. Но Ладыженская, сообщившая мне множество сведений об этих стихах – названия места

не знает. Так что примечания не будет.

В примечаниях моих за это время набралось уже довольно много стилистических поправок…

Конечно, я буду советоваться с К. И. о фотографиях. Но сомневаюсь, чтобы он многое знал. У него есть 2–3, подаренные ею – и всё…

Жму руку

Л. Чуковская

P. S. В последние годы АА сама собирала свои фотографии и указывала на них даты и места. Но где они? У Пуниных? В Публ. Библ.?

9/1.68

Дорогой Борис Григорьевич!

…Я думаю, Вам следует пригласить в редакцию Анатолия Генриховича Наймана и Иосифа Александровича Бродского и показать фотографии им… у них могут быть старые снимки, подаренные АА, с помеченными ею датами…

Так, совместными усилиями, мы сделаем подписи без ошибок…

В № 12 «Вопросов литературы» в чьей-то рецензии на книгу Павловского упоминается «Реквием». Говорится о том, что Ахматова изобразила «драматические события 30-х годов» (т. е. очевидно сталинщину, ежовщину)…

Нельзя ли снова поставить вопрос о напечатании Реквиема? Вот тогда мы выполнили бы свой долг перед АА и перед читателем.

Что Вы думаете об этом?

Будьте здоровы. Жму руку

Л. Чуковская

Досадно, что наша трудоемкая работа по розыску, подготовке фотографий, их датировке в конце концов оказалась невостребованной. А фотографий в книге должно было быть шестнадцать, не считая фотопортрета Ахматовой работы М.Наппельбаума на фронтисписе. У меня сохранились и сами фотографии, и типографские оттиски этих фотографий.

Книга вышла и без примечаний к стихам, которые были, по сути, главной частью работы Лидии Корнеевны.

Я продолжал знакомиться в рукописном отделе Публичной библиотеки с архивом Анны Ахматовой. Чтобы попасть туда, необходимо было запастись официальным письмом издательства. Сейчас это кажется весьма странным, но в те годы такая

процедура соблюдалась очень строго.

<…> января 1968

Заведующему рукописным отделом
ГПБ им. Салтыкова-Щедрина
тов. Мыльникову А. С.

В Лениздате готовится к печати однотомник избранных произведений А. А. Ахматовой, куда входит большое количество фотографий автора. У нас возникли трудности с их датировкой.

Просим Вас разрешить редактору ДРУЯНУ Б. Г. сверить имеющиеся в нашем распоряжении фотографии с теми, которые находятся на хранении в Вашем отделе.

Гл. редактор / Хренков /

Долгих два месяца я не звонил и не писал писем в Москву. У меня были серьезные неприятности. По доносу в ЦК КПСС поэта-сатирика Брониславa Кежуна с меня усердно «снимали стружку». Я пребывал если не в подавленном, то в довольно мрачном состоянии.

Дорогой Борис Григорьевич.

Что-то от Вас долго нет вестей, это на Вас не похоже и я начинаю беспокоиться.

Я от Вас не получила подтверждения о посланных мною двух последних подписях к фотографиям.

Затем я уже два раза просила Вас вернуть мне фотографию АА, сделанную Бродским – 1963, Комарово, профиль. Вы написали мне, что она не нужна. Где же она?

Уж не больны ли Вы? Сейчас всюду грипп.

Пожалуйста, отзовитесь.

6/III 68

А я все тянул с отправкой Лидии Корнеевне уже снятой фотографии, надеясь на то, что все утрясется, о чем неуверенно уведомил ее по телефону.

Казалось, вот-вот работа над книгой закончится, и читатели наконец получат драгоценный подарок. Однако застойное

затишье уже приказало долго жить. Над общественной жизнью сгущались тучи, идеологический пресс все заметнее давил на литературу. В полной мере я ощутил это на себе. Через много лет я прочитал переписку Л. К.Чуковской с академиком В. М. Жирмунским. Вот что она сообщила ему в письме от 27 апреля 1968 года: «…Сейчас у меня побывал Владимир Григорьевич <Адмони>. И тут же мельком сказал, что в Лениздате снят Друян – за книгу Горбовского – и все книги, подписанные им к набору, пересматриваются».

Только чудо спасло тогда меня от увольнения с работы.

Появившуюся корректуру книги Анны Ахматовой в это самое время неторопливо изучали то ли в партийных, то ли в цензорских кабинетах, что, впрочем, одно и то же. Ничего хорошего от вердикта этих всевластных структур ожидать не приходилось. Делиться же своими опасениями в этот напряженный момент ожидания я ни с кем не помышлял.

Однажды меня пригласил в свой кабинет цензор. На его столе лежала раскрытая корректура на странице со стихотворением «Последняя роза». Эпиграфом служила строка: «Вы напишете о нас наискосок. И. Б.». Улыбаясь, хозяин кабинета поинтересовался, кто скрывается за инициалами И. Б. В ответ я заметил, что об этом надо было бы спросить у автора, но, увы, увы… Цензор моей иронии не принял и сухо сказал, что на самом деле я отлично знаю, кто такой И. Б., но почему-то поделиться с ним своим знанием не желаю. Продолжая «валять ваньку», я предположил, что И. Б. – скорее всего Иван Бунин. Цензор, уже сердито глядя мне в глаза, твердо произнес, что И. Б. – это Иосиф Бродский и что я напрасно играю в угадайку, эпиграф же безоговорочно снимается. Если я не согласен, будет снято все стихотворение.

Мой редакторский экземпляр корректуры по распоряжению Дмитрия Терентьевича Хренкова был отправлен на рецензию академику Виктору Максимовичу Жирмунскому, который в это самое время работал над подготовкой стихотворений и поэм Анны Ахматовой для Большой серии «Библиотеки поэта».

Виктор Максимович написал обстоятельный пятистраничный отзыв, который завершался следующей фразой:

> В заключение я хотел бы еще раз приветствовать своевременную, очень нужную и вполне компетентную публикацию, подготовленную Лениздатом, и пожелать скорейшего выхода в свет издания, которого с нетерпением ждут советские читатели.

Академик /В. М. Жирмунский/

23. VI. 68

А днем раньше, получив перечень снятых цензурой стихов, я отправил письма одинакового содержания В. М. Жирмунскому и Л. К. Чуковской.

22 июня 1968
Ленинградская обл.,
Комарово, ул. Кудринская, 4
Жирмунскому В. М.

Уважаемый Виктор Максимович!

Уточняю изменения в лениздатовской верстке Анны Ахматовой:

1) на стр. 419 снимается четверостишие «За такую скоморошину…»

2) на стр. 497 снимается эпиграф Иосифа Бродского «Вы напишете о нас наискок» к стихотворению «Последняя роза».

3) на стр. 553 снимаются три строки из X строфы «Решки».

4) на стр. 561–562 снимается кусок из «Эпилога, начиная со строки «А за проволокой колючей» и кончая строкой «А за мной худая слава шелестела»…

С уважением /Б. Г. Друян/

Тут стоит заметить: отнюдь не всё в те далекие советские годы было худо. Почта, например, работала очень даже хорошо. Письмо мое быстро дошло до адресата, и всего через четыре дня Виктор Максимович написал мне:

В Лениздат
Редактору Б. Г. Друяну
Комарово, 25 июня 1968.

Уважаемый Борис Григорьевич

Я надеюсь, что Вы уже получили мою рецензию на «Стихи и прозу» Ахматовой, которую моя жена

собиралась Вам доставить… Был бы очень рад узнать, что она отвечает своему назначению.

Получил Ваше письмо от 22 июня. Спасибо за уточнения! Должен признаться, что одно обстоятельство вызвало мое негодование. А. А. при жизни была очень огорчена и возмущена тем обстоятельством, что при редактировании «Бега времени» редактор счел нужным снять эпиграф из Иосифа Бродского. Теперь, через несколько лет после того глубоко печального инцидента, Вы делаете то же самое, на этот раз без всякого серьезного основания. Поэт и переводчик Иосиф Бродский – советский гражданин, его стихи не запрещены, а следовательно А. А. Ахматова имела полное право цитировать их в эпиграфе. За последнее время у нас печатались его стихи и переводы, а Академия Наук СССР в Москве поручила ему и включила в печатный каталог своей серии «Литературные памятники» подготовляемый им под моей редакцией перевод «Английских поэтов XVII века». Добавлю от себя, что Иосиф Бродский, по моему мнению, – один из трех-четырех лучших советских поэтов наших дней, стихи его выделяются своей изумительной красотой и силой, недаром АА (так же, как покойный С. Я. Маршак и ныне здравствующий К. И. Чуковский) так ценили его поэзию. В иностранных литературных журналах, за которыми я слежу, почти каждый месяц появляются отзывы о его стихах, очень положительные, причем без всякого отношения к политике. Прошу Вас сообщить мое мнение по этому вопросу Вашей главной редакции, поскольку она почтила меня обращением ко мне за рецензией на подготовленное Вами издание.

С товарищеским приветом В. Жирмунский

Получив это письмо, я по телефону сообщил Виктору Максимовичу, что, к сожалению, решительно ничего поделать нельзя, что эти злосчастные изъятия не мои, что они, я это знаю точно, обсуждению не подлежат.

Виктор Максимович взволнованно сказал, что я человек безусловно плохой, раз не хочу воздействовать на тех, кто осмеливается поднять руку на стихи Анны Ахматовой. Я не решался прерывать гневную речь академика, а он меня добил: мою редакторскую корректуру книги он не вернет. И повесил трубку.

Расстроился я не на шутку, тут же рассказал о разговоре Д. Т.

Хренкову. Он тоже встревожился и попросил как-нибудь убедить Виктора Максимовича вернуть корректуру – до подписания к печати она в принципе не должна находиться за пределами издательства.

Отложив все дела, я помчался в Комарово на дачу к своему университетскому учителю профессору Наумову за советом. Кстати, в это время я редактировал его монографию «Сергей Есенин. Личность. Творчество. Эпоха». Многоопытный, мудрый Евгений Иванович был в свое время главным редактором издательства «Советский писатель». Он сразу все понял и поспешил меня успокоить: сегодня же он переговорит с профессором Макогоненко, к которому очень расположен Жирмунский. А уж Георгий Пантелеймонович наверняка сможет убедить академика вернуть корректуру редактору.

Все получилось так, как предполагал Евгений Иванович. Макогоненко обрисовал Жирмунскому истинное положение дел, не забыв сказать, что их общий в недавнем прошлом ученик Друян будет иметь жуткие неприятности, вплоть до увольнения с работы с «волчьим билетом», если не получит свой экземпляр корректуры.

Через день посыльный от Жирмунского вручил мне пакет с многострадальной корректурой. А по телефону Виктор Максимович поинтересовался, получил ли я от него пакет, а затем сказал, что был неоправданно строг, а теперь, после разговора с Георгием Пантелеймоновичем, понимает, что я человек хороший, решительно ни в чем не повинен и что он искренне сожалеет… Я был смущен: сам академик Жирмунский сожалеет!.. Главное же: корректура вновь лежала передо мною на столе.

Добрейший, наивный Виктор Максимович тогда еще не знал, что и в подготовленном им томе Ахматовой для Большой серии «Библиотеки поэта» цензура вскоре не пощадит те же самые стихи, что и у нас. Чего ж тут удивляться, если в более «вегетарианское» время они были зарублены при издании «Бега времени».

Вновь и вновь перечитываю письма Чуковской. Тональность их резко поменялась после моего письменного сообщения о цензурных изъятиях. Цензуры в СССР официально не было. Был так называемый ГОРЛИТ. Но всем без исключения было известно, что ГОРЛИТ – это не что иное, как ЦЕНЗУРА, которой НЕТ, но которая СУЩЕСТВУЕТ. Вот такая была жизнь, порядок, с которым свыклись, считали неизбежным злом. На двери цензора в Лениздате, естественно, не было никакой таблички. За

закрытыми дверями цензор вручал редактору свои замечания. А уж редактор крутился, как несчастный уж на сковородке, требовал от автора то, что требовала цензура. Автор отлично понимал правила игры и крайне редко отваживался спорить. Спорить было бесполезно: цензура есть цензура, ее курирует и надежно прикрывает Обком КПСС. А Обком никогда не ошибается. Однажды в минуту откровенности один из цензоров объяснил мне: на каждого редактора заведена персональная карточка, где зафиксированы все изъятия – цензорские «вычерки» из книг, которые он ведет. «Вычерки» эти передаются «наверх», чтобы там знали, кто как работает, и делали соответствующие выводы. У меня, по его словам, «вычерков» накопилось порядочно. Фамилия этого цензора была Макеев. Я его называл Макиавелли, ему это очень нравилось. Как-то после очередного напряженного разговора я прочитал ему восемь строк:

Лжец придумал, что дремлет ГОРЛИТ.
Кто поверит такому вздору?
Клеветник понапрасну злит
Маркоцензорскую контору.
А вообще-то весь белый свет
Пусть узнает: на самом деле
Нет цензуры. ГОРЛИТА – нет.
Есть Макеев – Макиавелли!

Он был заметно польщен, заулыбался, тут же записал стишок на листке бумаги и сказал, что непременно познакомит с ним своего шефа Маркова. Увы, мой рифмованный пассаж не повлиял на количество «вычерков». Вообще-то цензоры в большинстве своем были люди вменяемые, хорошо образованные. С некоторыми из них мы вместе учились в Ленинградском Университете. Это была их работа, они обязаны были следовать жестким инструкциям, не отклоняясь ни на шаг ни вправо, ни влево. Но нам, издательским работникам, от понимания их тяжкой работы было не легче, мы были самыми крайними в четко выстроенной идеологической вертикали.

А вот ответ Чуковской на мое письмо, в котором я информировал ее об изъятиях в корректуре:

27/VI 68

Дорогой Борис Григорьевич.

Отвечаю кратко, п.ч. снова лежу. Сегодня я получила Ваше письмо от 22 июня с.г., в котором Вы извещаете меня (и при этом не удостаивая мотивировками, словно мы оба не сотрудники редакции, а военнослужащие и находимся в армии) о том, что редакция сделала из отдела, редактируемого мною, еще 4 изъятия:

1) За такую скоморошину

2) Строки из Решки о пытках, ссылках и смертях

3) Эпиграф из Бродского

4) Кусок из Эпилога:

от строки

А за проволокой колючей

до

Худая слава шелестела.

На первые 2 изъятия, скрепя сердце, я еще могу согласиться. (Если, как мы с Вами условились при свидании, 3 строки будут заменены точками)

На вторые два – ни в коем случае.

АА высоко ценила поэзию Бродского, заступалась за поэта во время беззаконного и постыдного суда над ним, считала его самым талантливым поэтом Ленинграда – и в частности любила и ценила стихотворение Бродского, ей посвященное, откуда и взяла строку

«Вы напишете о нас наискосок»

(М.б., эта строка непонятна? Объясняю: Бродский имеет в виду почерк А. А.; она писала наискосок).

Вразумите меня: что в этой строке предосудительного? И кто имеет право сводить свои счеты с Бродским в книге Ахматовой? Я была свидетельницей огорчения и гнева АА, когда без ее воли С<оветский >п<исатель> снял этот эпиграф из Бега – и я участвовать в повторении этого безобразия не буду.

Самое большее, на что я могу согласиться, это – вместо И. Бродский, (как стояло у АА) поставить И. Б.

Далее. Об искажении текста Поэмы путем изъятия из Эпилога приведенных строф – и речи быть не может. Это вопиюще – и это бессмысленно: сталинщину из нашей истории все равно не изымешь… Строфы эти широко известны; я, отвечающая за текст, не хочу стать всеобщим посмешищем. К тому же, в своем крошечном предисловьице (врезке) я объявляю, что все делаю по воле автора… Что же – и это «воля автора»?

Мне представляется также, что строфы эти были

опубликованы в одном из наших журналов. Сейчас, из-за того, что я хвораю на даче, я временно разлучена со своим архивом – но как только встану – проверю себя. И если обнаружу эту публикацию – немедленно извещу Вас.

Но – напечатанные или нет – строфы эти должны остаться в Поэме. Я знаю, как высоко ценит Поэму Дмитрий Терентьевич; АА когда-то с такой радостью говорила мне, что он обещал напечатать Поэму целиком.

Довольно терзали Ахм при жизни; не будем после ее смерти продолжать ту же отвратительную традицию. Я, во всяком случае, берегу свое доброе имя и не могу принимать участия в этом произволе (в чьем? Цензурном?)

Жму руку и прошу ответить незамедлительно.

Л. Чуковская

Надеюсь, Вы перешлете мне отзыв акад. Жирмунского. Его мнение о нашей работе мне очень дорого.

Письмо это я в тот же день показал Хренкову. Он внимательно прочитал его и, не скрывая озабоченности, сказал, что оно явно адресовано и мне, и ему. Скорее даже – ему, поскольку действительно он обещал Анне Андреевне напечатать «Поэму без героя» целиком. Теперь же времена изменились, выполнить давнее обещание невозможно. В любом случае надо все обдумать и – никуда не денешься – поехать советоваться в «высокие кабинеты» Обкома. Мне же надлежало набраться терпения, не писать и не звонить Лидии Корнеевне до решения партийного начальства.

Чуковская позвонила сама, спросила, получил ли я от нее письмо и что могу ей сказать. Я честно признался, что передал ее письмо своему руководству и сам пребываю в тревожном ожидании. Затем напомнил о нашей прошлогодней беседе у нее дома, когда я выразил свои опасения за строки из «Решки» и «Эпилога». Лидия Корнеевна сухо заметила, что все всегда очень хорошо помнит, будет ждать письменного ответа и резко прекратила разговор.

Ожидание было недолгим. Как-то в конце рабочего дня Дмитрий Терентьевич пригласил меня в свой кабинет и сказал, что официальное письмо Чуковской за его подписью или подписью директора Попова может поставить под удар выпуск книги. Поэтому он просит меня отправить ей частное, неофициальное письмо за моей, редакторской, подписью, тем

более что она относится ко мне хорошо. Другого выхода попросту нет. А черновик письма мы сейчас же вместе напишем.

Мне ничего не оставалось, как согласиться, лишь бы хоть как-то умягчить разгневанную Лидию Корнеевну.

Помнится, письмо это все же было каким-то непривычно сдержанным, «деревянным». В нем говорилось, что Лениздат – издательство партийное, через издание книг оно проводит политику КПСС, которая на современном этапе считает необходимым свернуть тему сталинских лагерей. И изъятие лагерных строк в «Поэме без героя», и снятие эпиграфа Иосифа Бродского имеют не поэтическую, а политическую основу. Что-либо изменить невозможно.

В ответном письме Чуковская яростно обличала установившиеся порядки, когда наглухо замалчиваются свидетельства о замученных в сталинских лагерях миллионах ни в чем неповинных людей, когда преследуется живая мысль и слово поэтов. Столь же страстно Лидия Корнеевна защищала Иосифа Бродского.

Следуя установившейся традиции, я ей позвонил, сообщил о получении письма, сказал, что ознакомлю с ним свое начальство. Она ответила, что именно на это рассчитывала, отправляя мне письмо, попросила держать ее в курсе.

Письмо при мне прочитал Дмитрий Терентьевич и сказал, что дела наши неважные, он сам еще не представляет, как все повернется, как сложатся теперь отношения с Чуковской, при необходимости же он сам вступит с нею в переговоры. Письмо он мне не вернул.

Таким образом, я был отстранен от ближайших контактов с Лидией Корнеевной. Знаю только, что в конце концов она вынуждена была согласиться принять цензорские изъятия. Но и это не помогло. Корректура книги Анны Ахматовой лежала без движения на моем рабочем столе.

Именно тогда произошли трагические пражские события: 21 августа 1968 года советские танки вошли в столицу Чехословакии, мир был потрясен, на Красной площади Москвы 25 августа сотрудники КГБ арестовали восемь смельчаков, протестовавших против расправы с жителями Праги.

Между тем с Чуковской мы перезванивались и изредка переписывались. Как и прежде, она была со мною подчеркнуто доброжелательна: видимо, в это же время цензура изымала стихи Ахматовой и из тома, который готовил к печати В. М. Жирмунский, о чем она наверняка знала.

Как все же выразительна и точна поговорка «Скоро сказка

сказывается, да не скоро дело делается»! Невидимое всевластное начальство продолжало тормозить процесс издания Ахматовой.

И все-таки ненадолго выглянуло солнышко. В ноябре 1969 года появилась вторая корректура – сверка. На моем экземпляре стоит дата, обозначенная от руки в производственном отделе: 18/XI. А внизу титульного листа напечатан предполагаемый год издания: 1970. По моей просьбе корректуру переплели мои друзья в лениздатовской типографии, и с тех пор это редчайшее издание прописано на моей книжной полке. Долгое время я пребывал в полной уверенности, что лишь я обладаю раритетом. Оказалось, ошибался. Такая же уникальная книга-«полуфабрикат» сложными путями благополучно добралась до ахматовского фонда рукописного отдела Публичной библиотеки. Вернее, не такая же книга, а почти такая, поскольку библиотека располагает первой корректурой 1968 года без примечаний Чуковской.

Вторая корректура по-прежнему ждала своего часа. Для того, чтобы стать полноценной книгой, ей всего-то не хватало «малости» – разрешения цензуры. Когда же произойдет это событие, никто не знал. Похоже, не знала сама цензура, все поголовно находились под идеологическим «колпаком» ЦК КПСС. Вчерашние надежды плотно накрыл сумрак неизвестности и тревоги.

В октябре 1969 года скончался Корней Иванович Чуковский. Он так и не дождался выхода книги Ахматовой со своей вступительной статьей. Нет, все же не зря беспокоился он о сроках ее выпуска. Саму книгу впереди ожидала главная неприятность. В 1973 году по радиостанции «Голос Америки» прозвучала статья Лидии Чуковской «Гнев народа» о травле в Советском Союзе академика А. Д. Сахарова. В январе 1974 года она была исключена из Союза писателей. Лениздату пришлось официально расторгнуть с нею договорные отношения, выплатить полностью гонорар, вернуть расклейку стихов Ахматовой вместе с «Поэмой без героя», примечания, а также вступительную статью Корнея Ивановича Чуковского.

Мы были в растерянности. Казалось, долголетняя работа над книгой пошла под откос. Однако вскоре выход был найден. Дмитрий Терентьевич Хренков посоветовался с членами комиссии по наследию Ахматовой. Мнение было единым: книгу надо выпускать, а составительство и подготовку поэтического раздела предложить мне. Эмма Григорьевна согласилась по-прежнему представлять прозу Ахматовой.

Я приехал в Москву. Мы довольно долго беседовали с Эммой Григорьевной у нее дома. Она была полностью в курсе всего, что

касалось работы над подготовкой однотомника. Тихим голосом она сказала, что, к сожалению, праведный гнев Лидии Корнеевны поставил под вопрос общий труд, что «Лиду занесло», Ахматова же опять пострадала, книгу надо попытаться спасти, а мне отказываться ни в коем случае нельзя.

После разговора с Эммой Григорьевной свое согласие я дал. Лениздат составил со мною официальный договор. Все эти годы я выходил далеко за рамки редакторских обязанностей, скрупулезно сверял, перепроверял и уточнял стихотворные тексты по всем прижизненным ахматовским сборникам, «перепахал» весь архив Ахматовой в рукописном отделе Публичной библиотеки – фактически работал над составлением и текстологической подготовкой поэтического раздела книги.

Что касается важнейшей в этом издании «Поэмы без героя», то я использовал хорошо мне знакомый авторизованный машинописный текст (редакция 1963 года), хранящийся в рукописном отделе Публичной библиотеки.

Стихи, не вошедшие в прижизненные сборники Ахматовой, но неправомерно включенные Чуковской в основной корпус однотомника, я вынес в отдельный раздел «Из стихотворений, не вошедших в книги». Раздел этот составили сорок семь (!) стихотворений.

Иногда у меня возникала необходимость посоветоваться с Эммой Григорьевной. Вот как вспоминала об этом сама Э. Г. Герштейн: «…Вступительную статью написал Д. Т. Хренков. Роль составителя основного отдела перешла к Борису Григорьевичу Друяну. В основу его текстологии была положена работа Л. К. Чуковской, дополненная открывшейся возможностью проверять тексты Ахматовой по ее рукописям. Когда в сомнительных случаях Борис Григорьевич советовался со мной, я не скрывала от него, что, в свою очередь, посоветуюсь с Чуковской…» («Нева», 1988, № 4, стр. 204).

Чтобы снова и снова проверять тексты Ахматовой по ее рукописям, приходилось запасаться вот такими официальными бумагами:

<…> сентября 1975

ЗАВЕДУЮЩЕЙ РУКОПИСНЫМ ОТДЕЛОМ ГПБ

им. М. Е.САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА

тов. КУРБАТОВОЙ И. Н.

В связи с подготовкой к изданию однотомника Анны Ахматовой просим Вас разрешить старшему редактору Лениздата ДРУЯНУ Борису Григорьевичу ознакомиться с текстами «Поэмы без героя», хранящимися в архиве А. А. Ахматовой.

Главный редактор Лениздата (Д. Т. Хренков)

А через месяц потребовалось официальное письмо уже не на имя заведующей рукописным отделом, а на имя директора библиотеки – маленький, но очень характерный для того времени штришок.

10 октября 1975

Директору Государственной публичной

Библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина

тов. Л. А. ШИЛОВУ

Прошу Вас разрешить пользоваться литературой ограниченного распространения старшему редактору Лениздата Б. Г. Друяну в связи с подготовкой к изданию однотомника избранных произведений Анны Ахматовой.

Главный редактор (ХРЕНКОВ Д. Т.)

Мы продолжали переписываться и перезваниваться с Эммой Григорьевной Герштейн.

7/X 75

Дорогой Борис Григорьевич.

Я вставила одно примечание со ссылкой на «Прометей»… Соответственно вставке изменены №№ остальных примечаний.

Я не помню (у меня нет копий) по какому изданию мы даем цитаты Пушкина. Здесь – по 16-ти томному. Если всюду по 10-ти томнику, то надо бы

унифицировать, но я не уверена, что там напечатаны все черновики, на которые ссылается Ахматова.

К сожалению, я сейчас никак не могу это сверить, так занята, что запрятала телефон в шкаф, не слышу звонков, Вы не представляете, какое это блаженство! Так продлится еще недельку.

Жму руку

Э. Герштейн

P. S. Надеюсь, «Пушкин и Невское взморье» откроет отдел прозы? В год декабрьского 150-летия эта статья должна быть на первом месте.

Дорогой Борис Григорьевич!

Отрывок из поэмы «Русский Трианон» напечатан в журнале «Ленинград», 1946, № 1–2, стр. 13. (сведения из америк. изд. второе, 1967 года).

12/X 75 Э. Герштейн

Однажды в наш редакторский кабинет зашел коренастый широколицый человек. Окинув присутствующих прищуренным взглядом, он сказал, что хотел побеседовать с Хренковым, но того нет, секретарь главного отправила его сюда к Друяну. Я тоскливо подумал: опять на мою голову пожаловал очередной графоман, хорошо, если не псих – такие нам время от времени здорово досаждали. Мы с ними всегда были максимально осторожными, отказывали в публикации таким образом, что они уходили не слишком довольными, но и не шибко озлобленными.

Стараясь казаться архидоброжелательным, я вышел из-за стола, с улыбкой указал посетителю на кресло, говоря, что оно предназначено для особо почетных гостей, что я и есть тот самый Друян, которым он интересуется, и что я был бы рад, если бы он назвал себя.

– Лев Николаевич Гумилев, – представился он.

Я аж поперхнулся. Видок у меня наверняка был еще тот! Думаю, вот так же чувствует себя боксер в хорошем нокдауне. Все присутствующие разом замолчали и уставились на нас. А я суетливо усаживал гостя в кресло, бормотал, мол, никак не ожидал увидеть его…

– Живьем? – уже улыбаясь спросил Лев Николаевич.

– Что-то вроде этого… – более глупой фразы я ничего в тот миг придумать не мог.

Лев Николаевич рассмеялся. Много позже он сказал мне, что

именно эта фраза «купила» его.

Затем уже серьезно поинтересовался, почему издательство готовит книгу Ахматовой, а его даже не поставили в известность.

Я не стал кривить душой, откровенно сказал, что никому в издательстве и в голову не пришло разыскивать его, имея договорные отношения с Чуковскими и Эммой Григорьевной Герштейн. Затем подробно изложил всю длинную драматическую историю подготовки однотомника и твердо заверил, что отныне решительно все будет согласовываться с ним.

Согласовывать теперь уже поздно, заметил он, а вот помнить о том, что он все же имеет прямое отношение к Ахматовой, надо бы.

Из книжного шкафа я извлек корректуру и передал ему. Он неторопливо перелистал ее, снова и снова возвращаясь к каким-то стихам. Было видно, что он доволен. Неожиданно он открыл страницу с напечатанным стихотворением «Читая Гамлета» и спросил, не хочу ли я вместе с ним немного похулиганить.

Я удивился, но сразу же согласился, не представляя, впрочем, каким образом мы на пару с Гумилевым будем хулиганить.

Лев Николаевич вслух прочитал:

> У кладбища направо пылил пустырь,
> А за ним голубела река.
> Ты сказал мне: «Ну что ж, иди в монастырь
> Или замуж за дурака…»

– Так всюду напечатано. А вот я хорошо помню, – сказал он, – что мама давным-давно дома читала так:

> Ты сказал мне: «Офелия, иди в монастырь
> Или замуж за дурака…»

Я с готовностью согласился на это «хулиганство». Забегая вперед, хочу сказать, что строка, предложенная Львом Николаевичем, напечатана позднее в подготовленных мною к печати книгах Ахматовой, а также в выпущенном в Лениздате в 1989 году однотомнике, который составил А. И. Павловский.

Лев Николаевич с той памятной для меня встречи, убедившись, что я дорожу каждой запятой в текстах Ахматовой, относился ко мне очень тепло, подарил книгу «Хунны в Китае», которая вышла в издательстве «Наука». При встречах и по телефону он стал называть меня не иначе, как Боренька Григорьевич. Не сразу, но и я решился в ответ обращаться к нему

столь же неофициально, по-домашнему: Левушка Николаевич. Когда издательство «Детская литература» попросило его согласия на издание сборника избранных стихотворений Ахматовой, он поставил условие: пусть Друян ознакомится с составом книги и напишет внутреннюю рецензию. Это было сделано, книга дважды – в 1977 и в 1988 годах – большими тиражами была напечатана в этом издательстве.

Но это было потом. А пока не могу не вспомнить забавный эпизод. Как-то меня по телефону попросила зайти заведующая договорным отделом Лениздата Валентина Константиновна Остроумова. Едва переступил порог ее кабинета, как на шею ко мне бросилась незнакомая миловидная женщина и принялась меня целовать. Я был ошарашен, но не сопротивлялся – от нее веяло такими «вкусными» духами! Наконец, отпустив меня из своих объятий, она сказала, что узнала обо мне от Льва Николаевича Гумилева, который приходил к ней за консультацией. Постепенно я начал кое-что понимать из весьма сумбурного монолога женщины, которую звали Ниной Ивановной Крамаревой. Она оказалась довольно большой начальницей – возглавляла Управление авторских прав Ленинграда. Родом она была из той самой костромской деревни, что и моя мама, и приходилась мне дальней родственницей. Рассказывая все это, она снова и снова повторяла: «Ну, надо же, надо же, ведь я тебя на руках таскала, тетешкала, ты был еще совсем крошка и меня, конечно, не помнишь». Понятное дело, я вовсе не помнил ее. Но, признаюсь, было приятно обрести пусть дальнюю, но все же родственницу. К тому же она, как выяснилось, принимала самое деятельное участие в авторских делах Льва Николаевича Гумилева.

Мы все уже привыкли к неопределенности, к многолетнему ожиданию, как вдруг кто-то всевластный и невидимый дал отмашку: Ахматову издать! Очередной издательский цензор Вера Георгиевна Степанова для меня навсегда осталась самым либеральным цензором на свете, хотя она тогда всего лишь выполнила указание своего начальства, поставив разрешительную печать на корректуре.

Мало кто из читателей обращает внимание на завершающие книги выходные данные, а ведь они содержат в себе полезные сведения. На последней странице ахматовского однотомника значится: Сдано в набор 24/XI 1975 г. Подписано к печати 20/II 1976 г. Тираж 200 000 экз. Современному читателю трудно представить себе, что поэзия может быть издана двухсоттысячным тиражом. Но так было!

В конце февраля – начале марта 1976 года проходил XXV съезд КПСС. Мы опять жили в атмосфере привычной тревоги. По опыту прежних лет понимали, что ждать ничего хорошего от его решений нам не светит, никто еще не отменял Постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград». Однотомник Ахматовой, появившийся на свет в темное застойное время, произвел неслыханный ажиотаж. У книжных магазинов выстраивались громадные очереди, за порядком следили иногда даже конные милиционеры. На моем столе лежали десятки писем с просьбой помочь «достать» книгу. Больших возможностей у меня, естественно, не было, но многие мои друзья получили вожделенный том. Главный художник Лениздата Олег Маслаков подарил мне изготовленный в типографии издательства праздничный – в светлом ледерине – экземпляр книги. Я поблагодарил за искреннее желание сделать мне приятное, но все же подарок его не шел ни в какое сравнение с благородным, сдержанным стилем многотиражной «агатовой» обложки, которую придумал сам Олег Иванович и которая, кстати, решительно не устраивала Лидию Корнеевну.

В один из этих светлых дней в редакцию зашел Лев Николаевич Гумилев и как-то непривычно официально сказал, что выход книги Ахматовой, безусловно, событие в литературной жизни страны, но все же в первую очередь это касается его, ведь он единственный сын Анны Андреевны. А посему он приглашает меня отметить завтра это событие у него дома.

Разумеется, я заготовил несколько вопросов, считая уместным в застольной беседе коснуться его прошлого, нескольких арестов, пребывании в ГУЛАГе, отношений с матерью. Досадно, но тогда моим планам не суждено было осуществиться. Как потом признался Лев Николаевич, чтобы мне не было скучно, он решил пригласить интересного человека.

Почти сразу вслед за мною в комнату коммуналки, где обитали Лев Николаевич с женою Натальей Викторовной, явился вместе с молодой балериной Кировского театра Савелий Васильевич Ямщиков. Это был талантливый художник-реставратор, в то время еще не всесоюзно известный. Он сразу оказался в центре внимания. За столом под водочку со скромной закуской Савва неторопливо делился воспоминаниями о своей работе в краеведческом музее захолустного Солигалича Костромской области. Мне было особенно интересно – дорога на этот городок шла рядом с деревней Федоровское, места эти были мне хорошо знакомы с времен войны. Там, в Солигаличе, Ямщиков описывал древние иконы и – что чрезвычайно важно – извлек из небытия портреты кисти замечательного крепостного

живописца XVIII века Григория Островского. Рассказывал он очень интересно, все мы с удовольствием его слушали.

Время за общим разговором пролетело незаметно, за окном сгустились сумерки, и мы попрощались с хозяевами.

А дальше произошло совершенно невероятное. Не берусь гарантировать достоверность того, что рассказал тогда Дмитрий Терентьевич Хренков. В Смольном он получил информацию о просьбе руководителей Чехословакии, поступившей в ЦК КПСС, выделить часть тиража книги Анны Ахматовой для русскоязычных читателей страны. Таких читателей еще со времен первой эмиграции было довольно много. Необходимо было сделать шаг им навстречу, учитывая внутриполитическую напряженность после не такой уж давней «Пражской весны». Так или иначе, Лениздат получил распоряжение в кратчайшие сроки отпечатать еще один тираж книги. Сделать это обычно – проще простого при непременном условии, если сохранились типографские матрицы издания. Но вот их-то, как оказалось, уже отправили на свалку за ненадобностью. Мне пришлось бросить все текущие дела и сделать так называемую расклейку, с которой начался традиционный издательский процесс переиздания: корректура – редакторская и корректорская вычитка – вторая корректура – подпись к печати. Выходные данные свидетельствуют: Сдано в набор 24/VIII 1976 г. Подписано к печати 21/XII 1976 г. Дополнительный тираж – 150 000 экземпляров – был отпечатан и поступил в продажу в самом начале 1977 года. Таким образом, общий тираж однотомника составил ни много ни мало – 350 000 экземпляров. Но и это было лишь каплей в бескрайнем море спроса почитателей творчества Анны Ахматовой. Нет, не случайно Андрей Вознесенский написал тогда стихи «Попробуйте купить Ахматову…»!

Прочитав первое издание книги, Эмма Григорьевна Герштейн обратила внимание на немногие досадные опечатки, сделала ряд уточнений. Вот ее краткое предуведомление к перечню замечаний:

Дорогой Борис Григорьевич,

Это – результат откликов «ахматистов» на издание и мои собственные замечания.

Простите за задержку, надеюсь, мы не опоздаем.

Судите сами, что Вы можете выполнить. Но

посвящение как заглавие никогда не употребляется, особенно «Памяти Михаила Булгакова» – слишком помпезно для Ахматовой. Я пропустила раньше, п.ч. думала, что так напечатано в «Дне поэзии» – ан нет.

Привет Дине, Дмитрию Терентьевичу

22. VII. 76 Э. Герштейн

Надо ли говорить, как я был благодарен Эмме Григорьевне за ее советы и замечания. Они были учтены при подготовке издания 1977 года.

В очередной приезд в столицу я был у нее дома. Обычно сдержанная, немногословная, она довольно долго не отпускала меня, за чаем мы вспоминали о драматичном десятилетнем издательском пути однотомника Ахматовой, о времени, когда сама судьба его висела на волоске после прозвучавшей по «Голосу Америки» статьи Лидии Корнеевны.

Я уже собирался откланяться, когда Эмма Григорьевна взяла с полки книгу «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова» и сделала надпись: «Дорогому Борису Григорьевичу Друяну на память о нашей совместной дружной работе над «черной книжкой» Анны Ахматовой. Э. Герштейн. Апрель 1977. Москва».

В самом конце декабря 1976 года вышел и подготовленный В. М. Жирмунским в Большой серии «Библиотеки поэта» том стихотворений и поэм Анны Ахматовой. Сужу опять же по неопровержимым выходным данным: Сдано в набор 15/X 1976 г. Подписано к печати 13/XII 1976 г. На подаренной Львом Николаевичем Гумилевым томе – надпись: «Сию книгу подарил Борису Григорьевичу Друяну Лев Николаевич Гумилев на Старый Новый Год».

Предисловие к тому написал не академик В. М. Жирмунский, хорошо знавший Ахматову с давних-давних лет, а поэт Алексей Сурков. Написана статья с твердых партийных позиций, что несомненно способствовало прохождению издания.

Кстати, такое бывало нередко в издательской практике. У меня сохранилась переплетенная корректура 1968 года тома стихотворений Осипа Мандельштама, подготовленного для Большой серии «Библиотеки поэта». Этот подарок мне сделала редактор Ирина Исакович. Открывается раритет вступительной статьей Лидии Яковлевны Гинзбург, которая на последнем этапе была заменена идеологически безупречной статьей А. Л. Дымшица.

И нашу лениздатовскую книгу Ахматовой вместо обстоятельной статьи К. И. Чуковского предваряет небольшая

вступительная статья Д. Т. Хренкова, которому доверяло смольнинское начальство.

В начале семидесятых я был редактором книги рассказов, фельетонов и пьес Александра Хазина – еще одного фигуранта печально знаменитого ждановского доклада. Аккуратное, краткое вступительное слово Даниила Гранина в немалой степени способствовало безболезненному прохождению через «инстанции» этой и без того не очень-то зубастой книги замечательного писателя-сатирика, о «прегрешениях» которого хорошо помнили бдительные обитатели Смольного.

Множество добрых вступительных слов в годы застоя написал Михаил Дудин к книгам собратьев по перу. Благодаря ему книги эти нашли кратчайший путь к читателям, хотя, бывало, и его собственные стихотворения цензура безоговорочно снимала. Главным цензором в Ленинграде долгое время служил приснопамятный Борис Марков. О нем Дудин сочинил «Эпитафию цензору»:

Был Марков с виду джентльмен,
В венце монашеской тонзуры.
Он сам себе оттяпал член
В припадке собственной цензуры.

По ахматовскому однотомнику Лениздата были изданы книги в Перми (1980 г.), в тогда еще мирной столице Чечено-Ингушетии Грозном (1986 г.) и Петрозаводске (1989 г.). Особенно мне дорог последний – изящный, опять же в черном – «агатовом» – переплете. В нем не было никаких купюр. И – что необыкновенно важно – в разделе «Из стихотворений, не вошедших в книги», напечатан «REQUIEM».

До этого, в 1987 году, «Реквием» был опубликован в журналах «Октябрь», № 3 и «Нева», № 6. Об истории этих публикаций стоит рассказать отдельно.

В начале перестройки я настойчиво предлагал главному редактору «Невы» Борису Никольскому, пришедшему на смену Д. Т. Хренкову, напечатать «Реквием». Борис Николаевич в принципе был не против. Но, будучи человеком осторожным, тщательно просчитывающим каждый свой шаг, он все же не скрывал своих опасений. Его смущала строфа

Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.

Беспокоили его не столько шины черных марусь, сколько кровавые сапоги. Он даже попросил меня как-то подправить строку, подыскать не такой жуткий эпитет, а может, и прибегнуть к сокращению. От возмущения я не мог найти нужных слов, лишь обескураженно развел руки в стороны. Пришло новое время, набирали силу ветры свободы, перемен. Главный редактор сам хорошо это чувствовал, но – что кривить душой – в сознании многих все еще живы были советские стереотипы.

Видя мое состояние, Никольский примирительно произнес: «Ну ладно, пусть будет так, делай как знаешь».

Медлить я не стал и сразу поехал в Москву к Э. Г. Герштейн за советом – предстоящая публикация должна быть безупречной. Эмма Григорьевна была обрадована и твердо пообещала всяческую помощь. Именно тогда я получил от нее в подарок книгу «Судьба Лермонтова», вышедшую вторым изданием в 1986 году. Вскоре я получил от нее письмо от 27 января 1987 года:

Дорогой Борис Григорьевич!

Как мы договорились, сообщаю Вам имена близких друзей Ахматовой, которые устанавливали правильный текст «Реквиема»: В. Г. Адмони, М. В. Ардов, В. Я. Виленкин, Э. Г. Герштейн, Н. Н. Глен, Н. В. Рожанская, Л. К. Чуковская.

Выработанная нами с Вами форма благодарности имеет большое значение, и вот почему. До меня дошел непроверенный, но исходящий от довольно компетентного лица слух, что эту поэму собирается напечатать «Огонек». Мне кажется, что они способны махнуть, никого не спрашивая, имею в виду Льва Николаевича. А текст? Возьмут где попало. Между тем, названные мной товарищи известны как близкие Ахматовой люди.

…Ваш текст будет признан самым авторитетным. (Хорошо бы Вам поговорить об «Огоньке» с Л<ьвом> Н<иколаевичем>)…

Пожалуйста, ответьте мне.

Э. Герштейн

Напечатанный в «Неве» «Реквием» завершался текстом «От

редакции»:

> Право на публикацию стихотворного цикла А. А. Ахматовой «Реквием» нам официально передал наследник Анны Андреевны – Лев Николаевич Гумилев…
>
> Этот номер журнала уже был сдан в производство, когда нам стало известно, что «Реквием» неожиданно опубликован в журнале «Октябрь» без ведома наследника А. А. Ахматовой и комиссии по ее литературному наследию.
>
> Тем не менее, учитывая и читательский интерес к творчеству А. А. Ахматовой и высокое художественное значение «Реквиема», редакция «Невы» решила не отказываться от своего права на эту публикацию.

Предваряло «Реквием» краткое вступительное слово Михаила Дудина:

Истинная поэзия прекрасна высокой правдой души поэта и беспощадной правдой времени. Это всегда понимала не только сама Анна Андреевна Ахматова. Это понимали и за это ее любили и любят читатели. Это должен знать народ, потому что лирика Ахматовой народна, гражданственна и мужественна.

…Но, чтобы понять воистину великое мужество души поэта, надо знать самое трагическое ее произведение – «Реквием».

Настало время напечатать его полностью, потому что правда – это не только кровь и слезы, но и очищение от скверны.

Прошло почти полвека, позади множество событий, радостей, огорчений, сбывшихся и несбывшихся надежд. Держу в руках «агатовую» книгу Анны Ахматовой и заново переживаю все, что было с нею связано.

«И деревья стоят голубые…»

В необыкновенно жаркий августовский день 1969 года я вышел из полупустой электрички в Комарове и направился на Озерную улицу. Накануне мы договорились с Даниилом Александровичем Граниным окончательно утрясти у него на даче состав книги «Неожиданное утро». Предыдущая попытка издать книгу Гранина «Наш комбат» потерпела фиаско, и я, редактор этой книги, получил взбучку от директора Лениздата за идеологическую слепоту.

Солнце нещадно палило, и, пока я добрался до гранинской дачи, легкую рубашку на мне впору было отжимать. Около крыльца меня встретил хозяин. Рядом с ним стоял улыбающийся в рыжую бороду Сергей Орлов.

Даниил Александрович предложил прежде всего съездить на Щучье озеро освежиться. Мы с Орловым не заставили себя уговаривать, тут же влезли в раскаленный «Москвич» и помчались на Щучье.

Там вдоволь поплавали, посидели на берегу и уже не спеша поехали обратно. Впереди, при въезде на Озерную улицу, показалась солидная дача профессора Евгения Ивановича Наумова.

– Недавно я заходил к Евгению Ивановичу. У него на магнитофоне записаны интересные песни какого-то зэка, – вдруг сказал Гранин.

– А давайте зайдем к нему, послушаем, – тут же предложил я.

– Да ты что, Боря, нельзя же так сразу, без предупреждения, он человек занятой.

– Действительно, как-то неудобно, – засомневался и деликатнейший Сергей Орлов.

– Эх вы, танкисты! Я все беру на себя, – с молодым апломбом заявил я.

Мои попутчики не знали, что в этом доме меня всегда принимали с душевной теплотой.

– Ну смотри, действуй сам. В случае чего мы с Сергеем ни при чем. Будем здесь тебя ждать, – улыбнулся Гранин и притормозил машину.

Я уверенно вошел в калитку. Меня, как всегда, первым благосклонно встретил огромный пес Том. За ним показалась колоритная фигура профессора в старой пропотевшей тельняшке. В руках у него была лопата. В этакую-то жарищу! Узнав, в чем дело, поспешил к нежданно нагрянувшим гостям. Он явно был рад нам. Ему действительно повезло заполучить редчайшую

пленку, которую они с Граниным уже успели прослушать.

Евгений Иванович рассказал, что тот, кто подарил ему пленку, утверждал, будто автор и исполнитель в прошлом – фронтовик, затем матерый уголовник по фамилии Васильев и что все это похоже на правду, поскольку в одной из блатных песен от первого лица фигурирует этот самый зэк Васильев и его дружок Петров.

Наконец хозяин врубил большущий ленточный магнитофон, и бобины медленно завертелись. Пленка оказалась некачественной, видимо, от многократных переписываний, и тем не менее нас сразу же захватил, ошеломил необычный, хриплый, мощный голос. Он пел блатные песни, в том числе о двух зэках, которым за побег «добавили срока». Но особенно сильное впечатление произвели на нас песни о минувшей кровавой войне – о братских могилах («Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты»), о штрафных батальонах («Ведь мы ж не просто так, мы – штрафники, нам не писать: «Считайте коммунистом»»), о соседях по палате во фронтовом госпитале, о не вернувшемся вчера из боя товарище…

Два опаленных огнем фронтовика-танкиста, профессор филологии и я, недавний студент, сидели не шелохнувшись и слушали песни много пожившего и многое пережившего человека. В это мы сразу и безоговорочно поверили.

Прошло совсем немного времени – и вся страна узнала имя нового барда. Нет, он никогда не был заключенным, как не был и фронтовиком. И фамилия его оказалась вовсе не Васильев, а Высоцкий. Владимир Высоцкий. Песни его под собственный аккомпанемент гитары распространялись с невиданной скоростью – переписывались с магнитофона на магнитофон.

Несмотря на бешеную популярность, всеобщую, всенародную любовь, песни Высоцкого тогда не были опубликованы. Он так и умер, не увидев свои стихи в печатном исполнении. Имя его было под запретом. К счастью, магнитофоны запретить было невозможно.

Надо ли говорить, что я переписал на свой ленточный магнитофон множество песен Высоцкого. Пленки неважного качества до сих пор хранятся у меня как память о том времени, об эпохе Владимира Высоцкого.

В конце 1980 года в Ленинград приехала моя давняя знакомая из Западного Берлина Ингеборг Голлерт. Зная мою любовь к творчеству Высоцкого, она привезла мне в подарок большую пластинку с профессиональными записями песен в

авторском исполнении в сопровождении оркестра. На черном глянцевом конверте – выразительный фотопортрет Владимира Семеновича и – крупно: Vladimir WISSOTSKI «Von der Erde» und andere Lieder[2].

Внизу – мелким шрифтом: (P) 1980, Dortmund.

Всего на пластинке записано четырнадцать песен. Их тексты, напечатанные на русском и немецком, были вложены в конверт. Именно здесь я увидел впервые стихи Высоцкого, набранные типографским способом. (Самая первая, посмертно изданная книга Высоцкого «Нерв» вышла в свет поздней осенью 1981 года).

В новогоднюю ночь 1981 года компания моих друзей слушала у меня дома прекрасно записанные песни Высоцкого.

Именно в это время по приглашению главного редактора Дмитрия Терентьевича Хренкова я перешел работать в журнал «Нева» заведующим отделом поэзии. Раньше мы много лет работали в Лениздате: он – главным редактором, а я – старшим редактором редакции художественной литературы. В журнале я сразу же включился в подготовку очередных номеров. Нужно было найти для майского, победного, номера что-то значительное, новое. И тут меня осенило: а не попытаться ли напечатать Высоцкого? Чем черт не шутит – вдруг да и выгорит. А для начала надо убедить в этом главного редактора. Перепечатал на машинке тексты четырех с давних пор любимых песен, которые сами по себе свидетельствовали о незаурядном поэтическом даровании Высоцкого: «Песня о земле», «Он не вернулся из боя», «Сыновья уходят в бой», «Братские могилы». Фамилию автора стихотворений я не указал.

На следующий день я вошел в кабинет Главного и молча положил перед ним на стол листки со стихами. Дмитрий Терентьевич, или Д. Т., как мы его называли, был общепризнанным специалистом по поэзии, автором нескольких серьезных книг и множества статей о творчестве А. Гитовича, М. Дудина, С. Орлова, О. Берггольц, Б. Лихарева, А. Межирова и др.

Он быстро прочитал стихи, снял очки и порывисто встал из-за стола.

– Какие замечательные стихи! Обязательно – в майский номер! Слушай, но я где-то вроде бы читал их… Точно читал, только вот не помню где. Кто их написал?

– Не могли вы их читать. Честное слово, не могли, – взволнованно начал я. – А вот слышать – слышали много раз. Высоцкий это.

– Ну да, ну да, – как-то обескураженно произнес Д. Т. – Конечно, слышал. Замечательные стихи!.. Жаль, напечатать не сможем.

– Да как же так, вы же сами говорите, что стихи замечательные. Смотрите, какой редкой красоты строки: «Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые»! Да и стихи эти о вашем поколении фронтовиков, о моем отце, который в сорок четвертом не вернулся из боя. Ну что в них вредного, антисоветского, в конце-то концов?!

– Подожди, подожди, не горячись, сядь, успокойся. Я тебе говорю: ничего у нас не выйдет. Высоцкий в черном списке, а список составили на самом верху, понял?

– Ну и что, а вы все же попробуйте в обкоме объяснить, что Высоцкого из этого списка надо вычеркнуть. Ведь они с вашим мнением считаются.

– Не так уж они и считаются, сам знаешь… Ишь, хитрец: объясни им. Да никакими объяснениями их не возьмешь.

– Вы просто дрейфите говорить с ними о Высоцком, – использовал я последний козырь, намеренно передергивая: в чем-чем, но только не в трусости можно было бы обвинять Д. Т., и я это отлично знал. Еще за финскую кампанию он, молодой журналист, был награжден боевым орденом.

– Ну что мне с тобой делать? – притворно нахмурился Д. Т. – Не забывай, что я все-таки тут главный редактор.

– А кто главнее: главный редактор или редактор главного редактора? – нашелся я, имея в виду то обстоятельство, что несколько книг Д. Т. были отредактированы мною.

– Конечно, ты главнее, – заулыбался Главный. – Но даже ты бы их не убедил, поверь мне.

Разговор был окончен. Уходя из кабинета, я задержался в дверях и вполголоса прочитал:

Наши мертвые нас не оставят в беде.
Наши павшие – как часовые.
Отражается небо в лесу, как в воде,
И деревья стоят голубые.

– Погоди, – вдруг сказал Д. Т., – давай стихи, поеду, попробую.

Он, наш Главный, всегда всё решал и делал быстро, не откладывая на потом.

Из Смольного Д.Т вернулся смурной, нахохленный.

– Знал я, знал: ничего не выйдет, просто съездил для очистки совести. Да и ты бы глядел косо, если бы не поехал, знаю я тебя… Ладно, не будем делать из этого трагедии. Знаешь поговорку об обухе и плети? То-то. – И неожиданно предложил: – А не

пройтись ли нам сегодня по «гуренковкам»? («гуренковками» Д. Т. называл коньячные в честь своего друга, редактора «Вечернего Ленинграда» Михаила Николаевича Гуренкова).

…После третьей «гуренковки» на Невском, рядом с Литейным, мы оживленно беседовали о поэзии, бережно поддерживая друг друга. Время от времени я доставал из кармана стихи Высоцкого, и мы по очереди их читали.

На улице Маяковского около нас остановилась «Волга». Из нее вышла редактор популярнейшей в те годы газеты для детей «Ленинские искры» Людмила Анищенко – красивая чернобровая женщина. Она картинно всплеснула руками и весело пропела:

– Издалека заметила, что вы что-то не очень твердо двигаетесь по земле-матушке, руками размахиваете. Давайте, я вас до дома подброшу на машине.

– Нет! – заупрямился Д. Т. – Мы с Борей в полном порядке. Вот только зайдем на Салтыкова-Щедрина в «гуренковку» и – домой. Хочешь, пойдем с нами, мы тебе стихи почитаем.

Людмила сочла за благо откланяться, а мы продолжили путь к намеченной цели.

Много лет прошло с тех пор, но не забывается одна из самых досадных моих редакторских неудач. Трудно поверить в то, что когда-то имя Владимира Высоцкого было наглухо запрещено для издания. Сейчас в любом книжном магазине можно приобрести сборники его произведений, воспоминания о нем.

А у меня, поцарапанного в детстве войною, перехватывает горло, когда слышу знакомый с далекого летнего дня в Комарове хриплый, бередящий душу голос:

Всё теперь – одному. Только кажется мне,
Это я не вернулся из боя.

P. S. Редкую немецкую пластинку в 2009 году я передал в дар музею Владимира Высоцкого в Москве.

Не нравился он мне…

В самом начале 70-х меня весьма настойчиво атаковал стихотворец Борис Щаринский. Не нравился он мне – ни его творения не нравились, ни он сам. Очень уж был заискивающе любезен. Каждый раз вместе с рукописью приносил несколько дефицитнейших в то время шариковых ручек и одаривал ими редакторов нашего отдела художественной литературы. Презенты его благосклонно принимали. Принимали все, кроме меня. Не нравился он мне. Другим-то что – не им же иметь дело с самодеятельными стихами дарителя, а мне! Не помогло Щаринскому и заступничество Михаила Дудина, который уговаривал меня дать зеленый свет стихам бывшего фронтовика.

В очередной раз переступив порог редакции, стихотворец первым делом рассказал, что вот только что – по пути в Лениздат – около него остановился «членовоз», из него вышел его старый знакомый Григорий Васильевич Романов, по-дружески поприветствовал его и поинтересовался, почему это такой-разэтакий Щаринский загордился, не дает о себе знать, ни о чем не просит. Но ведь не будешь же напрягать Романова своими маленькими проблемами, издательскими неурядицами. Постояли, поговорили, распрощались.

Рассказец этот был адресован, конечно же, в первую очередь мне. А я и ухом не повел, сделал вид, что не понял намека, рукопись снова вернул Щаринскому.

Через несколько дней вызывает меня главный редактор Д. Т. Хренков, усаживает рядом с собой на диван и говорит, что у него ко мне большая личная просьба. Он-де понимает не хуже меня, что Щаринский никудышный поэт, что я прав, в сотый раз отвергнув его стихи, но что прикажешь делать, если за издание книжки сам Григорий Васильевич – его желание передал доверительно автор, старый друг Первого. А посему – не в службу, а в дружбу надо перепрыгнуть через себя и сделать, как говорится, из дерьма конфетку. На-до!

Вот кому я никак не мог отказать, так это Дмитрию Терентьевичу. Вовсе не потому, что он Главный редактор, а потому, что был он всеми нами в издательстве обожаемым человеком – доброжелательным, бесстрашным и верным. Не раз заслонял он меня от нешуточных неприятностей. Да и не только меня.

Еще и еще раз перечитывал вновь принесенную Щаринским рукопись, прикидывал, переставлял строфы, сокращал… Получалось неважнецки. Позвал на помощь сегодня уже

подзабытого поэта Леонида Хаустова. По вечерам исправляли, досочиняли, переписывали, снова исправляли, читали вслух и снова выстраивали стихи, снова сокращали, спорили, смеялись и матерились.

Наконец рукопись приняла благопристойно-съедобный вид. Вопреки всем правилам ее тут же, вне всякой очередности, отправили в типографию. Вскоре появилась корректура, вслед за нею – сверка. У автора отменное настроение, он с удовольствием вычитывает свою без пяти минут книжку. К тому же каких-либо замечаний у цензуры нет. А отпечатать в типографии десятитысячный тираж – плёвое дело.

И тут приходит в редакцию Семен Ботвинник – председатель секции поэзии писательского Союза, осторожный, мягкий человек, бывший фронтовик. Явился он в качестве… посредника: его хороший знакомый Борис Щаринский устраивает прием по случаю выхода в ближайшее время книжки и просит меня и мою жену посетить его жилище. Со своей стороны милейший Ботвинник считает, что теперь, когда книжка на выходе, это семейное торжество ни к чему редактора не обязывает. Тем более, что среди гостей будет сам Ботвинник с женою, поэтесса и художница Ася Векслер и другие приличные люди. И я дал слабину, уступил, согласился, хотя не нравился мне этот Щаринский. Не нравился – и всё.

В назначенное время мы с женой появились в доме поэта. Квартира просторная, хорошо меблированная. За длиннющим столом, уставленным всевозможными вкусностями, сидело множество людей, по большей части незнакомых мне. Во всяком случае, к писательству они явно не имели отношения. Нас усадили рядом с четой Ботвинников. Зазвучали тосты в честь хозяина-поэта и его творческих достижений, за здоровье редактора книги, зазвенели бокалы с шампанским, хрустальные рюмки с коньяком и водочкой.

В самый разгар застолья, когда алкоголь сделал свое веселое дело, стало шумно и все заговорили, перебивая друг друга, явился припозднившийся Иосиф Бродский. Хозяин представил его гостям, а после очередного тоста попросил почитать стихи.

Иосиф охотно согласился. Первое стихотворение слушали со вниманием, затем захмелевшая компания сначала робко, а затем все смелее и увереннее принялась за закуски. Еще бы – икорка, балычок, грибочки, жюльенчики!.. Кто-то уже переговаривался через стол, кто-то засмеялся, и вот уже кто-то произнес: «А не пора ли чокнуться!» А поэт, ничего не замечая, продолжал читать.

Мне стало как-то неловко, я поднялся и передвинулся к косяку двери, оказавшись за спиной Бродского. А он всё читал и

читал. И вдруг, как бы очнувшись и поняв, что читает он весьма нетрезвой и чужой публике, замолчал, резко повернулся, проскочил мимо меня в прихожую, схватил одежду и хлопнул входной дверью.

Застолье продолжилось. Многие просто не заметили исчезновения будущего Нобелевского Лауреата.

На следующий день по какому-то делу захожу в кабинет Д. Т. Хренкова и вижу, что он разговаривает по «вертушке» – Смольнинской АТС. По почтительной интонации, по тому, что наш Главный стоит чуть ли не навытяжку, я сразу понял: разговаривает он с САМИМ – Первым Секретарем Обкома. Застал я лишь конец разговора. Взглянув на меня, Дмитрий Терентьевич произнес в трубку:

– Сборник стихов Вашего протеже (Д. Т. так и сказал: протеже) Щаринского выйдет буквально на днях… Как какого… Я… Да, понимаю… Да…

Трубка буквально завибрировала в руках Хренкова и внезапно замолчала.

– Ну вот, – потерянно произнес Дмитрий Терентьевич. – Оказывается, Щаринского Романов не знает. Вызывает на ковер.

Утешать его я даже не пытался. Да и как тут утешишь. Конечно же, в Смольном он получил от Хозяина сполна. Книжку в типографии так и не напечатали. А с моей многогрешной редакторской головы не упал ни один волосочек. Ведь с самого начала я был против издания стихотворных упражнений Щаринского и не принял от него ни одной дефицитной шариковой ручки. Не нравился он мне. Не нравился.

Он или она?

В моей издательской практике иногда случались забавные, совершенно «нештатные» истории. Вот одна из них.

В конце 60-х Лениздат получил указание обкома КПСС в кратчайшие сроки подготовить и выпустить в свет роман одного из значительных писателей Финляндии Йоханнеса Линнанкоски «Песнь об огненно-красном цветке». В нем рассказывалось о романтической любви, нравах и обычаях простых людей страны Суоми на рубеже XIX – XX веков. Кто-то из самых высоких партийных начальников побывал в соседнем государстве, и опубликование этой книги призвано было продемонстрировать стремление развивать культурные, дружеские, добрососедские связи с Финляндией. Перевела роман и написала вступительную статью Лаура Александровна Виролайнен, специалист по финскому языку и литературе. Редактором назначили меня. Лаура Александровна оказалась очаровательной женщиной, с нею было легко и интересно работать.

Ускоренное издательское прохождение книги постоянно контролировал главный редактор Дмитрий Терентьевич Хренков. Д. Т., как мы все его называли в глаза и за глаза, частенько заглядывал в нашу редакцию художественной литературы, никогда не «чинился», все самые важные дела решал с улыбкой. Умным и легким человеком был наш Д. Т.

Однажды утром у меня на столе зазвонил телефон. Голос Д. Т. был необычным – жестким и раздраженным: «Бросай все дела, сейчас же зайди ко мне!» Вот так: ни тебе – здрасьте, ни – до свидания. Странно, очень странно… Не зная за собой на тот момент каких бы то ни было грехов, я все же неуверенно приоткрыл дверь в кабинет Главного и застал, как говорится, «картину маслом», которая моментально сняла с меня некоторую напряженность. Около своего заваленного рукописями стола стоял невеликий ростом Д. Т., а перед ним возвышался заведующий редакцией краеведческой литературы Пашкевич, грузный, рыхлый человек. Лица обоих были красные, неприязненные. Разговор у них был наверняка очень даже серьезный.

– А вот и Друян! Заходи же! – нетерпеливо махнул рукой Д. Т. – Скажи хоть ты нам: Виролайнен – мужчина или женщина?

Я аж рот разинул от неожиданности. Ну и дела, что они тут с ума съехали?! Без тени улыбки невинным голосом докладываю:

– Вчера была точно женщиной. Сам видел. А у вас, Дмитрий Терентьевич, другое мнение?

– Это не у меня, это у Пашкевича другое мнение! – взорвался Д. Т. – Совсем недавно сидела она вот на этом стуле!

– Да не она, а он, я-то его знаю лучше вас! – с упрямым вызовом отрезал Пашкевич.

– Вы можете хотя бы намекнуть, в чем дело и при чем тут моя скромная персона? – уже откровенно веселюсь я. – Если дело в Лауре Александровне, вы, как главный редактор, дайте мне официальное задание, и я постараюсь в нерабочее время доподлинно установить ее пол, ежели, конечно, получится.

Д. Т. не принимает шутки, досадливо передвигает на столе какие-то бумаги и хмуро отпускает нас обоих. Я предупредительно пропускаю вперед Пашкевича, который теперь уже на меня глядит очень даже неприязненно.

У себя в редакции под хохот коллег я изобразил в лицах всю эту странную историю.

Только на следующий день все прояснилось. Д. Т. остыл, снова вызвал Пашкевича и, стараясь быть максимально спокойным, выпытал все, что тот знал.

А дело, по рассказу Главного, было так. Его вызвали в Смольный, где ему вручили небольшой текст на финском языке, присланный из Тампере. В нем шла речь о В. И. Ленине, который одно время там находился. Все связанное с этим именем было священным, и Д. Т. получил указание найти авторитетного переводчика, чтобы текст с максимальной точностью зазвучал по-русски. Главный поручил это дело Пашкевичу, посоветовав ему обратиться ко мне, поскольку я хорошо знаю Виролайнен.

Рассудив, что он вовсе не нуждается в советах молодого редактора, Пашкевич разыскал некоего Виролайнена, участника революционных событий 1917 года. Ветеран-большевик был уже далеко не молод. Просьбу перевести важный документ воспринял как очень серьезное партийное поручение. Но поскольку с русским языком к тому времени он кое-как поладил, а родной финский стал малость подзабывать, на столе Д. Т. появился оригинальнейшим образом переведенный текст. После нескольких слов шло множество точек, затем еще три-четыре не очень внятных слова и снова – точки, точки, точки, которые, как оказалось, свидетельствовали о том, что новоиспеченный переводчик не знает, как обозначить по-русски то, что он усек в оригинале.

– Ничего не понимаю, – озадаченно сказал Д. Т. принесшему злосчастную грамоту Пашкевичу. – Виролайнен – профессиональная переводчица, а тут… черт знает что!

– Какая переводчица, он переводчик! – твердо заявил Пашкевич.

– Да вы что, смеетесь? Она пе-ре-вод-чи-ца! Женщина!

– Никакая не женщина! – стоял на своем Пашкевич.

Примерно в таком духе продолжалась весьма содержательная беседа вплоть до того момента, когда я с некоторой робостью заглянул в кабинет Главного.

Стоит заметить, мягкий, неконфликтный Д. Т. давно косо посматривал на Пашкевича, считая его профессионально непригодным. История с переводом финского текста явилась последней каплей, переполнившей терпение Главного. Д. Т. поехал в Обком и добился согласия избавиться от заведующего краеведческой редакцией. Бедолагу освободили от должности, и тот благополучно пошел на повышение: с благословения Смольного он возглавил областную книжную базу.

Финский текст о В. И. Ленине тут же перевела Виролайнен. Очаровательная женщина. Довольны были все: Обком партии, Д. Т., повышенный Пашкевич. Лишь у меня появились некоторые переживания. Директор Лениздата Леонид Васильевич Попов настоятельно предлагал мне занять освободившееся место заведующего редакцией краеведческой литературы. Я слезно просил не неволить меня, поскольку краеведение не моя стезя, а вот редактирование произведений художественной литературы – то, что мне надо… К счастью, не сразу, не в один день все образовалось, я остался на своем месте и был очень доволен. Лаура Александровна тоже была довольна: вскоре она держала в руках авторские экземпляры книги Й. Линнанкоски «Песнь об огненно-красном цветке».

Через четверть века я встретил Лауру Александровну Виролайнен и рассказал ей всю историю, где главным действующим лицом была она. Именно ОНА.

«Звони, пока не услышат!»

Давным-давно, в 1981 году, на моем письменном столе по-хозяйски обосновался старинный колокол. Конечно, это не флотская рында, посредством которой в стародавние времена я лихо отбивал склянки на корабле. Но и далеко не сувенирный колокольчик. Стоит он солидно на одном и том же месте, хозяйская рука лишь иногда демонстрирует любознательным гостям его фамильный звонкий голос. На крутом боку гравировка: «Друян, звони, пока не услышат!» Этот чудо-колокол имеет прямое отношение к моей работе в Лениздате. Точнее – к изданию первой книги талантливого писателя Михаила Мишина.

История, о которой хочу рассказать, началась задолго до появления колокола в моем доме. Однажды утром, а было это летом 1974 года, я прочитал на последней полосе «Литературной газеты», где печатались веселые материалы «Клуба 12 стульев», маленький рассказ «Шел по улице троллейбус». Имя и фамилия автора мне ни о чем не говорили: какой-то Михаил Мишин. Но рассказец был отменный. Настолько он мне понравился, что в своей редакции я поспешил поделиться с коллегами своими восторгами, а затем порекомендовал друзьям из других редакций прочитать этот рассказ.

Редактор Отдела пропаганды и распространения Анатолий Александрович Литвин тоже успел прочитать свежий номер «Литературки». Улыбаясь, он заметил, что очень хорошо знает Михаила Мишина и, если я пожелаю, он может подослать его ко мне. Молодые таланты всегда были явлением далеко не массовым. Удача сама шла ко мне в руки. Как же я мог не согласиться?!

Анатолий Александрович, или Толя, как я его давно по-свойски называл, был намного меня старше. Бывалый человек, он излучал доброе тепло, поражал всех прямо-таки бешеной энергией, фонтанировал идеями, устраивал многолюдные празднества, встречи издателей и писателей с читателями, привлекая известных артистов эстрады, художников и даже лучших шеф-поваров дорогих ресторанов. Такие праздники в ЦПКО им. Кирова или в Московском Парке Победы запоминались надолго. Под стать ему была его широко образованная, мудрая жена Рита Михайловна. Работала она в Ленконцерте, но видел я ее довольно часто, она приходила в Лениздат к своему мужу.

В тот день Толя даже больше, чем обычно, рассказывал много смешных баек, острых анекдотов. Я спохватился: пора кончать разговорчики, надобно возвращаться к прозе жизни, рукописи

заждались на столе. Толя меня остановил в дверях и поинтересовался, почему я в старом галстуке, ведь несколько дней назад он видел на мне новый, очень красивый галстук. Я ответил, что подарил его нашему сослуживцу Эдуарду Латынову, поскольку галстук этот Эдику очень уж понравился.

Прошло несколько дней, и в редакции появился Михаил Мишин – симпатичный молодой человек, конечно же, с несильно пухлой папкой рукописей. От Толи я уже знал, что Миша окончил Электротехнический институт, но склонность к сочинительству оказалась непреодолимой. У него к тому времени было несколько публикаций, но он, как и все начинающие, мечтал о своей первой солидной книжке, тем более, что рассказов – по преимуществу сатирических и юмористических – он уже успел написать изрядное количество.

При очередной встрече Толя Литвин подарил мне очень красивый галстук. Я благосклонно принял презент. Совсем недавно так же буднично я снял с собственной шеи и подарил Эдику Латынову понравившийся ему галстук. Это ведь так естественно в отношениях между приятелями!..

Рукопись Мишина я читал с удовольствием. В маленьких рассказах он сумел поведать многое о нашей тогдашней не очень-то радостной жизни, мастерски вылепил живую галерею сатирических образов. Особенно мне пришлись по душе два персонажа нескольких рассказов – неразлучная, всегда малость «под мухой» парочка – Брикетов и Супонин. Они, казалось, давно вышли из-под опеки автора, жили так, как сами хотели, что-то делали, что-то не делали, философствовали в меру своего понимания происходящего вокруг, соглашались друг с другом, лениво спорили о том, что было ясно как божий день.

У нас в редакции не было приемных дней и часов. Писатели приходили, когда им заблагорассудится, было шумно и дымно. Это нам нисколько не мешало читать рукописи, беседовать с авторами. А общие застольные разговоры под стопочку водки или коньяка были, как водится, содержательны и интересны.

В один прекрасный день, когда я заканчивал чтение рукописи Мишина, появились сразу два гостя – неразлучные веселые соавторы Владимир Константинов и Борис Рацер. Рассказывая о чем-то, Володя Константинов непременно говорил, нарочито соединяя предлог с фамилией друга: «Мы с Рацером…». Боря Рацер нисколько на это не обижался. Они были необыкновенно популярны. Их комедийные пьесы шли во многих театрах страны и за рубежом.

Поздоровавшись, они поинтересовались, какой талант я пытаюсь в данный момент «изувековечить», если не секрет.

Я ответствовал, что очередной молодой автор Михаил Мишин в «изувековечении» не нуждается, пишет очень даже отлично.

– А-а, так это ж сын вашего Толи Литвина, он и вправду талантливый парень.

Сейчас я, разумеется, не помню, кто из них произнес эту фразу. Она меня буквально оглушила. «Вот гад, вот негодяй, притворился, что не в родстве с Мишиным, галстучек всучил, подлец! Ну, погоди, я тебе устрою!» – так или почти так пронеслось тогда в моей голове. Сейчас совестно об этом вспоминать, но что поделаешь – трудно управляемые эмоции иногда шли впереди капитально обдуманной мысли, поступка. Я выскочил из-за стола и направился к Литвину. Его на месте не оказалось, я в ярости сорвал с себя галстук и швырнул его в грязную, полную окурков, заплеванную урну. И успокоился, охолонул.

Ближе к вечеру мы с Литвиным встретились. Жаркого разговора не получилось. Он вполне резонно рассудил, что намеренно не признался в отцовстве, поскольку, опасался: вдруг я из-за своей щепетильности откажусь «порадеть родному человечку», прочитать рукопись сына приятеля. От предложения принять в подарок другой галстук я категорически отказался.

По моей просьбе рассказы Мишина прочитали и одобрили заведующий нашей редакцией Е. Н. Габис и главный редактор Д. Т. Хренков. Рукопись под названием – конечно же! – «Шел по улице троллейбус» включили в план выпуска 1976 года. Нам хотелось предпослать рассказам Мишина остроумное предисловие известного писателя-юмориста. Оригинальный выход был найден. Я приехал в Москву – прямиком в «Литературную газету», где был сразу же принят заведующим отделом юмора и сатиры Виктором Веселовским. В результате вышедшую в срок книгу Михаила Мишина предваряло необыкновенно смешное вступительное слово человека-фантома, изобретенного талантом В. Веселовского. Подписался он очень даже внушительно: От администрации «Клуба 12 стульев» «Литературной газеты» писатель-людовед и душелюб Евг. САЗОНОВ. Не знаю другого писателя, который бы удостоился высокой чести быть представленным читателям маститым душелюбом.

Литературные дела Мишина неуклонно двигались в гору. Рассказы его все чаще печатались в периодике, звучали по радио и телевидению. По нескольким рассказам были сняты короткометражные художественные фильмы. Он написал по просьбе Аркадия Райкина сценарий «Его величество театр». Спектакль шел с большим успехом в Ленинграде и во многих

городах страны. На творческом вечере молодого сатирика во Дворце культуры им. И. И. Газы был Аркадий Райкин, что само по себе явилось исключительным событием. Со сцены, а затем за кулисами за праздничным импровизированным столом выдающийся актер говорил о Мише добрые, ласковые слова. Все были взволнованы, у всех было приподнятое настроение, особенно у виновника торжества, а его родители Анатолий Александрович и Рита Михайловна были просто счастливы.

Вторая книга Михаила Мишина «Пауза в мажоре» вышла в 1981 году и стала последней в моей пятнадцатилетней редакторской работе в Лениздате. Случились события, о которых и вспоминать-то не больно хочется. Но из песни даже худое слово не выкинешь.

После ухода из Лениздата Д. Т. Хренкова его место занял служивший до этого в Смольном заместителем заведующего отделом пропаганды ОК КПСС Леонид Николаевич Плющиков, человек осторожный, сдержанный, неулыбчивый, словно застегнутый на все пуговицы. Мы далеко не сразу привыкли к новому начальнику после открытого, приветливого, доступного всегда и всем Дмитрия Терентьевича, само присутствие которого в значительной степени исключало склоки в большом коллективе издательства, неприглядные, нечестные поступки сотрудников. Его порядочность, принципиальность, дружелюбие служили для каждого живым примером. Конечно, как и всюду, работали в Лениздате люди разные, но даже самые «проблемные» по характеру и душевным качествам старались не «засветиться», предпочитали подстраиваться под естественную линию поведения Главного.

К сожалению, именно такой пренеприятнейший человек в то время возглавлял нашу редакцию художественной литературы. Евгений Габис до Лениздата был заведующим корпунктом «Торговой газеты», затем – «Литературной газеты», служил в журнале «Нева» ответственным секретарем. Да и в Лениздат он пришел «по второму кругу», покаявшись в прошлых грехах и разжалобив добросердечного директора Леонида Васильевича Попова. Всюду он оставлял по себе недобрую память. Был он профессиональным журналистом, но главным его творческим жанром были доносы-докладные. Передо мною – автограф едкого стихотворения Михаила Дудина, написанного еще в 1963 году. Привожу две первые строфы, где упоминается тогдашний главный редактор «Невы» Сергей Воронин:

Евгений Габис – странный тип,

Ему я в лысину не дую.
Он сам по ноздри в пьянство влип,
А на других составил докладную.

Какой позор для праведной «Невы»!
Престиж ее сим Габисом уронен.
Ах, боже мой, куда глядели Вы,
Руководитель органа Воронин?..

С некоторых пор, точнее – в «послехренковский» период, я стал ощущать неприязненное к себе отношение со стороны Габиса. Мелкие придирки, неоправданное вмешательство в уже отредактированные книги, мои «идеологические просчеты». Естественно, я защищался, как мог. А он писал на меня докладные новому главному редактору. Тот не торопился делать какие-либо выводы, находясь в самом начале пути на новом для него поприще. Габис же явно переоценил свои силы. На очередном партийном собрании он попенял главному редактору, который-де не торопится реагировать на неоднократные сигналы о Друяне, пользовавшемся благосклонностью предыдущего Главного: под редакцией Друяна выходили идеологически небезупречные книги Горбовского, Ахматовой, Зощенко, Хазина, а теперь вот – накануне выхода сатирическая книга Мишина, против которой он, Габис, решительно возражает. Не забыл Габис подчеркнуть, что Лениздат является органом Обкома и Горкома КПСС и что забывать об этом недопустимо.

Опытный партийный аппаратчик Плющиков, конечно же, болезненно воспринял скрытый выпад в свой адрес относительно нерешительности кардинально решить вопрос идеологического порядка. Он вызвал меня к себе, мы долго беседовали, я подробно отвечал на все его вопросы. Мои разъяснения Главного удовлетворили. И, тем не менее, он попросил меня изложить свои соображения в письменном виде. Вполне возможно, он уже прикинул, что Габис после партсобрания вполне может накатать и на него «телегу» в Смольный, поэтому решил запастись серьезными контраргументами.

Медлить я не стал и вскоре вручил Плющикову служебную записку.

Главному редактору Лениздата
Тов. Л. Н. ПЛЮЩИКОВУ

По Вашей просьбе излагаю соображения по поводу рукописи книги Мих. Мишина «Пауза в мажоре».

Рукопись была в свое время отрецензирована

специалистом по истории советской сатиры д.ф.н. проф. И. С. Эвентовым и секретарем партийной организации ЛО Союза писателей В. Н. Сусловым.

После необходимой доработки она была прочитана Вашим предшественником Д. Т. Хренковым, замечания которого были учтены.

С рукописью внимательно ознакомился зам. Главного редактора Я. Л. Сухотин. Он дал ей высокую оценку и сделал ряд советов, которые были приняты.

По Вашему указанию рукопись читал зам. Главного редактора Е. Р. Христофоров, с которым был определен окончательный ее состав, после чего она была сдана в производство в соответствии с утвержденным руководством сроком.

Выполняя Вашу рекомендацию, рукопись этой книги я отправил Е. Дубровину – главному редактору журнала «Крокодил», являющемуся органом ЦК КПСС. Е. Дубровин, прочитав «Паузу в мажоре», написал послесловие к книге, дав емкую, положительную оценку творчества Мих. Мишина…

Казалось бы все ясно: за издание второй книги талантливого ленинградского сатирика, «рожденного», кстати, Лениздатом, – ученый, уважаемые литераторы, два Ваших заместителя, редактор. Однако мнение одного человека – Е. Н. Габиса почему-то до сих пор перевешивает мнение всех специалистов…

С самого начала Габис повел борьбу на уничтожение книги Мих. Мишина: из 51 рассказа он сразу же снял 26, многие из которых были ранее опубликованы, в том числе рассказы, которые читатели знают по первой книге Мишина «Шел по улице троллейбус», выпущенной Лениздатом в 1976 году…

Убежден, что книга Мих. Мишина заслуживает быть изданной…

12 августа 1980 г.

Редактор (Б. Г. Друян)

Прошло немало времени, прежде чем Плющиков вызвал меня к себе. Он сказал, что внимательно прочитал рассказы Мишина, мою служебную записку, проконсультировался со своими заместителями, переговорил с директором издательства и пришел к выводу, что книгу надо издавать. Неожиданно он

вытащил из ящика стола габисовские докладные и дал мне их прочитать. Впервые в жизни я увидел собственными глазами донос на себя, грязные бумажки грязного человека.

На всю эту отвратительную историю Миша Мишин откликнулся четырьмя выразительными строчками:

К иносказаньям слабость
Имеем мы давно,
И произносим: Габис,
Чтоб не сказать: говно!

Вскоре после этих событий Габис принужден был уволиться из Лениздата: новый, в принципе очень осторожный, Главный в данном случае оказался человеком решительным, ведь поднятая Габисом волна касалась его партийного авторитета.

Меня же давно и настойчиво приглашал в «Неву» руководить отделом поэзии Дмитрий Терентьевич Хренков. Однако новый директор Лениздата Н. И. Ермаков долго не хотел подписывать мое заявление о переводе на новое место работы. Тогда я написал ему сугубо личное аргументированное послание, и он пошел мне навстречу. В декабре 1980 года я наконец обосновался в «Неве».

Прошли годы, Михаил Мишин давно стал жителем Москвы, у него вышло много книг. В 1997 году он стал обладателем премии Российской Академии Сатиры и Юмора «Золотой Остап». Среди его книг – внушительный том сочинений в престижной серии «Антология Сатиры и Юмора России XX века». Разделы книги предваряют его друзья, коллеги по перу Аркадий Арканов, Юрий Рост, Аркадий Инин, Игорь Иртеньев, Константин Райкин, Виктор Лошак, Александр Ширвиндт, Семен Альтов и другие столь же достойные люди.

Замечательно, что множество рисунков к книге сделала малолетняя дочь автора Катя. Рисунки выразительные, веселые, талантливые. Еще бы, ее родители – Михаил Мишин и Татьяна Догилева. И Катя на «отлично» справилась с возложенной на нее обязанностью художника-оформителя.

…Нет, не зря давным-давно я восхитился рассказом Михаила Мишина «Шел по улице троллейбус», опубликованным в «Литературке», не напрасно сделал все, что было в моих силах, чтобы помочь молодому талантливому писателю-сатирику войти в литературу.

Мы очень редко видимся, лишь иногда перезваниваемся. Родители Миши уже много лет как ушли из жизни. Колокол, подаренный им и всей его семьей после выхода книги «Пауза в

мажоре» в 1981 году, все так же занимает почетное место на письменном столе и напоминает о том времени, когда мы были молоды, безоглядны и – несмотря ни на что – счастливы.

А вот галстука жаль. Шикарный был галстук. А я его – того…

PS. В ноябре 2012 года на своем творческом вечере в Санкт-Петербургском Доме Актера Михаил Мишин рассказал давнюю историю про галстук и, неожиданно пригласив меня на сцену, подарил дивной красоты итальянский галстук.

Отдельная папка

Кому-то может показаться, что работа в отделе поэзии журнала – сплошное и непрерывное наслаждение: сиди себе, «почитывай в рифму», общайся с изящнейшей словесностью, млей и восторгайся. Да еще за всю эту красотищу получай зарплату. Не жизнь – лафа!

Так-то оно так, да, к великой досаде, не всегда так. Стихов действительно много – целые сугробы рифмованной продукции. Но вот настоящей поэзии несравненно меньше: ровно столько, сколько достается читателям в двенадцати номерах журнала. Иногда даже меньше, когда мы в «Неве» умудрялись напечатать «маловысокохудожественные» творения авторов, вступивших по выражению некой литературной дамы в «бескорыстные взаимоотношения с Музой». Основная масса так называемого самотека (около четырехсот рукописей в год) прочитывалась, переваривалась и благополучно оседала в редакционном архиве.

По-разному реагировали авторы на решение не обнародовать их стихотворные опыты. Однажды по почте получили всего лишь четыре строки от Павла В-са из Минска:

Не Шекспир я, не Толстой, не Гёте
И не Байрон, сами понимаете…
Что ж вы, дьяволы, меня не признаете?
Что ж вы мне отписки сочиняете?

Очень даже славные строчки. Улыбчивые, незлобные. Автор – человек скромный, далекий от мысли поставить себя в одну шеренгу с классиками и при этом почти ласково пеняет нам, дьяволам, за невнимание к его творчеству. Слабые стихи его мы действительно неоднократно возвращали, а вот письмо-четверостишие сходу запомнилось и легло в «Отдельную папку».

Существовали когда-то отдельные воинские соединения, кто-то еще помнит на вкус советскую колбасу «Отдельная». Вот и у нас в отделе поэзии «Невы» поселилась «Отдельная папка». В ней то, особенно впечатлившее нас, на что не поднялась рука отправить в архивную бездну, избранное из неизданного. Чего только в этой папке нет! Строки, строфы, стихотворения, басни, частушки, фотографии авторов и их сердитые письма. Гневно-угрожающие эпистолы мы получали не так уж редко в теперь уже далекие советские времена. Ну как не процитировать такого рода послания:

«Неуважаемые! Я не льщу себя надеждой, что вы напечатаете мои стихи, но рецензию по всем правилам Марксистко-Ленинской эстетики вы обязаны мне дать. Предупреждаю на счет ваших бюрократических уверток типа: «не подошло», «нам не надо», «не наш профиль» и так далее, если мне сие явите, то ваша цидуля пойдет по всем инстанциям, вплоть до партийного контроля при ЦК КПСС. Итак, жду вашего «Мартышкиного суда».

P. S. Если же свершится чудо, и у вас проснется совесть, в чем я лично сомневаюсь, и скрепя сердце решите напечатать мои басни, то необходимо позвонить по телефону…

Д-сов А. И.»

«Пишет Вам член Союза писателей СССР. Посылаю на Ваше усмотрение стихи… Считаю, что они переведены грамотно и можно их опубликовать в журнале «Нева»… Мною в течение десяти лет были посланы в редакцию «Невы» стихи. Все они были отклонены, были забракованы хорошие, грамотные стихи. Такие факты понижают авторитет редакции перед писателями, поэтами…

При будущем отказе напечатать высокохудожественные произведения, вынужден буду обратиться в Ленинградский обком КПСС и в партком Ленинградской писательской организации.

Амир М».

«После Вашего ответа, на который мне нечем возразить, я предложил новые стихи. Стихи были возвращены мне… В случае подобных действий со стороны отдела поэзии в дальнейшем, я обращусь в Отдел Культуры ЦК КПСС и к Г. М. Маркову.

И. Х-ский»

Ну, чем не ультиматумы?! Сейчас это вызывает улыбку. Но в те идеологически смурные годы было не до улыбок. Угрозы не были пустыми. Мне приходилось по запросам из партийных органов сочинять «болванки» – длинные, аргументированные, вежливые ответы отвергнутым редакцией авторам. Затем главный редактор вносил свои поправки и отвозил в Обком партии, где какой-то высокий чин уже за своей подписью отправлял ответы жалобщикам.

Некоторые стихотворцы пытались – и порой небезуспешно! – пробиться к читателям при помощи революционно-ленинской тематики.

Наверно, тут и впрямь бессильно слово,

Но память и свежа и горяча,
И обнимает Ленин Шелгунова,
И Шелгунов целует Ильича.

Автор этой партийно-эротической зарисовки В.Х-ич – член профессионального союза писателей.

В багаже другого стихотворца В. Ш-на солиднейший стаж членства в союзе писателей и множество изданных книг. Он был до крайности раздражен нашей несговорчивостью. Мы воспротивились обнародовать его прямолинейные, не имеющие никакого отношения к поэзии, но безупречные в идейном плане произведения. Там наличествовали такие строки:

Жизнь Ленина – жизнь тысяч и миллионов.
Живым его гореньем нам близки
Решимость пролетарских батальонов
И Первой конной быстрые клинки.
–
К Ленину люди со всей шли России,
Он не с районом беседовал – с ней…
–
Каким должен быть партийный руководитель?
Наверное, чтобы решал он вопросы – сам…
–
Месяцу поможем – ты и мы!
Не дадим одеть нас властью тьмы!
Пусть придет в тайгу победный Май!
Разгорайся, битва за Алтай!
–
Посмотри, товарищ Ленин, как туристы рубят сосны,
Губят мачтовые сосны, истребляют на щепу…

Тут как нельзя к месту вспоминаются слова героя рассказа А. П. Чехова «О, женщины, женщины!..»: «Посвяти он мне эти стихи, я бы на него мировому подал!»

Вот еще один скромный труженик невечного пера из Кемерова сочинил строгую инвективу:

Пусть я соображаю медленно,
И пусть вождям я не чета,
Но я за порчу книжек Ленина
Сурово б очень отчитал.

И невдомек бедолаге, что жаждет он сурово отчитать – страшно сказать – самого Ленина!

Пройдет немного времени, и на смену бодрым, оптимистичным стихам-прославлениям явятся элегически-грустные признания:

Только все мое богачество —
Из сырой осины крест.
Жизнь прошла – то план, то качество,
Мать твою КПСС!

Сотворил эти печальные и бесстрашные строки Виктор Т-го. А чего ему в самом деле было страшиться, ведь он житель и без того дале-е-кого города Усинска Республики Коми…

Персональная Муза Николая К-ва из поселка Бугры нашептала ему бесшабашные стихи, достойные «Отдельной папки»:

Но тебе ли нам понять,
Псовая ракалия,
В секс твою, халява, мать,
В бога… И так далее!

Это тебе не безмускульная размягченность нынешней так называемой «филологической» поэзии. Смысла здесь тоже, конечно, не густо, зато сколько экспрессии, энергии, напора!

Солидное место в нашей папке занимает многолетняя переписка с В. Д. К-вым. Он никак не мог взять в толк, почему ему, заслуженному человеку, ветерану, мы не захотели сделать скидку при оценке сочиненных им более чем посредственных произведений. Впрочем, иногда попадались в его рукописях и отличные стихи. Беда лишь в том, что автор то втискивал в свои стихи строки из знаменитых «Соловьев» Михаила Дудина, а потом письменно утверждал, что не знает никакого Дудина, то переписывал только что опубликованное в «Литературной газете» стихотворение Юрия Воронова «Позаросли травой окопы…». Пришлось ему и его авторитетным ходатаям разъяснить, что такое плагиат и к каким печальным последствиям он может привести. Только после этого переписка наша прекратилась.

Хорошо помню нахрапистого человека, принесшего для публикации поэму «Медный всадник». Оказалось, его далеко не все устраивало в ней, и он твердой рукой исправил Пушкина. Ни отдел поэзии, ни отдел критики, ни главный редактор так и не

смогли убедить сочинителя в непродуктивности его творческой методы. Он ушел, хлопнув дверью, а мы облегченно вздохнули.

Другой отважный стихотворец из города Иваново Ф. Дж-лов прислал нам вот такие строки от имени А. С. Пушкина:

Писал, боролся и любил.
Скитался по родному краю.
Потом Дантес меня убил.
Теперь лежу и отдыхаю.

Горбачевская перестройка полностью раскрепостила наших корреспондентов. Папка пополнялась все новыми впечатляющими творениями. Вот херсонец В. К-ов никак не мог сдержать жгучего желания зарифмовать свои мысли:

С кого перестройку
Начать мы должны?
Бросаюсь на койку,
Не снявши штаны!
Кто ликвидировал толкучки?
Да тот, кому народ – труха!
Кто делает нам только взбучки,
Не производит ни фига!

Эти серьезнейшие остросовременные размышления соседствуют с весьма романтическими строками:

Мне сказала девушка:
Как приятно осенью!
В ней мы видим, кажется,
Отзвуки весны…
Мне сказала девушка:
Пробежимся босыми
И потом уляжемся
В ложе из травы…

В сопроводительной записке автор без тени скромности утверждал:

«По сравнению с прошлым годом ваш журнал потерял 37 тысяч подписчиков. Отчасти это потому, что редакция вашего журнала не публиковала мои стихи… Подписка на журнал возрастет, если вы решитесь время от времени публиковать мои

стихи».

Получив отказ, стихотворец адресовал нам все худые слова, которые знал, и притих: в Обком жаловаться уже не было смысла.

В отличие от херсонца, житель Петрозаводска Л-ин заставил нас долго держать оборону. Он многократно пытался «впарить» нам свой текст (стихотворением назвать его невозможно) под названием «Песнь Савицкой». Вот лишь две строфы из этой эпохальной нетленки:

О!.. Люди Земли и Вселенной!
В открытом пространстве лечу!
Из космоса, люди… Вам, люди,
За мир песню мира пою!

Новое политическое мышление
Генеральным секретарем дано!
И критерий мирного сосуществования
Человечеству осознать… дано.

В завершение автор уведомлял:

«Песнь Савицкой» выслана в редакцию журнала «Нева», но ни в коем случае антиперестройщику Друяну, который своими действиями помогает в наше время разным жуликам и расхитителям общественно-государственных средств».

Не менее решителен в желании увидеть свои стихи в печатном исполнении был И. Е. М-ин из города Камышина Волгоградской области. Эпистолярный стиль автора предуведомления индивидуален и неповторим:

«Высылаю магнитофонную кассету с записями своих произведений. Прежде всего я опираюсь не на клюку конечно, а на то, что на вкус и на цвет товарищей нет. Взбадривая свои стихи эпиграфами, но не реквиями известных писателей и поэтов, из произведений авторов, я хочу подчеркнуть и важность в совокупности, ведь я не цитирую тех, кто бюрократ и подхалим, судя по его произведениям. Вот в чем суть. Прослушать мои произведения в кругу товарищей по перу и мысли я считаю долгом каждого товарища, кто критически и с чувством юмора относится к нашей жизни, даже в наши времена перестройки, гласности, демократии. А переписать ленту магнитофонную кем-то из вас, товарищи, это уже другое дело. В ином случае, прошу вернуть мою магнитофонную ленту адресату. И пишу и редактору и редакции, ибо коллектив везде превыше всего. Извините за спешку

и прочее».

Кассету мы вернули, а процитированное послание и не менее выразительный фотопортрет автора нашли свое законное место в «Отдельной папке».

В редакционной почте всегда было множество стихов о нашем городе. Написаны они как будто одним человеком под копирку – настолько банальны, безлики, перечислительны. Но кое-что из этой массы все-таки попадало в нашу папку.

Вот лишь два поэта: один родился на Смоленщине, другой – в Баку. Их легко различить по почерку:

* * *

Петербургские гордые шпили,
Вас мои кривичи возводили,
Золотили, над бездной вися,
А меня в хромосомах тряся.

* * *

Ленинград – опять ты стал убогий,
Что вертает на круги своя.

Даже восточный мудрец без риска свихнуть мозги вряд ли сможет отгадать, что хотел сказать бакинец. Если первая строка недвусмысленна, то со второй на трезвую голову лучше не иметь дела.

Переведем дух и обратимся на минутку к фольклору. Настоящему, злободневному. По установившейся традиции, редакция не баловала читателей произведениями устного народного творчества. Не без сожаления мы бережно уложили в «Отдельную папку» частушки, которые прислал житель Гатчины В. И. Р. Живо представляю автора, играющего на гармошке, и его друзей, лихо, с переплясом распевающих частушки о нашей такой развеселой жизни:

Не зазря жил старый хрыч, —
Будет выпить на вечер:
От Чубайса магарыч

Под названьем ваучер.

Не видать бы горя мне
На базаре ль, в баре ли,
Да Миша Г. и Боря Е.
По карману вдарили.

Больше всего приходило произведений на любовно-эротическую тематику. Некоторые из них заслуживают особого внимания. Невозможно, например, не восхититься творческим своеобразием матерой поэтессы:

Напрасно пуговицу ищешь —
Она оторвана давно.

Или:

Есть у меня излюбленная поза…

Столь же целомудренны и поэты-мужчины:

Не могу я горевать,
Когда стелешь ты кровать.
–
Мы лежим в траве плечистой,
Смотрим прямо в ночь.
Светит месяц золотистый,
Обещает дочь.
–
Осень. Ветер. На окнах чутко
Занавески. От рамы тень.
Ночь – валютная проститутка
Отдается кому не лень.

Снова и снова возвращаешься к строке, восторженно повторяешь: «Ночь – валютная проститутка». До смерти хочется хотя бы одним глазком заглянуть в творческую лабораторию автора, чтобы понять, как это ему удалось адекватно выразить словами свое фамильное мироощущение, преподнести читателю потрясающее поэтическое открытие.

Ладно, оставим в покое рискованные откровения, тем более

что под рукою – стихотворение другого поэта. Некто К-ин изловчился всего лишь в четырех строках определить, что же такое любовь:

Любовь узнают не по ласкам
И не по обхождению.
Она светится в глазках,
Обнаруживается в движениях.

Вот такая получилась красивая формула от противного. Ласки, глазки, обхождение – какие старорежимные полузабытые, нежные слова! Так и хочется их по прочтении погладить! А какой душевный отклик, нечеловеческий восторг вызывает заключительный аккорд: «Обнаруживается в движениях»!

У коллеги К-ина все иначе. Он пресыщенный привереда. О женщинах рассуждает только на утреннюю голову – трезво и просто:

Встречал я женщин много, мало,
Но что-то в них всегда недоставало.
Одна красива и мила,
А ночь прошла —
И уж не та,
Кто был мне нужен навсегда.

Следующее четверостишие затруднительно приспособить к какому-либо жанру:

Не один из сверстников дерзнувший
За обиду цапал с пылу прямо в нос.
Ну а взрослый батьку матюгнувший
На ответ мой лаялся как пес.

Раньше мы советовали подобным стихотворцам больше читать классиков, учиться у них. В ответ получали стихи такого рода:

Чернеет туча грозовая
В небесном море голубом.
–

Сверкают молнии оскалы

И дождь и хлещет и блестит.
–

Ничто в поле не колышется
Только песня моя слышится.
–

Дуб ты мой ровестник, дуб ты молодой,
Что меня чаруешь шалою листвой?

Канула в Лету эпоха, когда сочинитель так обращался к враждебной Америке:

Зловещие ты планы
В тьме сейфов не держи,
А лучше их изъяны
Рассудку покажи.

Что ж, настали другие времена, а значит, зазвучали другие песни. Выбирать из них для нашей папки становилось все труднее по причине их серой невыразительности. Может, в этом виноваты не столько сочинители, сколько время, их породившее?

На обложке «Отдельной папки» начертан эпиграф – конгениальное двустишие безымянного автора:

Там, где сгорело сердце Данко,
Не смеет прорасти поганка![3]

Кто теперь знает, так это или нет…

«Был бы жив Великий Петр…»

В начале шестидесятых в редакции художественной литературы Лениздата была заведена толстенная тетрадь, на твердой обложке которой значилось: «Амбарная книга». Вскоре эта прозаическая надпись была чуть подправлена. «Амурная книга» – так несерьезно стал именоваться фолиант. Каждый писатель мог начертать на его страницах все что душе угодно, не опасаясь цензурного вмешательства или гнева местного руководства. Руководство же Лениздата тех лет отличалось устрашающими габаритами. Именно это обстоятельство имел в виду Михаил Дудин, изобразив пером три мощные обнаженные натуры «с тыла» и снабдив выразительный рисунок четверостишием:

В душе испытывая страх,
Перехожу на шепот:
Земля стоит на трех китах,
А Лениздат – на жопах.

Уже тогда Дудина знали не только как серьезного поэта, но и как автора веселых, ироничных, озорных, а подчас злых эпиграмм, рисунков и шаржей. Однажды в той же «Амурной книге» известный поэт, многолетний редактор журналов «Костер» и «Аврора» Владимир Торопыгин выразил в рифму неудовольствие по поводу слишком долгого, по его разумению, издательского прохождения своих рукописей:

Я Лениздат люблю, как маму.
Всегда, когда в нем выхожу,
Я девять месяцев упрямо
В его животике лежу.

Под этим, как сказал бы Зощенко, маловысокохудожественным сочинением автор не забыл поставить число, месяц и год: 20 июля 66 г. А 23 июля в редакцию зашел Дудин. Раскрыл книгу, прочитал последнюю запись, хмыкнул, на минуту задумался и под указанной Торопыгиным датой «наложил резолюцию»:

Редактор! Помни эту дату.
Скажи, вперя в поэта взгляд:

– Забудь дорогу к Лениздату, —
Ходи, Володя, в детский сад!
М. Д.
23. VII.66.

Торопыгин был мягким, добрым человеком, с Дудиным он дружил много лет. Конечно же, это четверостишие в восторг Володю не привело. Но что поделаешь: старший товарищ строг, ядовит, но справедлив! Не многие обижались на Дудина за дружеские поэтические уколы. Другое дело, когда поэт намеренно резко оттачивал против кого-то свое перо. Две-четыре строки, и – портрет готов!

В последнюю прижизненную книгу Дудина «Грешные рифмы» вошло далеко не все, написанное им «в легком жанре». Вместе с Натальей Банк я был составителем этой книги. У меня хранится множество автографов – неопубликованных эпиграмм Михаила Александровича. Каждая – на отдельной карточке.

Вот эпиграмма без указания адресата, хотя в те времена все без труда узнавали в ней склонного к интриганству серенького прозаика, который искусно плел из ивы корзины:

Плетет корзины, как интриги,
И на досуге пишет книги.

Вот четыре острых строки «Об одной лысине». Это о человеке, которым восхищалось, как тогда выражались, «всё прогрессивное человечество»:

Мы подняли страшный шум,
Но возвысили не ум,
А пятно на лысине
Мы с тобой возвысили.

Так и подмывает процитировать еще хотя бы несколько дудинских «колючек», дружеских, не очень и совсем не дружеских:

* * *

У Коржавина Наума

Не житье, а красота,
Только очень много шума
В основанье живота.

* * *

Божья искра случайно обронена
В беспросветную душу Воронина.

* * *

Островой – титан Москвы,
Века однокашник.
Только вместо головы
Носит набалдашник.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ
РИФМА-ЛОВУШКА
Маргарита Алигер
Проглотила как-то… муху.
Очень жалко мне старуху,
Не бери ее в пример.

* * *

Береги колхозный двор
От клопа от лютого.
Покупай не клопомор,
А сочиненья Кутова.

Лишь талантливый человек может «прилюдно» посмеяться над самим собою. К своему пятидесятилетию Дудин сочинил «Страшно печальную песню»:

Жизнь прошла наполовину,
Жизнь пошла на сжатие:
Стала е. я Михаилу
Сущее проклятие!

А в шестьдесят признанный мэтр, Герой Социалистического Труда отметил свой юбилей восьмистишием под названием «Трагическая ситуация»:

Мне за столом Героем
Не быть наверняка, —
Выходит геморроем
Бутылка коньяка.
Теперь моей особе
Не ликовать, увы.
И повисают обе
С похмелья головы.

У непреклонных ревнителей чистоты родного языка может вызвать протест рискованная лексика «грешных рифм», хотя лексика сия в наши дни бесцеремонно вторгается не только в устную речь, но и в произведения профессиональных литераторов. В данном случае в оправдание замечу: совершенно обойтись в «грешных рифмах» без «грешных» слов – дело немыслимое!

В один из летних дней девяносто первого года в «Неву» зашел непривычно мрачноватый Дудин.

– Здравствуй хорошенько! – привычно поздоровался он, присел к столу, быстро что-то написал на листе бумаги и сказал: – Шел сейчас к тебе по Невскому, и вот что написалось. Послушай-ка:

Ты блядь минуешь. Глядь-поглядь —
Тебе опять навстречу блядь.
Твой город стал теперь на вид
По-европейски блядовит.
В нем от скрещения идей
Растет количество блядей.

Я рассмеялся, стал повторять строчки, говорить об отменной рифмовке.

– Да нет, не в этом главное, – прервал меня Михаил Александрович. – Понимаешь, каждый день хожу по Невскому, а только сегодня вдруг ощутил, что город-то, наш город становится… да что там говорить, уже стал каким-то другим,

кругом вывески, рекламы не на русском языке. На домах написано: «Невский проспект», а снизу: «Кока-кола». Да еще девки косяками… на потребу. Может, так и должно быть… Время такое. Не знаю. Но видеть это тошно.

В тот раз долго сидел в моем кабинетике Михаил Александрович. Заглянул главный художник «Невы» Борис Федорович Семенов. М. А. прочитал свои новые стихи и хлесткие, давно известные и совсем еще никому не известные эпиграммы, опять была прочитана «грешная» миниатюра «Проходя по Невскому». Вспомнили и дудинское четверостишие «Из новой ленинградской истории», написанное во времена правления партийного вождя Г. В. Романова:

О город крови и туманов,
Идей великих и могил,
Тебя вознес один Романов,
Другой Романов – загубил.

– Думали, хуже быть уже не может, ан нет, оказывается, еще как может… Но ничего, пройдет и это, – неожиданно улыбнулся М. А.

Перед уходом он взял со стола бумагу с текстом миниатюры «Проходя по Невскому», написал на обеих сторонах листа еще несколько горьких стихотворных мыслей и протянул мне. Привожу некоторые:

ЕСЛИ БЫ…
Был бы жив Великий Петр,
Он бы всем устроил смотр.
Всю бы мэрию вкупе
И администрацию
Он послал бы в Кемь на пе —
Реквалификацию.

К ОЧЕРЕДНОМУ ПОВЫШЕНИЮ
Рост цен не остановишь квотой,
Он бесшабашен и нелеп.
И никакой теперь работой
Не заработаешь на хлеб.

* * *

Нас всех одни печали жмут.
И нам не вырваться из круга,
Там, где не сеют и не жнут,
Там, где воруют друг у друга.

За два месяца до смерти, в конце октября 1993 года, Михаил Александрович по телефону прочитал мне только что сочиненные четыре строки. Я их тут же записал:

С соизволения тщеты
В разгуле мелкой страсти,
Кто нас довел до нищеты,
Тот снова рвется к власти.

Написано это будто сегодня, в наши сумеречные дни, о наших общих бедах и горестях. Многие «грешные рифмы» рождены болью поэта за человека, за Россию. В них – добрая, ироничная, насмешливая, саркастическая, иногда – презрительная дудинская улыбка. Он ненавидел неистребимое племя бюрократов, чиновников всех мастей и рангов ни во что не ставящих простого человека-труженика.

Один в тоске своих усилий
Не отлежишься на печи.
…А от чиновников в России
Темнеет, как от саранчи,

Раздумье учит средоточью.
И ужас душу холодит.
И – ночь не в ночь!
Чиновник ночью
Еще чиновника плодит.

Жажда власти, мздоимство, самодовольство, безнаказанность рождали гневные, афористичные строки поэта:

Живут же сукины сыны,
Своей не чувствуя вины,
Как будто есть одна вина
У Салтыкова-Щедрина.

После кончины Дудина очень быстро, в основном благодаря активности Натальи Борисовны Банк, была собрана книга воспоминаний его друзей – поэтов, прозаиков, журналистов, художников, ученых. Но, оказалось, составить книгу в наше время – это даже не половина дела. На издание нужны деньги. И немалые. Куда только мы не обращались за помощью – и к руководителям крупных промышленных предприятий, и к банкирам, и в Фонд культуры, и в Комитет по печати мэрии, – все впустую! Все помнили и хорошо знали Михаила Александровича, но… дальше разговоров и обещаний дело не двигалось. Лишь Фонд мира выделил один миллион рублей: по тогдашним неденоминированным временам – капля в море. Этого должно было хватить лишь на оплату работы художника и технического редактора. Все авторы воспоминаний даже не помышляли о гонорарах.

Дни шли за днями, а на моем редакционном столе сиротливо лежала рукопись книги, пока у меня не возникла совершенно авантюрная идея: обратиться с письменной «челобитной» напрямую – лично к самому мэру А. А. Собчаку. А повод – отличнейший повод – вот же он! Не откладывая дело в долгий ящик, мы с Натальей Борисовной сочинили послание мэру. Описали драматическую ситуацию с книгой и попросили конкретной помощи. К письму приложили книгу Дудина «Грешные рифмы» и как бы между прочим обмолвились, что в нее вошло, естественно, далеко не все написанное автором в этом жанре. В частности, нет в книге и эпиграммы на Собчака, сочиненной Дудиным 4 декабря 1990 года, – своеобразного отклика на поездку мэра в США. Называется эпиграмма – «Предстоящая история Ленинграда в двух частях».

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Чтоб не пороть истерику
И свой сберечь очаг,
За Рюриком в Америку
Отправился Собчак.

Далее мы написали, что вторую часть непременно сообщим, как только убедимся, что письмо дошло до адресата. Расчет был на то, что Собчак – человек образованный, интеллигентный и, что очень важно, с чувством юмора, непременно захочет иметь полный текст эпиграммы на него.

Мы, конечно же, опасались, что письмо наше застрянет в чиновничьих лабиринтах Смольного. Но сработала журналистская солидарность. Через пресс-службу Мариинского

дворца, через пресс-секретаря мэра наше личное послание в конце концов легло на стол Собчака.

Как-то днем раздался телефонный звонок. Милый, мягкий голос помощницы мэра сообщил, что письмо наше получено, Собчак наложил резолюцию, адресованную Комитету по печати, о необходимости помочь в издании книги. Ему очень нравится дудинская эпиграмма, и он поручил узнать у меня, чем же все-таки дело закончилось и не могу ли я продиктовать по телефону вторую часть.

Я понял, что помощница должна непременно выполнить поручение шефа и поэтому настоятельно попросил взамен ксерокопию резолюции мэра.

Условие было принято, и я продиктовал вторую часть эпиграммы:

Там под чужую скрипку
Нам выверят маршрут,
И обдерут как липку.
И к матушке пошлют.

Конечно, вторая часть эпиграммы, прямо скажем, довольно ехидная. Но ничегошеньки не поделаешь, нравится не нравится, а принимай, дорогой товарищ-господин, то, что сочинил о тебе поэт. Другого-то нет, не обессудь!

Ну а затем чиновничья машина натужно заскрипела, далеко не сразу стронулась с места, деньги были выделены, и в самом конце 1995 года книга «Будьте, пожалуйста!» Друзья вспоминают Михаила Дудина» увидела свет. Выпустило ее издательство журнала «Нева».

Вот и получилось, что дудинские «грешные рифмы» помогли выходу книги воспоминаний о Поэте.

«Здравствуй хорошенько!»

Давным-давно, на рубеже 50-х – 60-х годов минувшего века, Михаил Дудин написал шутливое послание своему другу Сергею Орлову. Начиналось оно так: «Орлов Сергей в “Неве” руководил Поэзии убыточным отделом…».

С конца 1980 года «убыточным» отделом журнала пришлось руководить мне. Едва ли не ежедневно мы с Михаилом Александровичем встречались в редакции, или у него дома, или разговаривали по телефону. Вот раздается звонок, в трубке – высокий неторопливый голос: «Здравствуй хорошенько! Послушай-ка, что я тебе почитаю…» Я представляю, как он одной рукой держит телефонную трубку, а другой листает очередную рукопись очередного стихотворца, приславшего ему свои творения. Я всегда поражался дудинскому искусству безошибочного выбора немногих удачных стихотворений, строф и строчек из объемистых и, как правило, посредственных рукописей. А сколько стихотворной продукции приходило на его имя! Переварить все это одному, понятно, было немыслимо, и он частенько обращался за помощью в «Неву», где состоял членом редакционной коллегии на протяжении многих лет. Мы отвечали по его просьбе авторам, наиболее назойливых просили помилосердствовать, учесть возраст и занятость Дудина, не пользоваться беззастенчиво его добротой и отзывчивостью.

По правде говоря, наши оценки не всегда совпадали. Я горячо возражал. Михаил Александрович столь же горячо настаивал, сердился, иногда в сердцах бросал трубку. Однако, поостыв, снова звонил и примирительно говорил, что был не прав, что виной всему портящийся с возрастом характер, чтобы я не серчал, как-нибудь поласковее письменно отказал несчастному (слепому, больному) автору.

Случалось, не застав меня в журнале, М. А. оставлял мне чьи-то стихи с краткой «сопроводиловкой».

Однажды на моем редакционном столе он увидел рукопись стихов Татьяны Галушко, поэтессы яркой, умной, талантливой. Она была смертельно больна и знала, что ей жить осталось совсем немного. Я был когда-то редактором ее первой, «кассетной», книжки. Вот почему она так откровенно и доверительно написала мне на первой странице подборки:

> «Я очень больна. Мне бы очень хотелось увидеть стихи опубликованными. С любовью и надеждой

Т. Галушко».

М. А. прочитал эти строки. Глаза его стали печальными. Взял авторучку и приписал к последнему обращению Тани:

«Обязательно напечатать. М. Дудин. 22.X.87».

Стихи Татьяны Галушко вскоре появились в «Неве».

С легкой руки Дудина в нашем журнале печатались многие поэты: Даниил Андреев, Измаил Гордон, Иван Елагин, Геннадий Алексеев, Амо Сагиян, Владимир Жуков, Эмилия Александрова, Рубен Ангаладян, Людмила Ефлеева, Владимир Куковякин, Александр Щуплов…

Ну и, конечно, мы в «Неве» ждали новых стихов самого Дудина. Когда он уезжал в Дом творчества (в Ялту или в Пицунду) или в Михайловское, где ему особенно хорошо работалось в гостях у давнего друга Семена Степановича Гейченко, мы в надежде, что он привезет новый цикл стихов, заранее резервировали ему место в очередном номере. И – привозил. По возвращении тут же звонил, читал все, что успел написать. На следующий день в редакции или у него дома опять читал все целиком, внимательно выслушивал наши впечатления.

Прошедший от начала до конца две войны – «незнаменитую», суровую советско-финскую и Великую Отечественную, – он вновь и вновь возвращается в своем творчестве к теме памяти о миллионах простых солдат, не вернувшихся с кровавых полей сражений, о тех, кто к нашему общему стыду остался неизвестным. Их кости истлели в неисчислимых безымянных могилах. И на посту председателя Ленинградского комитета защиты мира, и в своих стихах он старался не дать людской совести уснуть, чтобы и ныне живущие, и новые поколения помнили защитивших Родину ценой собственной жизни.

В 1942 году он написал «Соловьи» – стихотворение-реквием о погибшем товарище.

Я славлю смерть во имя нашей жизни.
О мертвых мы поговорим потом, —

так завершается это стихотворение, сразу же ставшее значительным явлением во фронтовой поэзии. «Потом» – всю оставшуюся жизнь – он говорил и писал о них, мертвых, находил точные, полные горечи, весомые слова.

Однажды по телефону он прочитал стихотворение, которое

меня ошеломило. Оно как будто и о моем отце, останки которого покоятся с февраля 1944 года в ненайденной безымянной могиле где-то в районе Красного села под Ленинградом:

Я всей жизнью своей виноват
И останусь всегда виноватым
В том, что стал неизвестный солдат
Навсегда неизвестным солдатом.
И в сознании этой вины
Собирая последние силы,
Я стою у старинной стены,
У его беспощадной могилы.

И гудят надо мной времена
Дикой страсти войны и разрухи.
И погибших солдат имена
Произносят святые старухи.

Чудо жизни хранят на земле
Смертным подвигом честные люди.
Но грядущее мира – во мгле.
Но печальная память – в остуде.
И тоска мою душу гнетет,
И осенние никнут растенья,
И по мрамору листья метет
Оскорбительный ветер забвенья.

Стыдно, печально, но это факт: оскорбительный ветер забвенья сегодня уже ощутимо коснулся холодным дыханием поколение фронтовиков, подаривших нам жизнь…

Чаще всего первыми слушателями стихов Дудина, помимо меня, были его самый близкий, закадычный друг Борис Федорович Семенов, человек большого обаяния и культуры (много лет он был главным художником «Невы»), и Наталья Борисовна Банк, к которой М. А. долгие годы относился преданно и нежно и о которой говорил, что она «знает Дудина лучше самого Дудина». Кстати, говорил он так хоть и в шутливом тоне, но совершенно искренне. Она довольно много, интересно и тонко писала о творчестве М. А., составляла и редактировала его книги. Вот на квартире эН Бэ Бэ, как называл Дудин Наталью Борисовну, мы чаще всего и собирались. За чаем с фирменными пирогами хозяйки всегда было весело и интересно. Звучали стихи, эпиграммы, шутки, дружеские подначки. «Наталья, ты вовсе не

Банк, – говорил Дудин. – Банк был твой отец, а ты просто Сберкасса». «Мишенька, а помнишь?..» – говорил Бэ эФ Семенов. И тут начиналось самое интересное, Вспоминать им было что. Их дружба началась еще в блокадном Ленинграде. Мы с эН Бэ Бэ слушали их рассказы о войне, о литературно-художественной жизни послевоенного Ленинграда, о встречах с Михаилом Зощенко, Ольгой Берггольц, Николаем Тихоновым, Александром Гитовичем, Анной Ахматовой, эпизоды смешные, печальные, веселые, трагические…

Потом Борис Федорович уехал на чужбину и вскоре там умер. М. А. очень тяжело переживал смерть друга.

Но это было потом. А пока все еще были живы, все рядом, и каждой весной шли в «Неву» письма.

«20 мая 1985 г., Ялта

Дорогие Борисы

Федорович и Григорьевич

Семенов и Друян

Посылаю Вам цикл стихотворений Ваана Терьяна «Страна Наири», который я успел перевести по приезде в Ялту. Посмотрите его вместе. Мне, грешному, кажется, что этот цикл по своей трагической тревоге – современен, и вы, при согласии с этой моей мыслью, можете предложить его для вашего почтенного журнала.

Живу я здесь хорошо, читаю, гуляю. И слушаю Черное море.

Будьте!

Обнимаю вас

М. Дудин»

«3. V.90.
Ялта

Дорогой Бэ Гэ Дэ!

Здесь в новом доме мы с Ириной Николаевной живем в двух больших комнатах. Три окна – и все на

море. Зелено. Солнечно. Прекрасно.

Каждое утро я сижу за столом и с удовольствием перекладываю неуклюжие слепки со стихов Амо Сагияна на русский язык. Числу к 5–10 мая все это дело закончу и пошлю тебе все 20 стихотворений. Это примерно 250–300 строк.

Мне очень хочется, чтобы эти грустные человеческие размышления о судьбе человечества и человеке в человечестве были тебе по душе.

Кланяйся Б. Ф.

М Д.»

«13. V/90.
Ялта

Дорогой Бэ Гэ Дэ!

Будь другом, исправь, пожалуйста, первую строку в двенадцатом стихотворении Амо Сагияна. Надо так: «Я прожил жизнь. Я видел жизнь в упор».

…Хожу, разговариваю с морем, с горизонтом и с деревьями. Все цветет – жасмин, магнолия и девушки.

Будь!

Кланяйся Бэ Фэ и эН Бэ Бэ.

М. Д.»

Я не случайно процитировал эти письма. Михаил Дудин много сделал для сближения литератур бывших республик СССР. Особой любовью, а в последние годы и нестерпимой болью была для него многострадальная Армения.

То геноцид, то Сумгаит,
То гром землетрясения.
Все кровь и кровь. И все болит
В твоей судьбе, Армения…

На форзаце книги «Земля обетованная» крупно белым на черном:

АРМЕНИЯ СТАЛА МОЕЙ НЕОБХОДИМОСТЬЮ
Михаил Дудин

Весь гонорар за книгу автор передал в фонд помощи пострадавшим от страшного землетрясения в 1988 году. В самые трагические для Армении дни М. А. писал письма, звонил своим друзьям в Ереван, трижды прилетал к ним повидаться, ободрить, был в разрушенном Спитаке, фронтовом Степанокерте…

Он был добрым, я бы сказал, активно, деятельно добрым, щедрым и бескорыстным. Близко к сердцу принимал горе тех, кто обращался к нему за помощью. Ему писали сотни людей. И почти в каждом письме – драматические истории, исповеди и – просьбы, просьбы.

Он помогал как мог, пользуясь своим авторитетом, писал представления, звонил, заходил в высокие чиновничьи кабинеты, добивался для кого-то квартиры, для кого-то справедливого начисления пенсии, для кого-то запоздалой реабилитации. Накануне перестройки над черногорским поэтом, политэмигрантом Йоле Станишичем, живущим в нашем городе с начала 60-х, нависла смертельная угроза. Дело в том, что власти Югославии добились в самых высоких инстанциях руководства СССР согласия на выдачу поэта, немало сделавшего для разоблачения тогдашнего югославского режима. Вопрос был решен, и, казалось, никто и ничто не сможет спасти положения. И все-таки решительное заступничество Дудина, в ту пору депутата Верховного Совета РСФСР, привело к тому, что Станишича не выслали из нашей страны.

А сколько «рядовых» добрых поступков совершал М. А., знают лишь те, кому он помог. К примеру, благодаря ему и председателю Литфонда поэту Льву Гаврилову выдающийся ученый Лев Николаевич Гумилев, мыкавшийся всю жизнь по коммуналкам, наконец-то стал обладателем отдельной квартиры. Сделать это было чрезвычайно трудно, поскольку соседи Гумилева никак не хотели переезжать куда бы то ни было. М.А «пробил» для них очень хорошее жилище, а Лев Гаврилов оказался блистательным переговорщиком, который смог убедить соседей переехать. После кончины ученого в квартире был создан музей Льва Николаевича Гумилева.

Как-то в очередной заход в редакцию он неожиданно попросил: «Слушай, сделай милость, составь мне компанию, сходим к старой слепой блокаднице. Она живет рядом». Я отложил все дела, и мы отправились на улицу Халтурина.

Дверь нам открыла сама хозяйка. Поняв, кто перед нею, взяла за руку М. А., ввела в прихожую-кухню, говоря при этом, что узнала его голос, что все это так неожиданно и хорошо, сейчас

она будет угощать нас чаем, мигом соберет на стол. М. А. мягко отказывался, ласково поглаживая слепую женщину по плечу. Потом смущенно и настойчиво вложил ей в руку конверт с деньгами. Я молча наблюдал за всей этой сценой. Женщина растерянно и сбивчиво начала благодарить, но Дудин тут же прервал ее: «Да не надо благодарить, пожалуйста, не надо, деньги эти у меня не последние, вам ведь нужнее, а я только что получил большущий гонорар, вот и Борис Григорьевич подтвердит». Мне ничего не оставалось, как подтвердить то, чего в действительности не было.

Убедив хозяйку в том, что оба опаздываем на писательское собрание, поспешно откланялись. Шли молча в сторону Марсова поля. «Как хорошо, что вытащил тебя из редакции, – вдруг сказал М. А. и без перехода: – Господи, сколько горя на земле… А блокадников с каждым днем все меньше и меньше. Никак не можем им по-людски помочь. Одни разговоры, обещания… Болтовня. Горько все это, стыдно!»

Как М. А. умеет помочь, я хорошо знал по себе. Издание книги стихов Глеба Горбовского «Тишина» в 1968 году чуть не стоило мне увольнения из Лениздата. Благополучную развязку этой крайне неприятной истории во многом определила демонстративно открытая позиция Дудина в поддержку книги. А я, стыдно признаться, так никогда и не поблагодарил Михаила Александровича за тот давний его поступок. Да и один ли я такой… Слишком многие принимали бескорыстное участие и помощь Дудина как должное, само собой разумеющееся.

Менялись времена. Менялся Дудин как поэт. Трагичнее становилась его лирика, жестче – суждения о былом и нынешнем. Не заставила себя ждать реакция тех, кому это, мягко выражаясь, не нравилось. Так, в начале 1989 года в «Неву» пришло письмо из Москвы от некой Г. И. Летовой. Это был своеобразный отклик на опубликованное в журнале стихотворение Дудина «Марш победителей». Сам ритм стиха – упругий, четкий – передавал зловещую поступь, жуткую сущность конвойных войск:

Весь мир объемлет сразу
Смертельная тоска.
Выходят по приказу
Конвойные войска.
Идут железным строем
С редута на редут
И Время под конвоем
В Историю ведут.

Их постоянный спутник —
Решительный успех.
Весь мир для них – преступник,
Они превыше всех…

Стихотворение было написано после трагических событий в Тбилиси в апреле 1988 года, когда войска применили против демонстрантов саперные лопатки и слезоточивый газ. Но, думается, отозвались здесь и впечатления поэта от пребывания на Крайнем Севере, куда задолго до тбилисских событий летал Дудин вместе с другом Давидом Кугультиновым. Здесь – под конвоем – отбывал свой срок в сталинских лагерях Кугультинов.

Письмо москвички начиналось гневно и безапелляционно:

> «Уважаемая редакция! Неужели больше нечего напечатать, кроме стихотворения Дудина (№ 1, 1989 г.)? Кто давал ему право огульно обливать грязью конвойные войска?..»

Далее редакции настоятельно рекомендовалось напечатать стихотворный ответ курсантов Ленинградского высшего политического училища МВД СССР. Приведу лишь несколько строф длинного обличительного сочинения двух курсантов, фамилии которых называть не хочется:

Забыл товарищ Дудин
Историю ЧК
И судит-пересудит
Конвойные войска!
В войну, среди пожарищ,
Не сломлены нигде
На всех фронтах сражались
Войска НКВД!
Честолюбивой касте
Вы пишете, пока
Стоят на страже счастья
Конвойные войска!..

Михаила Александровича очень расстроил не столько агрессивный тон послания, сколько явное нежелание автора письма и юных «стражей счастья» понять, осмыслить, что же происходило в стране за всю историю власти большевиков и что происходит теперь. Ведь стихи написали молодые люди,

написали в разгар гласности, когда в печати широко освещались «заслуги» ЧК – НКВД – КГБ в борьбе с собственным народом. А в это же время какой-то корреспондент военной газеты звонил Дудину по телефону и упорно хотел выяснить с ним отношения по поводу все того же «Марша победителей». Тут уж Дудин не только расстроился, но и заметно рассердился. Я предложил М. А. опубликовать в «Неве» письмо и стишок «оппонентов» и обстоятельный комментарий к ним самого поэта. «Ни объяснять, ни комментировать, ни тем более оправдываться не стану, – жестко сказал М. А. – А вот стихотворение напишу. О вологодском конвое. Слыхал о таком? Это был самый беспощадный, зверский конвой!»

Вскоре он написал «Вологодский конвой»:

Вологодский конвой,
Вологодский конвой.
Через тундру по снегу
Кровавой канвой.

Не смотри в темноту,
Не рассеется тьма.
Не видать Воркуту,
Далеко – Колыма.

Не крути головой,
Головой не крути!
Вологодский конвой
Беспощаден в пути.

Или выстрел в упор,
Или штык под ребро.
И окончится спор,
И иссякнет добро.

И снегам будет сниться
Тот сон без конца.
И оближет волчица
Лицо мертвеца.

А еще года через полтора в печати появилось одно из самых сильных, на мой взгляд, стихотворений Дудина последнего периода – «Осталось жизни мало…» В нем сконцентрирована беспощадная правда о минувшей кровавой войне, поколении фронтовиков, горькая правда сегодняшнего бытия:

Осталось жизни мало,
И жизнь идет не так.
О чем душа молчала,
О чем душа кричала,
Нельзя начать сначала
В последней из атак.
Пред совестью пехоты
Ты смертной честью чист.
На взорванные ДЗОТы
Летишь, не помня, кто ты,
А впереди – комроты
И сзади – особист.
И бесполезна жалость
Бессмысленных потерь.
Как много нам досталось!
Как мало нас осталось!
И с жизнью – эта малость
Прощается теперь.
Мы ничего не просим
И не дрожим как лист.
Нас с древа жизни осень,
Как листья, рвет и косит.
…А славу мертвых носит
Бессмертный особист.

Осенью 2006 года широко отмечалось 90-летие Дудина. Прошли многолюдные вечера его памяти, пресса, радио, телевидение не обошли молчанием дату поэта, так много сделавшего для города и горожан. У меня дома телеканалы «Россия» и «Культура» снимали сюжеты о Михаиле Александровиче. Я показывал множество рисунков, автографов, фотографий, книг Дудина, рассказывал о нем, читал любимые мною стихи. Хотел прочитать и стихотворение «Осталось жизни мало…» Однако предложение мое было мягко, с некоторым смущением отклонено. А ведь стихотворение написано в 1991 году, почти за десять лет до назначения Ельциным своего преемника.

Частенько в дверях своего кабинетика в «Неве» я находил шутливо-укоризненные записки М. А. Одна из них связана с забавным случаем:

Дно у стаканчика,
Дно у стаканчика

Пусто и чисто на свет.
Нету Друянчика,
Нету Друянчика,
Нету Друянчика. Нет!

Прочитал я эти грустные стихи, и, помнится, в тот же день телефонный звонок: «Боря-а-а! Здравствуй хорошенько! Я ведь не просто так написал тебе про стаканчик. Приходи ко мне после работы, ладно? Посидим, поговорим. Мне тут прислали диковинную бутылку настойки на золотом корне. Надо бы тебе пробу снять…».

Мы сидим у него на кухне. Сам М. А. давным-давно «завязал», но очень любит угощать. На столе действительно редчайший напиток в оригинальной бутылке. Мы давненько не виделись. Я целый отпускной месяц провел у себя в садоводстве в Скачках. М. А. все туда собирался приехать, чтобы посадить на память мне маленькую яблоньку.

Сегодня он в хорошем настроении, улыбается, подливает мне в солидную граненую стопку, а его жена Ирина Николаевна рассказывает приключившуюся с Дудиным историю.

Оказывается, он решился наконец приехать ко мне за город, но забыл, как называется станция, где надобно выходить. Помнил лишь, что поезд – на Гатчину. Сел на гатчинскую электричку, только на Варшавском вокзале вместо Балтийского, и поехал, думая, что по пути все-таки вспомнит название нужной станции. Станции мелькали одна за другой, а той, что надо, все нет как нет. Пришлось смириться с мыслью, что поисковая затея провалилась. Сошел на какой-то платформе, решив погулять, подышать чистым воздухом, довольно далеко отошел от станции и не заметил, как натянуло тучи. Зарядил нудный, мелкий дождик. Вот тут-то, как это часто случалось, его узнали прохожие, поздоровались, пригласили к себе переждать дождь, усадили за стол, напоили чаем. А когда развиднелось, отпустили гостя, подарив ему банку варенья.

М. А. с видимым удовольствием слушает рассказ Ирины Николаевны, изредка что-то уточняет, посмеиваясь над своей незадачливостью. «Это эН Бэ виновата, – улыбается он. – Она твои Скачки смеха ради всегда называет Шапки. Это меня и сбило с толку. Знал, что не Шапки, а как на самом деле – из головы выскочило. Ну, да ничего, обязательно приеду к тебе в Скачки!»

Не приехал…

Да, его часто узнавали на улице, в магазине, на стадионе, в кинотеатре. Вот мы втроем – М. А., эН Бэ Бэ и я идем по Фонтанке

от Дома прессы. На углу Гороховой недавно открылся частный ресторан «На Фонтанке». Решили зайти. Стучимся. Дверь чуть приоткрывается, и кто-то из обслуги говорит, что принять нас не могут, поскольку сейчас обедает Алла Борисовна. «Какая Алла Борисовна?» – недоумеваем мы. «Пу-га-че-ва», – по слогам для доходчивости разъясняют нам, и дверь закрывается. Не солоно хлебавши, идем молча по Гороховой. «Рылом не вышли», – пытаюсь шутить. Но настроение у всех троих – «не фонтан». Пересекаем Садовую, и тут навстречу человек, слегка навеселе, во все глаза смотрит на М. А., затем останавливается и хватает его за руку: «А я знаю вас, только фамилию забыл… По телевизору видел много раз…» – «Ну что я могу поделать?» – доброжелательно говорит Дудин и пытается высвободить руку. Но гражданин вдруг радостно восклицает: «Вспомнил, вспомнил! Вы – Дудин! Точно – Дудин!» Прохожие оглядываются, улыбаются. Довольный гражданин наконец отпускает руку Дудина, желает ему здоровья. М. А. говорит ему свое знаменитое «Будь!», и мы идем дальше, к Адмиралтейству, уже изрядно проголодавшиеся и пока так и не нашедшие пристанища. Но случайная встреча развеяла неприятный осадок. М. А. шутит, шагает не торопясь, размеренно постукивая по асфальту очередной самодельной тростью из кизилового дерева.

Многие считали его своим другом, по-приятельски называли Миша, в компании рассказывали: «Идем мы как-то с Дудиным по Невскому…» или: «Вчера мы с Мишей Дудиным были на футболе». Да, он со многими был на «ты», прост и доброжелателен в общении. Но смею утверждать, что совсем не многих сам относил к своим по-настоящему близким, верным друзьям. Иногда, особенно в последние годы его жизни, мне казалось, что он очень одинок…

Я очень дорожил его дружбой, но так до конца и не смог внутренне преодолеть возрастную дистанцию, ведь он был старше меня не просто на двадцать лет, но и «на Отечественную войну», старше мудростью своей и тем, как глубоко чуждо было ему все мелкое, суетное, преходящее. А он подчеркнуто не желал замечать разницу в возрасте, старался показать мне свое искреннее душевное расположение, был предельно откровенен, советовался и ненавязчиво советовал, даже сердился подчас на меня как-то особенно, по-родственному, что ли; как и другим, любил дарить мне книги, фотографии, рисунки. Хранится у меня мастерски вырезанная им изящная трость. Среди рисунков – особенно забавный на большом листе ватмана, изображающий крылато-хвостатого, совсем не страшного дракона, в очках и с бородою – явный намек на меня. Рисунок был подарен моей жене

на новый 1988 – «драконий» – год. Под рисунком успокоительное двустишие:

Не бойся, Диночка, Дракона,
Дракон объявлен вне закона.

Умер Михаил Александрович в ночь под новый 1994 год. Дня за три до этого мы с Наташей Банк навестили его в больнице им. Ленина на Васильевском острове. Строгая женщина-доктор решительно воспротивилась пускать нас в реанимационную палату, говоря, что Дудин в очень тяжелом состоянии. Я отвел ее в сторону и вполголоса сказал, что сам я не пойду, а вот Наталью Борисовну пустить хотя бы на пару минут просто необходимо: Дудину при виде этой женщины непременно станет лучше, вы сами убедитесь в этом… Доктор коротко сказала: «Не больше двух минут. Идите», – и сама ушла в соседний кабинет. Я остановился при входе в палату, прислонился к косяку двери, пропуская Наташу, и увидел в двух шагах лежащего на спине с закрытыми глазами Дудина. Его руки лежали на груди. Наташа присела на краешек кровати и погладила их. Веки М. А. вздрогнули, глаза приоткрылись, он подтянул ко рту руки Наташи и глубоко задышал, как будто стараясь вдохнуть в себя ее живое, родное тепло. Из глаз его потекли слезы. Наташа наклонилась над ним, что-то тихо ему говорила. Я не в силах был наблюдать за этой нежной, трагической сценой и тихо вышел из палаты. Через минуты три появилась строгая доктор, и мы с Наташей направились к выходу из больницы.

Мы шли по Большому проспекту и молчали. Нам было ясно, что это конец, что мы последний раз видели живым нашего М. А. В ближайшем кафе заказал водки, чтобы проглотить острый ком безысходности. Сбиваясь, прохрипел его стихотворение «Мой друг умирает в постели…» о последних днях Володи Торопыгина. Две завершающие строки для нас именно сегодня приобретают особый смысл:

И жизни на целого друга
Становится меньше во мне.

Наташа смотрит на меня большими горячими глазами и явно не слышит моих слов. Я-то знаю: для нее М. А. был больше чем друг. Ей адресованы многие лирические стихотворения Дудина.

Я вам за все спасибо говорю:

За рваную вечернюю зарю,
Пронизанную ветром и печалью,
За горький дым
И за далекой далью
Пустых полей
Мелькнувший огонек.
Он для меня
Надежда и намек.

По щедрости души и своеволью
Погибелью и самой сладкой болью
Вы стали для меня в укор календарю,
И я спасибо вам за это говорю.
За взгляд в мои глаза,
За легкую игру,
За взлет воображенья
На пиру
Охваченного страстью листопада.

А если б знали вы,
Как безрассудно рада
Моя душа на вашем берегу
Опять цвести…
Я рад тому, что я еще могу
Сходить с ума…

Медленно добрели мы с Наташей до Невского проспекта, распрощались возле редакции журнала «Нева».

…Гражданская панихида состоялась 5 января 1994 года в Доме дружбы и мира на набережной Фонтанки, где много лет М. А. был Председателем Комитета защиты мира. Затем его близким друзьям, делегации писателей Петербурга, сопровождавшим тело поэта, был предоставлен руководством Октябрьской железной дороги специальный вагон до Иванова. Перед отправкой поезда на платформе заметно выпивший Михаил Аникушин плакал и просил меня привезти с могилы своего друга горсть землицы.

На следующий день, 6 января, после отпевания в Преображенском соборе Иванова мы похоронили Михаила Александровича на погосте села Вязовское рядом с матерью. Его завещание, написанное еще в 1986 году, было выполнено.

В селе Вязовское на старом погосте

Землею становятся мысли и кости.

На старых могилах, как дивное диво,
Растут лопухи и бушует крапива.

И в переплетении света и тени
Колышутся заросли белой сирени.

И церковь, окутанная сиренью,
Привыкла давно к своему запустенью.

Здесь память о предках моих небогата.
Здесь родина жизни моей. Но когда-то

Окончится дней моих длинная повесть.
Умолкнут стихи. Успокоится совесть.

Друзья разойдутся. Разъедутся гости.
Найдите мне место на этом погосте.

Пусть все, что в душе моей жизни звучало,
Обратно вернется в родное начало.

Вместе с Натальей Борисовной мы и потом приезжали в Иваново и в Кострому. И в том, и в другом городе считают Дудина своим земляком, родным человеком. Мы это почувствовали во время по-домашнему теплых встреч с читателями, хорошо знающими и любящими его творчество.

В 2001 году под моей редакцией была опубликована книга Дудина «Над пропастью слова и дела». У книги этой необыкновенная биография. Рукопись была подготовлена к печати, книга должна была выйти в свет в 1992 году пятидесятитысячным тиражом в издательстве «Советский писатель». Но к читателю она не дошла: бурные политические события разрушили многое из того, что нас привычно окружало. Коснулись эти необратимые процессы и книгоиздания. «Советский писатель», как и множество других издательств, оказался на мели.

Прошло еще одно перенасыщенное событиями десятилетие, ушел из жизни Михаил Александрович, рукопись книги «Над пропастью слова и дела», казалось, безвозвратно затерялась в архивах. Однако она все же явилась из небытия. Однажды какой-

то гражданин пришел в «Лавку писателей» и передал в руки легендарного директора Марины Ивановны Подрядчиковой ту самую папку со стихами Дудина. По ее инициативе Ассоциация предприятий книжной торговли города решила профинансировать издание рукописи. Такой видел эту книгу Михаил Александрович, подписывая рукопись в набор весной 1991 года. Вернее, почти такой, поскольку я счел справедливым включить в нее два последних цикла – «После полуночи» (1992 г.) и «Одинокий дуб в чистом поле» (1993 г.), а также два завершающих стихотворения цикла «С берега беды» (1991 г.).

Подписанная автором рукопись теперь хранится у меня.

«Все с этим городом навек» – так называлась одна из книг Дудина. Всей жизнью, творческой судьбой был связан Михаил Александрович с нашим городом. Своими многочисленными произведениями он прославил героизм и отвагу ленинградцев в годы Великой Отечественной войны, многое сделал для увековечения их памяти. Вот что написал Даниил Гранин в своих воспоминаниях о Дудине:

«Чего стоит только перечень дел, которые он по своей инициативе пробил в нашем городе. Создание «Зеленого пояса славы» – его идея. Вся линия обороны блокадного города превратилась в кольцо высаженных деревьев, кустов, и оно протянулось цветущей зеленью – самой красивой памятью о нашей окопной жизни. Дудин это задумал и добился, воплотил. Он придумал установить доску-знак на Аничковом мосту рядом с выбоиной от гитлеровского снаряда, одного из 148 478, выпущенных по городу. По его инициативе была установлена мемориальная доска в честь участников обороны Ханко. Можно вспомнить создание театра «Эксперимент». Создание панорамы-мемориала в Кировске. Мемориальные доски Николаю Тихонову, Сергею Орлову. Все это надо было пробить через многие инстанции, довести до дела…

На гранитных и мраморных плитах города сохраняются его слова – стихотворные надписи по обеим сторонам входа на Пискаревское кладбище, эпитафии на братской могиле Серафимовского кладбища, на памятниках защитникам Ленинграда.

Это лишь то, что на моей памяти. Даже не все придуманное и предложенное им было сделано. Но я не знаю другого художника, который столько бы осуществил в нашем городе».

В поэтическом наследии Михаила Дудина особняком стоит стихотворение, словно отчеканенное из бронзы, в котором от

имени уходящего поколения фронтовиков, защитивших Родину, он прощается со всеми нами, со всеми живущими на мирной зеленой земле:

Прощайте! Уходим с порога,
Над старой судьбой не вольны.
Кончается наша дорога —
Дорога пришедших с войны.

Прощайте! Со временем вместе
Накатом последней волны
Уходим дорогою чести,
Дорогой пришедших с войны.

Уходим… Над хлебом насущным —
Великой победы венец.
Идем, салютуя живущим
Разрывами наших сердец.

Это стихотворение органично вписалось в мемориальную доску, установленную в мае 2005 года на стене дома № 8 по Малой Посадской улице. Здесь с 1960 по 1993 год жил Дудин. Автор доски – бывший фронтовик, Народный художник России, Действительный член Академии художеств, скульптор Григорий Данилович Ястребенецкий.

Прошло еще семь лет. И вот наконец-то весной 2011 года топонимическая комиссия при комитете по культуре правительства города после многолетних настойчивых просьб общественности приняла решение присвоить одной из новых улиц Петербурга имя Михаила Александровича Дудина.

Долгожданный праздник открытия улицы поэта состоялся через полтора года – в день его 96-летия – 20 ноября 2012 года. Пронзительный осенний ветер не смог помешать собраться возле памятной доски многочисленным почитателям творчества Дудина. В плотной толпе горожан – и те, кто хорошо помнил и знал поэта, и совсем молодые люди, писатели, журналисты, дети блокадного Ленинграда, коллеги Михаила Александровича по работе в Комитете защиты мира, представители районной и муниципальной власти, новоселы близлежащих высотных домов. Звучали слова восторга и благодарности человеку, чье имя так много значит для жителей города, далеко окрест разносились строки стихов поэта. Совсем юная школьница трогательно прочитала стихотворение «Дерево для аиста». Свое слово я заключил пожеланием счастья тем, кто уже поселился на улице

Михаила Дудина, и тем, кто будет здесь жить. Жужжали телекамеры, суетились фотографы. Наконец под дружные аплодисменты и песню «Снегири», текст которой принадлежит Дудину, с доски снимается покрывало.

Он был не только большим поэтом, но и, бесспорно, выдающимся гражданином города на Неве. Было бы в высшей степени справедливым поставить Михаилу Александровичу Дудину памятник и присвоить ему посмертно звание почетного гражданина Санкт-Петербурга.

…На полке – длинная шеренга его книг и фотография, с которой он смотрит спокойно и внимательно. Уже никогда в телефонной трубке не возникнет высокий, неторопливый голос. Но, вопреки непоправимому, я мысленно говорю: «Здравствуйте хорошенько, Михаил Александрович! Спасибо вам за все. За все…»

Александр СОЛДАТОВ

«Нет человека без изъяна…»

Об издателях, газетчиках – и вообще о профессиональных редакторах – пишут редко. Или вообще не пишут. Даже к праздникам. Работа такая. Так и проходит неброская, негромкая, незвездная их жизнь, оставаясь в истории лишь обозначением их фамилий в выходных данных на последних, как правило, страницах газет, журналов, книг.

В этом смысле Борису Друяну повезло. Его знают и в городе, и очень далеко от него. Знают поэты и прозаики, филологи, книгоиздатели, книготорговцы, журналисты. И просто разный интеллигентный люд в столицах и весях.

С кем-то он, оказывается, служил матросом. С кем-то осваивал казахстанскую целину, попадал в приключения в Сибири, с кем-то у костра пел до хрипоты бардовские песни 60-х.

Но главное – его книги. Да, благодарные авторы – поэты, прозаики, составители сборников – единодушно и искренне признают: их книги становятся и его книгами, он – полноправный их родитель. В Лениздате за полтора десятка лет Борис Друян выпустил целую библиотеку книг, за которыми нередко выстаивали длинные очереди любители высокой поэзии и настоящей прозы. Не все тогда знали (да и сейчас не знают), какой ценой доставался иногда выход прекрасных книг их редактору Б. Г. Друяну. Это сейчас в интервью коллеге можно вспоминать, посмеиваясь, разные случаи из суровой редакторской жизни, а тогда, в тех 60-х – 70-х было не до смеха, если попадалась смелая его книжка на глаза высоким и важным самодурам.

У него в домашнем архиве есть фотографии и книги с автографами, которые любому бы сделали честь. Но, чтоб не заканчивать на такой нелюбимой им ультравысокой ноте, приведу строки, над которыми Борис неизменно искренне смеется. Светлана Розенфельд написала в подаренной ему своей книге «След облаков» такие шутливые строки:

Нет человека без изъяна,
Но, что касается Друяна,
Упорно, преданно и рьяно
Я не устану утверждать,
Что недостатков нет в Друяне.
На Торе, Библии, Коране,
На свежеизданной Светлане
На всем, что буду впредь рожать, —

Клянусь: ни одного изъяна
Нет и не будет у Друяна —
Добро обычно постоянно,
И не могите возражать.

notes

Сноски

1

По свидетельству автора «на гвоздь» – особый термин: проигравший должен был какую-либо часть своего тела приколотить гвоздем к доске.

2

«Песня о земле» и другие хиты. *(нем.)*

3

Во всех цитатах сохранены орфография и пунктуация авторов.